

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Научный журнал
**УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**
(продолжение журнала 1947–1975 гг.)

№ 4 (173). Май, 2018

Главный редактор

А. В. Воронин, доктор технических наук, профессор

Зам. главного редактора

С. Г. Веригин, доктор исторических наук, профессор

Э. В. Ивантер, доктор биологических наук, профессор,
член-корреспондент РАН

В. С. Сюнёв, доктор технических наук, профессор

Ответственный секретарь журнала

Н. В. Ровенко, кандидат филологических наук

Перепечатка материалов, опубликованных
в журнале, без разрешения редакции запрещена.
Статьи журнала рецензируются.

Адрес редакции журнала
185910, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.
Тел. (8142) 76-97-11
E-mail: uchzap@mail.ru

uchzap.petrSU.ru

Редакционный совет

В. Н. БАРЫШНИКОВ

доктор исторических наук, профессор, Санкт-Петербургский
государственный университет (Санкт-Петербург, Россия)

В. Н. БОЛЬШАКОВ

доктор биологических наук, профессор, академик РАН,
Институт экологии растений и животных
Уральского отделения РАН (Екатеринбург, Россия)

Ю. А. ВАСИЛЬЕВ

доктор исторических наук, профессор,
Московский гуманитарный университет
(Москва, Россия)

М. А. ВИТУХОВСКАЯ

доктор философии, Хельсинкский университет
(Хельсинки, Финляндия)

И. П. ДУДАНОВ

доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН,
Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Россия)

В. Н. ЗАХАРОВ

доктор филологических наук, профессор, Президент
международного общества Достоевского (Москва, Россия)

С. Т. ЗОЛЯН

доктор филологических наук, профессор,
Национальная академия наук Армении (Ереван, Армения)

Ю. ИНОУЭ

кандидат филологических наук, профессор кафедры
русского языка, Университет Дзёти (Токио, Япония)

А. С. ИСАЕВ

доктор биологических наук, профессор, академик РАН,
Московский государственный университет леса (Москва, Россия)

Т. П. ЛЁННГРЕН

доктор философии по филологии,
Арктический университет Норвегии (Тромсё, Норвегия)

И. И. МУЛЛОНЕН

доктор филологических наук, профессор,
Карельский научный центр РАН (Петрозаводск, Россия)

С. А. МЫЗНИКОВ

доктор филологических наук, профессор,
член-корреспондент РАН, Институт лингвистических
исследований РАН (Санкт-Петербург, Россия)

В. А. ПЛУНГЯН

доктор филологических наук, профессор, академик РАН,
Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН
(Москва, Россия)

Т. РУСЕН

доктор философии, Гётеборгский университет
(Гётеборг, Швеция)

Е. С. СЕНЯВСКАЯ

доктор исторических наук, профессор,
Институт российской истории РАН (Москва, Россия)

К. СКВАРСКА

доктор философии, Славянский институт
Академии наук Чешской Республики (Прага, Чехия)

А. Ф. ТИТОВ

доктор биологических наук, профессор,
член-корреспондент РАН, Карельский научный центр РАН
(Петрозаводск, Россия)

Н. А. ФАТЕЕВА

доктор филологических наук, Институт русского языка
имени В. В. Виноградова РАН
(Москва, Россия)

М. А. ЧЕРНЯК

доктор филологических наук, профессор, Российский
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
(Санкт-Петербург, Россия)

Редакционная коллегия

М. А. БОБУНОВА

доктор филологических наук, профессор,
Курский государственный университет
(Курск, Россия)

Т. А. ГРИДИНА

доктор филологических наук, профессор,
Уральский государственный педагогический университет
(Екатеринбург, Россия)

Р. ГРЮНТХАЛЬ

доктор философии, профессор,
Хельсинкский университет (Хельсинки, Финляндия)

Н. В. ДРАННИКОВА

доктор филологических наук, профессор,
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова (Архангельск, Россия)

П. М. ЗАЙКОВ

доктор филологических наук, профессор,
Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу, Финляндия)

Д. В. КОБЛЕНКОВА

доктор филологических наук, доцент,
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н. И. Лобачевского
(Нижний Новгород, Россия)

А. Е. КУНИЛЬСКИЙ

доктор филологических наук, профессор,
Петрозаводский государственный университет
(Петрозаводск, Россия)

Е. И. ЛЕЛИС

доктор филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский
государственный институт кино и телевидения
(Санкт-Петербург, Россия)

Т. Г. МАЛЬЧУКОВА

доктор филологических наук, профессор,
Петрозаводский государственный университет
(Петрозаводск, Россия)

О. В. НИКИТИН

доктор филологических наук, профессор, Московский
государственный областной университет (Москва, Россия)

Н. В. ПАТРОЕВА

доктор филологических наук, профессор,
Петрозаводский государственный университет
(Петрозаводск, Россия)

А. В. ПИГИН

доктор филологических наук, профессор,
Карельский научный центр РАН (Петрозаводск, Россия)

В. И. СУПРУН

доктор филологических наук, профессор,
Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
(Волгоград, Россия)

Л. Л. ШЕСТАКОВА

доктор филологических наук,
Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН
(Москва, Россия)

Ministry of Education and Science
of the Russian Federation

Scientific Journal
PROCEEDINGS
OF PETROZAVODSK
STATE UNIVERSITY
(following up 1947–1975)

№ 4 (173). May, 2018

Chief Editor

Anatoliy V. Voronin, Doctor of Technical Sciences, Professor

Chief Deputy Editor

Sergey G. Verigin, Doctor of Historical Sciences, Professor

Ernest V. Ivanter, Doctor of Biological Sciences, Professor,

The RAS Corresponding Member

Vladimir S. Syuney, Doctor of Technical Sciences, Professor

Executive Secretary

Nadezhda V. Rovenko, Candidate of Philological Sciences

All rights reserved. No part of this journal may be used
or reproduced in any manner whatsoever without written permission.
The articles are reviewed.

The Editor's Office Address

185910, Lenin Avenue, 33. Tel. +7 (8142) 769711

Petrozavodsk, Republic of Karelia

E-mail: uchzap@mail.ru

uchzap.petrSU.ru

Editorial Council

- V. BARISHNIKOV**
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia)
- V. BOL'SHAKOV**
Doctor of Biological Sciences, Professor,
the RAS Corresponding Member, Institute of Plant and Animal
Ecology, Ural division of RAS (Ekaterinburg, Russia)
- YU. VASIL'EV**
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Moscow University for the Humanities (Moscow, Russia)
- M. VITUKHNOVSKAYA**
Doctor of Philosophy, University of Helsinki (Helsinki, Finland)
- I. DUDANOV**
Doctor of Medical Sciences, Professor, the RAS Corresponding
Member, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia)
- V. ZAKHAROV**
Doctor of Philological Sciences, Professor, President
of the International Dostoevsky Society (Moscow, Russia)
- S. ZOLYAN**
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Armenian National Academy of Sciences (Erevan, Armenia)
- Y. INOUE**
Professor, University of Dzeti (Tokyo, Japan)
- A. ISAYEV**
Doctor of Biological Sciences, Professor, the RAS Corresponding
Member, Moscow State Forest University (Moscow, Russia)
- T. LÖNNGREN**
Doctor of Philosophy and Philology,
Arctic University of Norway (Tromsø, Norway)
- I. MULLONEN**
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Karelian Research Centre of RAS (Petrozavodsk, Russia)
- S. MIZNIKOV**
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Institute of Linguistic Studies of RAS
(Saint Petersburg, Russia)
- V. PLUNGIAN**
Doctor of Philological Sciences, Professor, The RAS Academician,
Vinogradov Institute of the Russian Language of RAS (Moscow, Russia)
- TH. ROSÉN**
Doctor of Philosophy, University of Gothenburg (Göteborg, Sweden)
- E. SENYAVSKAY**
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Institute of Russian History of RAS (Moscow, Russia)
- K. SKWARSKA**
Doctor of Philosophy, Slavonic Institute of the Academy
of Sciences of Czech Republic (Prague, Czech Republic)
- A. TITOV**
Doctor of Biological Sciences, Professor,
the RAS Corresponding Member, Karelian Research Centre
of RAS (Petrozavodsk, Russia)
- N. FATEEVA**
Doctor of Philological Sciences,
Vinogradov Institute of the Russian Language of RAS
(Moscow, Russia)
- M. CHERNYAK**
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Herzen State Pedagogical University (Saint Petersburg, Russia)

Editorial Board

- M. BOBUNOVA**
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Kursk State University (Kursk, Russia)
- T. GRIDINA**
Doctor of Philological Sciences, Professor, Ural State
Pedagogical University (Ekaterinburg, Russia)
- R. GRYŮNTHAL**
Doctor of Philosophy, Professor, University of Helsinki
(Helsinki, Finland)
- N. DRANNIKOVA**
Doctor of Philological Sciences, Professor, Northern Arctic
Federal University named after M. V. Lomonosov
(Arkhangelsk, Russia)
- P. ZAYKOV**
Doctor of Philological Sciences, Professor,
University of Eastern Finland (Joensuu, Finland)
- D. KOBLENIKOVA**
Doctor of Philological Sciences,
National Research Lobachevsky State University
(Nizhni Novgorod, Russia)
- A. KUNIL'SKIY**
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia)
- E. LELIS**
Doctor of Philological Sciences, Saint Petersburg State University
for Cinema and Television (Saint Petersburg, Russia)
- T. MAL'CHUKOVA**
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia)
- O. NIKITIN**
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Moscow State Regional University (Moscow, Russia)
- N. PATROEVA**
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Petrozavodsk State University
(Petrozavodsk, Russia)
- A. PIGIN**
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Karelian Research Centre of RAS (Petrozavodsk, Russia)
- V. SUPRUN**
Doctor of Philological Studies, Professor,
Volgograd State Socio-Pedagogical University
(Volgograd, Russia)
- L. SHESTAKOVA**
Doctor of Philological Sciences, Vinogradov Institute
of the Russian Language of RAS (Moscow, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

*Бедина Н. Н., Панова А. С.*Близнечный миф в современной британской
антивоенной литературе. 7*Струкова Т. В.*Семантические и структурно-композиционные
особенности загадок книги «Сто и одна загадка» 12*Голубева Л. В.*Одевание пространства: мягкие границы – стро-
гие правила 19*Иванова Л. И.*Образ *yönitkettäi* ночной плачи в карельской
мифологии 25*Маташина И. С.*Особенности изображения Хельсинки в романе
Челя Вестё «Мираж 38». 32

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

*Бондарь В. А.*Древневерхненемецкий источник современно-
го перфекта: развитие семантики конструкции
haben + причастие II 36*Горохова Н. В.*Моделирование английского терминофрейма
pipeline 45*Дьячкова И. Н.*Эволюция математического мышления и станов-
ление имен числительных как части речи 49*Матыцина М. С.*Анализ аргументационных схем (топосов) в по-
литическом дискурсе 55*Щеглова Е. А.*Лексика очерков путешествия И. А. Гончарова
«Фрегат “Паллада”» как структурный элемент
текста 60*Грива О. Е.*

Модальные глаголы vs модальные глаголы-связки . . . 67

*Чэнь Пэйцзюнь*Диалогичность текстов в этнографических тру-
дах Н. Я. Бичурина о Китае 72**К 200-летию со дня рождения академика
Ф. И. Буслаева (1818–1897)***Бобунова М. А.*

Ф. И. Буслаев и фольклорная лексикография 77

Никитин О. В.«Историческая хрестоматия церковно-славян-
ского и древнерусского языков» Ф. И. Буслаева
как памятник филологической культуры XIX века 82*Хроленко А. Т.*Самородное слово в филологической концепции
Ф. И. Буслаева 89*Волошина О. А.*«Система этимологии» Ф. И. Буслаева, или
О сравнении русских слов с санскритскими 94**К 60-летию со дня рождения лингвиста Я. И. Гина
(1958–1991)***Патроева Н. В.*Значение работ Я. И. Гина для исследований по-
этического синтаксиса 100*Петрова З. Ю., Фатеева Н. А.*Категория рода при олицетворении: образные
обозначения смерти в русской литературе 104**Память***Лоитер С. М.*

Памяти Я. И. Гина. 111

Рецензии*Кюришнова И. А.*Рец. на кн.: Кичикова Н. А., Манджиева Э. Б., Су-
прун В. И. Топонимический словарь Республики
Калмыкия. 115**Научная информация 117****Contents 118**

Журнал «Ученые записки Петрозаводского государственного университета» включен в новый Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, с 01.12.2015 года по отраслям «Исторические науки и археология» и «Филологические науки», специальности: «Литературоведение» и «Языкознание»

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) с 2008 года

Сведения о журнале публикуются в электронной базе данных Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

Сведения о журнале публикуются в международной справочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich's Periodicals Directory»

Сведения о журнале и его архиве передаются в ОАО «Агентство “Книга-Сервис”» и размещаются на базовом интернет-ресурсе www.rucont.ru

Журнал и его архив размещаются в «Университетской библиотеке онлайн» по адресу <http://biblioclub.ru>

Сведения о журнале и его архиве передаются в открытую научную электронную библиотеку «CYBERLENINKA» и размещаются по адресу: cyberleninka.ru

**Требования к оформлению статей см.:
<http://uchzap.petrso.ru/req.php>**

Учредитель и издатель: ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Редактор С. Л. Смирнова. Корректор И. Н. Дьячкова. Переводчик Н. К. Дмитриева. Верстка Ю. С. Марковой

Дата выхода в свет 31.05.2018. Формат 60х90 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
10 уч.-изд. л. Тираж 500 экз. (1-й завод – 75 экз.). Изд. № 91

Индекс 66094. Цена свободная.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-69487

от 25 апреля 2017 г. выд. Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

Отпечатано в типографии Издательства Петрозаводского государственного университета

Адрес редакции, издателя и типографии:

185910, Республика Карелия,

г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА БЕДИНА

кандидат филологических наук, доцент кафедры культурологии и религиоведения Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (Архангельск, Российская Федерация)
bedina-nat@yandex.ru

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ПАНОВА

магистрант 2-го курса кафедры культурологии и религиоведения Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (Архангельск, Российская Федерация)
nastyapanova2009@yandex.ru

**БЛИЗНЕЧНЫЙ МИФ В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ
АНТИВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

Близнечный миф актуализируется в кризисную эпоху, когда рушится старый мир и осознается необходимость в некоем универсальном основании нового мира. Одной из форм такого основания является жертвенная смерть священных близнецов (или одного из близнецов). Актуализация архаического мифа в литературе XXI века связана с осмыслением итогов Второй мировой войны и предчувствием возможной новой катастрофы. В статье предпринята попытка проанализировать мифологический код в современном антивоенном романе на примере двух произведений: «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна (2006) и «Два брата» Бена Элтона (2012). Структурно-семиотический метод анализа позволяет выявить элементы мифологической традиции в художественном мире названных произведений. В романе Дж. Бойна структура мифа реализована достаточно последовательно и легко прочитывается. В романе Б. Элтона мифологический код не столь очевиден, однако и здесь можно выявить структурные элементы, восходящие к архаическому близнечному мифу. Сюжетогенными для обоих текстов оказываются мотивы единой даты рождения героев, их внешнего сходства, переодевания, пограничного хронотопа и, наконец, жертвенной смерти. Жертвенность мифологических близнецов стоит у истоков возрождения мира, его обновления. Бен Элтон и Джон Бойн, обращаясь к близнечному архетипу, тем самым воспроизводят логику мифа: погружение мира в хаос и его возрождение. Близнечный миф как метафора развернут в художественном тексте в разных идейно-философских проекциях проблем *свое/чужое, я/другой, человек/мир*. В заявленных произведениях телеология космогонического мифа направлена против фашизма, что составляет их гуманистическую идею.

Ключевые слова: близнечный миф, жертва, Вторая мировая война, Холокост, современная британская литература

ВВЕДЕНИЕ

Неотъемлемой частью любой мифологической системы являются мифы о происхождении мира, то есть космогонические мифы [11: 6]. Один из вариантов подобных мифов рассказывает о судьбе братьев-близнецов. Среди примеров таких близнецных пар можно назвать То Кабинан и То Корвуу в Меланезии, Мукат и Темайаут, Иоскеха и Тавискарон в Северной Америке, Рема и Ромула в античной традиции и пр. [2].

С. З. Агранович и И. В. Саморукова в работе «Двойничество» отмечают, что «близнечные пары словно иллюстрируют идею погружения мира в хаос, констатируют эсхатологическую катастрофу, когда однородный социум как бы сталкивается с миром “после жизни”» [1: 52]. Иными словами, близнечный миф актуализируется в кризисную эпоху, когда рушится старый мир и осознается необходимость в некоем

универсальном основании нового мира. Одной из форм такого основания является жертвенная смерть близнецов (или одного из близнецов).

XX век в истории человечества ознаменован мировыми войнами, революциями, переворотами и массовым истреблением людей. В связи с этим многие авторы, осмысляя эпоху, обращаются к архаическому мифу о священных близнецах. В настоящей статье мы остановимся на двух романах: «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна (2006) и «Два брата» Бена Элтона (2012). Выбор данных текстов обусловлен несколькими факторами:

1. Принадлежность к одной культурной традиции (современная британская литература);

2. Общая тематика (оба текста посвящены событиям Второй мировой войны, проблеме Холокоста);

3. Оба романа вызвали широкий общественный резонанс (произведение Джона Бойна было экранизировано в 2008 году).

Целью нашего исследования является выявление специфики мифологического кода в современной британской антивоенной литературе на примере выбранных текстов. Е. М. Мелетинский в работе «От мифа к литературе» отмечает, что пафос мифологизма заключается в «обнаружении постоянных и вечных принципов, скрытых под обыденной поверхностью и сохраняющихся неизменными при любых исторических изменениях» [6: 129]. На рубеже XX–XXI веков вышло достаточно много литературных произведений, в которых «мифологизм» выступает в качестве художественного средства, соответствующего определенной концепции мира» [6: 129]. В произведениях, выбранных нами для анализа, мир предстает перед читателем на грани эсхатологической катастрофы – в разгар Второй мировой войны.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблемы мифа и «мифологизма» как художественного средства в литературном тексте в отечественной науке разрабатывались прежде всего в трудах ученых, представляющих семиотическую школу, среди которых Е. М. Мелетинский, В. В. Иванов, В. Н. Топоров, С. З. Агранович и И. В. Саморукова.

Используя общие понятия «миф», «хаос/космос», «космогонический миф», «близнецный миф», мы опираемся на обобщающие статьи В. В. Иванова и В. Н. Топорова, опубликованные в энциклопедии «Мифы народов мира» (1988). В. В. Иванов в статье «Близнецные мифы» под мифами о священных близнецах понимает «мифы о чудесных существах, представляемых в виде близнецов и часто выступающих в качестве родоначальников племени или культурных героев» [2: 174]. Он выделяет несколько видов близнецных пар: братья-близнецы (соперники, позднее – союзники); близнецы – брат и сестра; близнецы-андрогины и зооморфные близнецы. В данном исследовании нас интересуют братья-близнецы – союзники, которые «воплощают лишь два начала, каждое из которых соотносено с одной из половин племени» [2: 174]. В. Н. Топоров в разделе «Космогонические мифы» дает определение хаоса и подчеркивает, что «переход от неорганизованного хаоса к упорядоченному космосу составляет внутренний смысл мифологии» [11: 6]. «Космос» (в переводе с греч. «мировой порядок», «мироздание», «мир»), по В. Н. Топорову, это «целостная, упорядоченная, организованная в соответствии с определенным законом (принципом) вселенная» [12: 9]. В связи с этим для нас важно напомнить, что слово «мир» в русском языке имеет несколько значений, в том числе «вселенная» и «отсутствие вражды и войн». В нашем исследовании актуальными оказываются оба эти значения.

В работе «Двойничество» (2001), написанной С. З. Агранович в соавторстве с И. В. Саморуковой, выделяется три типа двойничества: двойники-антагонисты, карнавалы и близнецы. Функционирование этих типов авторы рассматривают на примере творчества русских писате-

лей: Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. А. Бунина, В. В. Набокова. Для нас особую важность имеет замечание исследователей, касающееся общих корней (родства) близнецных пар [1].

В работе «Поэтика мифа» (2000) Е. М. Мелетинский выдвигает важный для нашего исследования тезис о тесной связи мифа и истории в литературе XX века и иллюстрирует на примере анализа конкретных произведений. В русле подхода Е. М. Мелетинского мы будем выстраивать анализ выбранных нами романов [7].

Помимо теоретических обобщающих работ, стоит отметить ряд современных исследований, посвященных изучению архетипа близнецства, среди которых можно назвать статьи: Е. В. Куприяновой «Архетип “божественных близнецов” в мировой мифологии. Часть 1. Происхождение образа» (2013) [3]; А. Н. Никифоровой «Рецепция античного мифа о близнецах в романе Дианы Сеттерфилд “Тринадцатая сказка”» (2013) [9]; А. С. Матвеевой «Интерпретация близнецного мифа в сказке О. Барфилда “Серебряная флейта”» (2011) [5]; В. Л. Луниной «Тема двойничества (на материале романа Мартина Эмиса “Успех”)» (2010) [4]; Е. Э. Никитиной и О. Э. Никитиной «Опыт анализа близнецного мифа» (2005) [8]. В названных статьях рассматриваются происхождение архетипа близнецства и его трансформация в конкретных литературных произведениях. В той же логике построено наше исследование.

Актуальность архаического мифа в современной литературе, особенно в произведениях, посвященных Второй мировой войне, возможно, связана с общеевропейской тенденцией – предчувствием Третьей мировой войны. После победы над национал-социализмом надежда на светлое мирное будущее не оправдалась: холодная война, локальные войны на Востоке, общественные волнения, искажение истории – эти события показали, что вопрос о причинах и основаниях тенденций к саморазрушению, войне и насилию в европейской культуре и в целом человеческой цивилизации остается нерешенным. Многие писатели пытаются дать ответ на этот вопрос, опираясь на события Второй мировой войны, в том числе авторы выбранных нами романов.

Прежде чем приступить к анализу текстов, необходимо отметить, что роман Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» относят к детской литературе. В связи с этим структура близнецного мифа реализована в тексте достаточно последовательно и легко читается. Роман Бена Элтона «Два брата» рассчитан на взрослую аудиторию. Мотив близнецства здесь более тонко вплетен в повествование. Эту особенность выбранных нами романов мы должны будем учитывать на протяжении всего анализа произведений.

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ КОД ПРОИЗВЕДЕНИЙ

С. З. Агранович и И. В. Саморукова отмечают, что для близнецных пар характерно «наличие общих корней, каковыми может быть кровное родство, общее детство, общее тело (как у Джекила

и Хайда), сходный социальный статус, возраст» [1: 17]. В романе «Мальчик в полосатой пижаме», повествующем о дружбе мальчиков, немца Бруно и еврея Шмуэля, героев объединяет дата рождения: «...я тоже родился пятнадцатого апреля, – восклицает Бруно. – В тысяча девятьсот тридцать четвертом году. Мы родились в один день!» (Бойн: 98)¹. И далее Бруно говорит: «Мы как близнецы» (Бойн: 98), то есть дети сами осмысливают себя близнецной парой. В романе «Два брата» автор использует тот же мотив одновременного рождения героев более развернуто. Повествование начинается 24 февраля 1920 года, когда появились на свет близнецы Пауль и Отто Штенгели. День их рождения совпал с трагическими событиями как личной, так и всемирной истории: в этот день родился еще один младенец «дитя по имени Национал-социалистическая немецкая рабочая партия» (Элтон: 9)², который в скором времени повергнет весь мир в хаос. Один из близнецов Штенгелей родился мертвым, а в соседней палате умерла только что родившая немка, от ребенка которой отказалась семья. И Фрида Штенгель его усыновляет:

Их стало четверо: Фрида, Вольфганг и два мальчика, Пауль и Отто. <...>

Одинаковые.

Правда, не совсем.

Было одно отличие. <...> Однако со временем оно стало вопросом жизни и смерти. Один ребенок – еврей, другой – нет (Элтон: 9).

Одним из оснований идеологии нацизма стала вера в чистоту «истинной арийской» расы. Начинаются зверские эксперименты над человеческой природой, антропологические измерения того, насколько каждый немец является арийцем. Именно такому эксперименту и подвергается Отто, когда его забирают из семьи:

– Сказываются пятнадцать лет еврейства, да? Но мы это исправим. Видишь ли, юный Отто, ты – мой лабораторный опыт. Эксперимент, если угодно. Я хочу доказать, что кровь сильнее всякой еврейской лжи. Я верну тебя в лоно нации, сынок (Элтон: 153).

В романе символом будущей гибели миллионов людей в результате масштабного бесчеловечного эксперимента становится сопоставление лаборатории, в которую попал Отто, с моргом:

– Ух ты, жуть! – хихикнул мальчишка постарше. – Прямо как в морге после вскрытия.

– Это не морг, мальчик! – рявкнул чей-то голос <...> Это лаборатория для научного выявления расовой истины (Элтон: 151).

В романе «Два брата» насмешка над человеческой природой, стремление ее «улучшить» обернулись жестокостью и немислимыми зверствами. Проблема искажения природы человека – это уже проблема онтологического характера, ни измерения, ни кровь не покажут, кто лучше, кто достоин жить, а кто умереть.

В романе «Мальчик в полосатой пижаме» жестокость явлена не так откровенно, как у Бена Элтона, что, вероятно, определено ориентацией текста на детскую аудиторию. Однако весь хро-

нотоп произведения выстроен в соответствии с мифологическим образом мира смерти (ино-мирия). Джон Бойн обращается к архаической дихотомии «свой-чужой», выстраивая отношения немцев с евреями. Дом семьи Бруно находится рядом с концентрационным лагерем, то есть занимает пограничное положение. В этой связи забор, который отделяет лагерь от окружающего мира, выступает в качестве символической мифологической границы между миром живых (немецкая семья) и миром мертвых (пленные евреи, обреченные на смерть). В романе автор описывает пленных евреев следующим образом:

...люди, сбившиеся в кучу, сидели на земле с опущенными головами, и вид у них был страшно унылый. Роднила их не только мрачность, но и жуткая худоба, ввалившиеся глаза и обритые головы (Бойн: 178).

Показательно осмысление одновременно охранительной и разделительной функции забора сестрой Бруно – Греталь: «Забор поставили не для того, чтобы мы туда не ходили, а для того, чтобы они не являлись к нам» (Бойн: 164). В. Я. Пропп отмечает, что в традиционной культуре «смерть принимала формы пространственного передвижения» [10: 73]. В романе лагерь символизирует мифологическую страну смерти, куда в дальнейшем Бруно отправляется «в путешествие», неизбежно закончившееся трагически. Как пророчество звучат слова Бруно: «Это станет нашим последним приключением. Великим приключением» (Бойн: 179), – дети вместе погибают в газовой камере.

В романе Бена Элтона также актуализируется оппозиция «свой-чужой». В произведении под «своими» понимаются немцы, которым противопоставлены «чужие» евреи: «И года не прошло, как Гитлер получил власть, а евреи уже соответствовали портрету, созданному фюрером. Он говорил: евреи – другие. И они стали другими» (Элтон: 105).

В контексте проблемы Холокоста авторы обоих романов в образе близнецов изображают немецкого и еврейского мальчиков. Обращаясь к определению близнецной пары как воплощению двух половин одного племени, предложенному В. В. Ивановым, мы можем сказать, что именно близнецный миф позволяет авторам с предельной откровенностью воплотить гуманистическую идею о мире, где все народы равны и составляют единое целое.

Единство близнецной пары подчеркивается и на уровне художественной детали:

А потом в помещении стало очень темно, и посреди наступившей неразберихи и страшного шума Бруно вдруг обнаружил, что до сих пор *сжимает руку* Шмуэля в своей руке, и теперь уже ничто на свете не заставит его *разжать пальцы* (Бойн: 192).

ЖЕРТВЕННАЯ СМЕРТЬ ГЕРОЕВ

Джон Бойн и Бен Элтон обращаются к образу близнецов-союзников, и, как у любых союзников, у их героев есть общая цель. В романе «Два брата» Пауль и Отто разделили общую любовь к еврейской девушке Дагмар Фишер. Именно любовь становится смыслом жизни близнецов, все действия братьев направлены на то, чтобы

оберегать, защищать и спасать Дагмар. В «Мальчике в полосатой пижаме» Шмуль просит Бруно помочь найти его отца, с этой целью Бруно и решается проникнуть на территорию лагеря. И в том, и в другом романе кульминацией усилий близнецов оказывается жертвенная смерть.

Ключевыми элементами мифа о священных близнецах являются путешествие в иной мир и жертвенная смерть одного или обоих близнецов. И в отечественной науке исследованием мотива путешествия в иномирие и последующей за ним смертью на материале сказки занимался В. Я. Пропп. В своей работе «Исторические корни волшебной сказки» ученый подчеркивает, что в фольклоре с проводами на смерть тесно связан мотив переодевания. Во время обряда инициации «посвящаемого особым образом украшали, красили и одевали» [10: 63]. В целом переодевание, обменивание одеждой имеет символическое значение и связано с пребыванием в ином мире [10]. В «Мальчике в полосатой пижаме» Бруно одевает «полосатую пижаму» (форму заключенных), чтобы незаметно проникнуть на территорию лагеря:

Бруно снял плащ и положил его на землю как можно аккуратнее. Затем стянул с себя рубашку, поежился на холоде и облачился в пижамную куртку (Бойн: 184).

Увидев его в «пижаме», Шмуэль отмечает, что

пусть Бруно не был таким тощим и таким бледным, как мальчики по ту сторону ограды, но отличить его от них было бы очень трудно. Да что там, они были совершенно одинаковы! (Бойн: 184).

Мотив переодевания, с одной стороны, подчеркивает сходство мальчиков-близнецов, с другой – символизирует причастность героев миру смерти.

Бен Элтон, наоборот, облачает Отто в форму нацистов, чтобы показать его отличие от брата:

– Где моя одежда? – спросил Отто. <...>

– Цивильная одежда, юноша, тебе больше не понадобится. Отныне ты носишь только форму. Начнешь со школьной, а там – кто знает? Форма гауляйтера важного округа. Или эсэсовца – члена ордена черных рыцарей. А может, форма офицера вермахта, если предпочтешь военную карьеру (Элтон: 152–153).

Для того чтобы помогать любимой девушке-еврейке Дагмар и своей семье, Отто вынужден носить ненавистную форму и притворяться одним из тех, кому желает смерти. Форма позволяет и Отто, и Бруно стать «другим», чтобы достигнуть поставленной цели – спасти невинных (найти отца Шмуэля, защитить Дагмар и семью). Несмотря на то что авторы используют мотив переодевания по-разному, суть от этого не меняется: переодевание несет на себе символику путешествия в иномирие, в мир смерти.

В дальнейшем в романе «Два брата» Пауль и Отто меняются личностями: первый становится немцем, второй – евреем. Братья решаются на такой шаг ради спасения Дагмар. Теперь Пауль вынужден носить форму немецкого солдата и воевать на стороне нацистов. В финале мы узнаем, что он погибает на войне. Один из близнецов

приносит себя в жертву, видя, в какую бездну погружается мир. Пауль отказывается уничтожать невинных людей, как того требует нацистская идеология. Из предсмертного письма Пауля нам становится известно, что собственную смерть он тщательно обдумывает: жертва не должна быть бессмысленной, геройская смерть «от рук врага» должна обеспечить будущее его жене, матери и Дагмар. Судьба немца Отто складывается иначе – после войны он строит новую семью, рождает четверых детей (ср.: «Их стало четверо: Фрида, Вольфганг и два мальчика, Пауль и Отто»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выбранных нами романах жертвы Холокоста и ужасы войны представлены через призму восприятия немцев: Отто и Бруно. Несмотря на то что личной вины мальчиков в совершившемся на их глазах «кошмаре истории» нет, авторы проводят своих героев через испытания, которые выпадают на долю жертв войны и нацистской идеологии. Лишь испытав на себе жестокость военной машины, можно прийти к осознанному ее преодолению, пережив судьбу «чужого», прийти к подлинному осознанию себя.

Жертва Бруно и Шмуэля приводит к рассказу отца Бруно (коменданта лагеря), жертва Пауля спасает семью и Отто. В конечном итоге жертвенность мифологических близнецов стоит у истоков возрождения мира, его обновления. Бен Элтон и Джон Бойн, обращаясь к близнечному архетипу, тем самым воспроизводят логику мифа: погружение мира в хаос (не зря в романе Бен Элтон называет все происходящее апокалипсисом), и его возрождение из пепла от пожара войны. Бен Элтон заканчивает свой роман одним из наиболее значимых событий в послевоенной истории Германии – падением Берлинской стены. Стена, словно забор, разделила страну и ее жителей на две половины (ср. в романе Дж. Бойна: «забор поставили не для того, чтобы мы туда не ходили, а для того, чтобы они не являлись к нам»). Объединение двух частей Берлина (Германии) становится в романе Бена Элтона символом победы над хаосом и восстановления гармонии европейского мира.

Облекая сюжет, основанный на реальных событиях (Бен Элтон использует истории из жизни своей семьи), в мифологическую канву, авторы поднимают его до уровня универсалии. Е. М. Мелетинский отмечает, что «“миф” и “история” всегда противопоставлены и вместе с тем неотделимы в мифологизирующей литературе XX века» [7: 322]. Ученый говорит об изображении «кошмара истории» с помощью мифа. В анализируемых нами текстах таким кошмаром являются события Второй мировой войны. Гуманистический пафос произведений, реализованный с помощью мифологемы «жертва священных близнецов», имеет одновременно трагический и оптимистический характер в согласии с амбивалентной природой архаического мифа.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ¹ Бойн Дж. Мальчик в полосатой пижаме. М.: Фантом Пресс, 2009 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://detectivebooks.ru/book/download/12269460> (дата обращения 29.10.2017). В тексте цитируется в круглых скобках с указанием фамилии, через двоеточие страницы.
- ² Элтон Б. Два Брата. М.: Фантом Пресс, 2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://royallib.com/book/elton_ben_dva_brata.html (дата обращения 15.11.2017). В тексте цитируется в круглых скобках с указанием фамилии, через двоеточие страницы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агранович С. З., Саморукова И. В. Двойничество. Самара: Самарский ун-т, 2001. 132 с.
2. Иванов В. В. Близнецные мифы // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1988. Т. 1. С. 174–176.
3. Куприянова Е. В. Архетип «божественных близнецов» в мировой мифологии. Ч. 1. Происхождение образа // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 13. С. 7–10.
4. Лунина В. Л. Тема двойничества (на материале романа Мартина Эмиса «Успех») // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 4. С. 883–885.
5. Матвеева А. С. Интерпретация близнецного мифа в сказке О. Барфилда «Серебряная флейта» // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 6. С. 418–421.
6. Мелетинский Е. М. От мифа к литературе. М.: Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета, 2001. 168 с.
7. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. 407 с.
8. Никитина Е. Э., Никитина О. Э. Опыт анализа близнецного мифа // Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сб. науч. тр. 2005. Вып. 8. С. 134–140.
9. Никифорова А. Н. Рецепция античного мифа о близнецах в романе Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2013. № 6. С. 284–286.
10. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. 336 с.
11. Топоров В. Н. Космогонические мифы // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1988. Т. 2. С. 6–9.
12. Топоров В. Н. Космос // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1988. Т. 2. С. 9–10.

Bedina N. N., Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov
(Arkhangelsk, Russian Federation)

Panova A. S., Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov
(Arkhangelsk, Russian Federation)

A MYTH ABOUT TWINS IN CONTEMPORARY BRITISH ANTI-WAR LITERATURE

A myth about twins becomes relevant in times of crisis, when the old world collapses and people begin to realize the need for some universal foundation of the new world. One of the forms of this foundation is a sacrificial death of twins (or one twin). The actualization of this archaic myth in the literature of the XXI century is associated with the new comprehension of the results of the Second World War and a persistent premonition of the coming new disaster. The article attempts to analyze the mythological code of the contemporary British anti-war novel on the example of two texts: "The Boy in the Striped Pyjamas" by John Boyne (2006) and "Two Brothers" by Ben Elton (2012). The structural-semiotic methods of the analysis enabled us to reveal the elements of mythological traditions of the artistic world of these texts. In John Boyne's novel, the structure of the myth is implemented fairly consistently and can be easily read. In Ben Elton's novel, the mythological code is not so obvious, but the identification of structural elements, dating back to the archaic myth about twins, is more evident. Common to both texts are motifs of the same birth dates of the characters, their external similarity, dress changing, border chronotope, and finally, their sacrificial death. Ben Elton and John Boyne, referring to the twins' archetypality, thereby reproduce the logic of the myth: the world's immersion into chaos and its later rebirth. The myth about twins as a metaphor is deployed in the artistic text in different ideological and philosophical problems: *a friend-or-a foe, I and others, a human being and the world*. In the chosen novels, the teleology of cosmogonic myth is directed against fascism, which constitutes their humanistic idea.

Key word: myth about twins, sacrifice, Second World War, Holocaust, contemporary British literature

REFERENCES

1. Agranovich S. Z., Samorukova I. V. Duality. Samara, Samara University Publ., 2001. 132 p. (In Russ.)
2. Ivanov V. V. Myths about twins. Mify narodov mira. Entsiklopediya. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1988. Vol. 1. P. 174–176. (In Russ.)
3. Kupriyanova E. V. The Archetype of "divine twins" in world mythology. Part 1. The origin of the image. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2013. № 13. P. 7–10. (In Russ.)
4. Lunina V. L. The theme of duality (on the material of the novel "Success" by Martin Amis. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo*. 2010. № 4. P. 883–885. (In Russ.)
5. Matveeva A. S. Interpretation of the myth of the twins in the tale "The Silver Trumpet novel" by O. Barfield. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo*. 2011. № 6. P. 418–421. (In Russ.)
6. Meletinskiy E. M. From the myth to literature. Moscow, Publishing center of the Russian State University for the Humanities Publ., 2001. 168 p. (In Russ.)
7. Meletinskiy E. M. The poetics of myth. Moscow, Publishing firm "Eastern literature" RAS Publ., 2000. 407 p. (In Russ.)
8. Nikitina E. E., Nikitina O. E. Experience in the analysis of myths about twins. *Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst: Sb. nauch. tr.* 2005. Issue 8. P. 134–140. (In Russ.)
9. Nikiforova A. N. The reception of classical myth about twins in the novel "The Thirteenth Tale" by Diane Setterfield. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo*. 2013. № 6. P. 284–286. (In Russ.)
10. Propp V. Ya. Historical roots of the wonder tale. Moscow, Labirint Publ., 2000. 336 p. (In Russ.)
11. Toporov V. N. Cosmogonic Myths. *Mify narodov mira: Entsiklopediya*. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1988. Vol. 2. P. 6–9. (In Russ.)
12. Toporov V. N. Cosmos. *Mify narodov mira: Entsiklopediya*. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1988. Vol. 2. P. 9–10. (In Russ.)

Поступила в редакцию 21.12.2017

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА СТРУКОВА

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы факультета документных коммуникаций, Орловский государственный институт культуры (Орел, Российская Федерация)
tatam08@rambler.ru

СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГАДОК КНИГИ «СТО И ОДНА ЗАГАДКА»

Впервые анализируются литературные стихотворные загадки XVIII века, изданные анонимным автором в сборнике «Сто и одна загадка» в 1790 году, описываются художественные особенности энигматического жанра в русской поэзии. Автором охарактеризованы способы создания энигматического образа, предложена тематическая классификация загадок (космогонические, философско-символические, антропологические, анималистические и этологические), а также классификация загадок по типу исходного описания (атрибутивные, релятивные и атрибутивно-релятивные суждения). Рассмотрена субъектно-объектная и субъектно-адресатная структура энигматических текстов. Семантические и структурно-композиционные особенности загадок указывают на то, что поэт руководствовался особыми педагогическими установками, делая акцент на познавательно-эвристической функции произведений.

Ключевые слова: энигматический образ, кодирующая часть, интерпретационное поле, когнитивная картина мира, познавательно-эвристическая функция

Последняя четверть XVIII века ознаменовала собой становление жанра русской литературной стихотворной загадки. В 1770–1790-х годах наряду с публикациями в периодических изданиях¹ появляются сборники загадок отдельных авторов, первой среди которых стала книга известного собирателя русского фольклора В. А. Левшина «Загадки, служащие для невинного разделения праздного времени», опубликованная в 1773 году в типографии при Императорском Московском университете. В сборник вошло 110 загадок о временах года и явлениях природы, о небесных светилах и первостихиях, о человеке и частях его тела, о растениях и животных, предметах быта, письма и грамоты и так далее². Издание книги Левшина явилось большим стимулом для последующего развития жанра литературной загадки. Прозаические загадки писателя неоднократно становились объектом стихотворных переложений поэтов, сотрудничавших в журналах «Лекарство от скуки и забот»³ и «Уединенный пошхонец»⁴, а также – поэта Андрея Байбакова (в монашестве – Аполлоса), автора книги «Увеселительные загадки со нравоучительными отгадками, состоящие в стихах», напечатанной в 1781 году в Университетской типографии Н. И. Новикова⁵.

Не менее значимым событием, оказавшим влияние на последующее развитие жанра русской литературной стихотворной загадки и ставшим художественной основой для адаптации этого жанра в поэзии для детского чтения, является публикация в 1790 году книги неизвестного автора «Сто и одна загадка». На титульном листе были напечатаны только инициалы – Г. Б. В книгу вошли тематические циклы загадок, которые с позиций современной классификации можно

определить как космогонические, философско-символические, антропологические, анималистические и этологические⁶.

Тематика и структурно-композиционная организация загадок сборника «Сто и одна загадка» указывают на то, что их автор руководствуется, главным образом, педагогическими установками, делая акцент на их познавательно-эвристическом аспекте. Переосмысливая кодирующую часть загадки, читатель познает богатство окружающего мира, раскрывает его многообразие, но прежде всего знакомится с описанием хорошо знакомых предметов и явлений, представленном в необычном ракурсе.

Специфика жанра загадки заключается в том, что она «обучает, не воспитывая», развивает у человека логическое и абстрактное мышление, формирует «способность образной категоризации, основанной на четком соотношении категориальных признаков предметов и явлений, наблюдаемых в реальности» [10: 132]. В современной науке загадка определяется как «игровое высказывание, иносказательно кодирующее обозначение какого-либо объекта или явления действительности и предполагающее актуализацию прямого наименования этого объекта в реакции адресата» [3:7].

Знакомясь с завуалированным описанием энигмата⁷, адресат приобретает определенные сведения и навыки, помогающие разобраться в нюансах и закономерностях окружающего его мира явлений. Каждый акт этого познавательного процесса, связанный с расшифровкой кодирующей части загадки, включает в себя в той или иной степени как наглядно-чувственные (эмпирические), так и абстрактные (рационалистические) элементы.

По сути, загадку можно уподобить механизму ассоциативного мышления, в процессе которого «энигматор загадки отображает ассоциаты, а энигмат — то, что в ассоциативном эксперименте выступает как стимул» [2: 38]. В такой системе координат загадка может интерпретироваться и как «обращенный, перевернутый ассоциативный эксперимент: стимул задан по возможным ассоциативным реакциям на него» [2: 38]. Иными словами, кодирующая часть загадки обязательно должна включать в себя номинацию специфических свойств и признаков подразумеваемого феномена, перечень характерных функций, которые способствуют его узнаванию, но при этом сам энигматический образ по определению не может быть назван в тексте, а должен замещаться соответствующим семантическим аналогом или метафорическим эквивалентом.

Для большинства загадок книги «Сто и одна загадка» характерна ярко выраженная образовательная функция, что является продолжением фольклорной педагогической традиции. Исследователями неоднократно отмечалось, что народные загадки отражают результаты освоения человеком материального мира. Еще М. А. Рыбникова, один из первых инициаторов изучения энигматического жанра, справедливо указывала на то, что народные загадки в их тематике образуют круг «примитивного мироведения», поскольку содержат иносказательное описание «природы, человеческого тела, мира животных и растений, трудовые процессы земледельца, орудий его труда». Загадка как бы «вскрывает происхождение предмета или его функцию, или же дает его биографию, с начала и до конца его бытия»⁸.

По-видимому, именно такой «мироведческой» направленностью книги «Сто и одна загадка» обусловлено тематическое и композиционное разнообразие напечатанных в ней загадок. Они представлены пятью обширными тематическими группами: космогонические загадки (о первостихиях, временах года, явлениях природы, времени суток); этологические загадки (о предметах труда и быта, письма и грамоты, повседневного обихода); философско-символические (об абстрактных категориях и понятиях); антропологические (о человеке и частях его тела); анималистические (о насекомых, животных, птицах).

Все загадки, кроме одной, автор сопроводил краткими стихотворными отгадками, поместив их в конце книги. Возможно, именно этим обстоятельством обусловлен выбор заглавия для книги: первые сто загадок приводятся с отгадками, и только одна последняя (сто первая) — дается без отгадки, поскольку она представляет собой акrostих:

Здесь всѣхъ считается, помножь десяткомъ десять,
А послѣ къ нимъ еще одну меня придай:
Гдѣ будетъ всѣхъ числомъ, скажи, читатель, сколько,
А я молчу о томъ, ты самъ то отгадай.
Да вѣрно, какъ сочтешь, и я скажу что столько.
Коль безъ погрѣшности числомъ насъ сосчитаешь,
А тамъ меня легко и скоро отгадаешь⁹.

Обращение поэта к форме акrostиха определяется познавательно-эвристическим назначени-

ем жанра, а также структурно-композиционными особенностями загадки, состоящей из двух взаимозависимых компонентов: кодирующей части (импликации) и отгадки (экспликации). Акrostихная загадка являет собой синтез обеих этих частей в одной форме, исключая вариативность ее истолкования и тем самым обуславливая однозначность разгадки, что существенно отличает ее от загадки классического типа.

Двусоставная структура характерна и для стихотворных отгадок, написанных поэтом. В частности, в них присутствует адресат обращения и адресант:

Читатель, ты не могъ самъ отгадать меня? // Скажу, кто я теперь: зовуся солнцемъ я (47); Читатель отгадай, словамъ моимъ внимля, // Я называюся отъ смѣртныхъ всѣхъ земля (50); Когда желаете, о мнѣ, что есмь, узнать, // Прошу водой меня, не инымъ чѣмъ назвать (48).

Композиционная структура отгадок также подтверждает установку поэта на познавательно-эвристическую (образовательную) функцию написанных им загадок.

Наиболее многочисленными являются космогонические и этологические загадки, формируя интерпретационное поле которых, автор использует следующие способы создания энигматического образа: 1) номинацию¹⁰ перцептивных признаков энигмат (формы, материала, цвета, размера); 2) номинацию функций и действий, совершаемых им; 3) номинацию способов его происхождения и употребления; 4) номинацию его количественных и пространственных характеристик.

Обращает внимание, что в этологических загадках анонимного автора нашла отражение когнитивная картина мира, свойственная дворянскому мироощущению. Объектом имплицитного описания в них являются предметы повседневного обихода, несвойственные крестьянскому быту (румяна, пудра, магнит, карты, кольцо, часы, алмаз, портрет, маска и др.), что указывает на литературное происхождение загадок. В противоположность им фольклорные загадки отражают хозяйственную жизнь крестьянина «во всех мелочах, предметах, повседневных явлениях», они «загадываются о самых обыденных предметах и явлениях, о труде, о трудовом процессе» [6: 142–143].

Репрезентируя предметы и объекты материального мира, относящиеся к дворянскому образу жизни, поэт акцентирует внимание на номинации внешних свойств энигмат посредством указания на его перцептивные признаки: цвет («Мы цвѣт имѣемъ розъ, // Не портит насъ морозъ, // Бѣлилы делают на лицахъ женскихъ глянецъ, // А мы на ихъ щекахъ лишь дѣлаемъ румянецъ») (14); форму («Я вещь круглa собою, // И дѣвушки всѣ мною, // И женщины всегда, // Коль есть у нихъ когда, // Стараются меня на пальцы надевать...») (28); материал, из которого он изготовлен («Желѣзной иногда, чугунной я бываю, // На корабляхъ, стругахъ всегда я обитаю, // Рогать собою я, бываю и о трехъ // Рогахъ, а иногда я есмь о четырехъ...») (44).

Наряду с номинацией внешних свойств энигматического образа в загадках анонимного автора

отображаются функции и действия, производимые зашифрованным объектом («Я камень, о своем хочу упомянуть, // О действии, могу желѣзо притянуть; // И тѣмъ я отъ другихъ каменьевъ отличаюсь. // Скажи читатель! Какъ особо называюсь?») (15), а также способы его происхождения и употребления («Меня для украшенья // И для увеселенья // Все ставятъ на стѣнахъ, // Не въ градѣ, а в домахъ. // Я виды иногда людей изображаю, // И въ видѣ иногда собакъ, коровъ бываю. // Какой изобразить, стою такой во вѣкъ...») (40). И в этом анонимный автор также следует фольклорной традиции. Интерпретационное поле народной загадки, как отмечают исследователи, содержит скрытое разъяснение ответов на два основных вопроса: откуда и для чего? Первый подразумеваемый вопрос раскрывает специфические особенности происхождения энигмата, а второй – характерные для него функции. При этом в обоих случаях суть явления определяется «не из самого явления, а откуда-то извне, из того, что самому явлению внеположено, – конкретно, из того, что явлению предшествует и им, строго говоря, не является, и из того, что в этом явлении востребовано тем, кто по отношению к нему “внешен” (человек)» [11: 14–15]. Иными словами, кодирующая часть загадки представляет собой перечень дифференциальных характеристик художественного образа, которые позволяют читателю (адресату) распознать его зашифрованное обозначение.

В загадках данной структурно-семантической разновидности поэт отображает мир дворянской культуры, раскрывает специфику бытового поведения. И здесь отдельно следует сказать о загадке про маску, в основе интерпретационного поля которой лежит изображение действий и поступков человека, принадлежащего к дворянскому сословию:

Меня не рѣдкие на лица надеваютъ,
Надевъ меня, другихъ собой увеселяютъ.
Тотъ примѣняетъ видъ, наденетъ кто меня.
Мужчиной, женщиной преобразить себя.
И мною въ старика себя преображаетъ,
Меня надевъ, другимъ в поступкахъ подражаютъ (32).

Воспроизводя атмосферу маскарада, поэт акцентирует внимание на том, что карнавал представляет собой не просто увеселительное мероприятие, – его неотъемлемым атрибутом является игровое начало. Русскому дворянству XVIII века была присуща «жизнь-игра», поскольку представители этого сословия, по словам Ю. М. Лотмана, «ощущали себя все время на сцене» [5]. С данных позиций литературная загадка может быть определена как энигматический жанр, культурно обусловленный художественный текст, созданный представителем определенной исторической эпохи, подчеркивающий самобытность отдельной этнической группы людей и выражающий специфику восприятия ею мира.

Номинация пространственной характеристики энигматического образа представлена меньшим количеством загадок, относящихся преимущественно к космогонической тематике.

Семантическая оппозиция верх/низ лежит в основе интерпретационного поля загадки о росе:

Жидка я, какъ вода, изъ облакъ упадаю,
А солнце какъ взойдетъ, опять вверхъ возлетаю.
Невидима никемъ на землю какъ лечу,
Упавши, то траву съ цвѣтами я мочу (10).

Самой малочисленной является группа загадок, в основе кодирующей части которых лежит номинация количественной характеристики энигмата. Они представлены текстами этологической и космогонической тематики и по своей структуре близки к так называемым «числовым» загадкам, в которых «число становится главным элементом “загадочного” текста, а счет их – основной операцией подобного текста» [12: 351]. К таким «числовым» текстам относятся загадки космогонического цикла – «о составе основных элементов мирового пространства и структуре соответствующего ему мирового времени... и не только о составе и структуре, но и о последовательности, очередности творения» [12: 351]. Во многом это обусловлено универсальностью изображаемых автором образов, не имеющих семантических аналогов и ассоциатов. В качестве примера следует привести загадку о ночном времени суток:

Я в маѣ семь часовъ владѣнья составляю,
А в ноябрѣ еще прибавъ десятокъ сверхъхъ:
Когда владѣю семь, то спящихъ озлобляю,
Довольство кои въ снѣ свое находятъ всѣхъ... (4–5).

Имплицитный образ создается здесь посредством воспроизведения прототипических жизненных ситуаций и реалий, на это указывает отсутствие в тексте объектов вторичной номинации концепта и логических ассоциатов. Образная номинация осуществляется посредством перечисления семантических признаков энигмата.

По типу исходного описания загадки из книги «Сто и одна загадка» представляют собой атрибутивные, релятивные и атрибутивно-релятивные суждения. По своему содержанию любое суждение о предмете имеет атрибутивный характер. Оно всегда отражает принадлежность или непринадлежность признака, качества или свойства тому или иному объекту. Таким образом, к атрибутивным относятся загадки, содержащие описание характерных качеств, свойств, признаков, действий или состояний объекта действительности посредством использования различных художественных приемов украшения речи: так, поэтом активно используются разнообразные эпитеты, позволяющие охарактеризовать перцептивные признаки энигмата. Например, цветочные эпитеты отдельно практически не встречаются в загадках. Исключение составляет только загадка о небе: «**Лазуревой** мой цвѣтъ пленяетъ всехъ собой. // Читатель! Ты живешь и всѣ живутъ подъ мной» (3). Именно эпитет «лазуревой» представляет собой своеобразный лексический маркер, передающий дифференциальный признак энигматического образа.

В остальных загадках цветочные эпитеты используются параллельно с оценочными эпитетами. Например, в загадке о блохе: «**Животное** я малое собою, // А спящихъ беспокою; //

Собой **черна**, // Отчасти и **скверна**, // Имею также ноги, // Хотя не долги...» (37) или в загадке о розе: «Я цвѣтъ изъ всѣхъ цвѣтовъ **дороже** и **милѣ**, // **Приятнѣ** другихъ за тѣмъ, что онъ **алѣ**. // Даю **приятнѣ** духъ, пускаю фимиамъ // И тѣмъ **приятнѣ** кажуся, смертны, вамъ» (11). В загадке о розе основным средством имплицитного описания художественного образа выступает дистантный повтор [7: 237]. Неоднократное употребление оценочного эпитета «приятный» позволяет поэту воссоздать когнитивную картину мира, свойственную современному обществу.

Использование эпитета как основного компонента энigmatического описания сближает загадки поэта с фольклорными загадками, в которых эпитеты, по наблюдениям В. П. Аникина, «одновременно удерживают свою соотнесенность как с реальным загаданным предметом, так и с реальной предметностью иносказательного образа» [1: 106].

В основе релятивных загадок лежат суждения-отношения. В них акцент делается не на свойствах или признаках подразумеваемых автором объектов, а на взаимосвязи между ними, поэтому в качестве основных способов создания энigmatического образа используются метафора, сравнение и отрицательное сравнение. Метафора представляет собой наиболее распространенный способ кодирования предмета в загадке, «при котором имя одного предмета заменяется именем другого, сопряженного с первым по определенным ассоциативным признакам» [2: 37]. И это связывает отдельные загадки книги с фольклорной традицией. Примечательно в этом отношении, что метафора используется анонимным автором только для создания интерпретационного поля этологических загадок, в которых объектом зашифрованного описания являются предметы труда и повседневного обихода, свойственные крестьянскому быту.

В частности, в загадке о жерновах энigmatический образ создается анонимным автором посредством уподобления «двум братьям», что является примером использования когнитивной метафоры, реализацией «культурно-прагматического “фона”, способствующего установлению и утверждению определенных логических соответствий в разгадке» [9: 16]. Именно метафора определяет в загадке принципы художественного отражения действительности: «Два брата насъ в семьѣ, мы в ящикѣ живемъ, // Из камней сделаны, не камнями слышемъ...» (29–30).

Обращает внимание, что в великорусской загадке о жерновах, изданной в сборнике И. А. Худякова, используется аналогичный метафорический эквивалент: «Два брата бранятся, не наспорятся; // Друг с другом дерутся, не разойдутся»¹¹. В обеих загадках метафора служит не только способом вторичной номинации энigmat (предметом замены), но и отражает национальную концептосферу. Когнитивные метафоры, используемые в энigmatических текстах, «вбирают в себя, сжимая до немыслимой плотности, громадный объем духовных движений, объединяя миропонимание с мироощущением» [8: 138].

Следует отметить, что суждения-отношения лежат в основе кодирующей части не только космогонических и этологических, но и философско-символических загадок. Изображая абстрактные категории и понятия, автор использует прием отрицательного сравнения. Употребление данного приема обусловлено умозрительным характером репрезентируемых энigmatов, не имеющих семантических аналогов и ассоциатов. Наряду с этим релятивным загадкам присуща образно-моделирующая функция, которая предполагает репрезентацию стереотипной ситуации посредством создания иносказательного описания. В ходе моделирования ситуации, как отмечают исследователи, загадка «опирается не на прототипические жизненные ситуации, а на вымышленные или потенциальные, произвольно соотносимые с проектируемыми функциями денотата отгадки» [9: 17].

В релятивных загадках (например, в загадке о мыслях) энigmat наделяется автором метафорически описанными свойствами. Данные свойства характеризуются с помощью приема «метафорического отрицания», в котором частица «не» имеет анафорический характер, что придает системе отрицания равновесный характер. По сути, здесь моделируется ситуация утверждения через отрицание:

Не тѣло мы, не вещь, не существо какое,
Не духъ и не душа, такъ что же мы такое?
Летаемъ всюду мы, хоть не имѣемъ крыль,
У птицъ не достаесть противу нашихъ силъ:
В одинъ часъ на небѣ и на землѣ бываемъ,
И кратко объявить вдругъ Свѣтъ весь облетаемъ.
Заключены хоть мы въ темницѣ завсегда,
Людей обманывать мы можемъ иногда (22).

Суть сопоставления (уподобления) энigmat и энigmatов (объектов вторичной номинации) в загадках с подобной структурно-семантической организацией заключается «не в олицетворяющей метафоре, а в отрицании ее реальности в силу надления ее псевдосвойствами»; при этом «отсутствие в структуре загадки выраженного предиката тем не менее позволяет его реконструировать, исходя из отрицаемого “метафорой” образа» [9: 17]. Интерпретационное поле загадки о мыслях содержит характеристику уникальных свойств энigmat, выделяющих его из ряда других феноменов с аналогичными признаками.

Загадки, в которых одновременно перечисляются признаки, свойства и функции представленного феномена в сопоставлении с другими предметами (объектами), являются атрибутивно-релятивными. Например, загадка о свинце:

Металловъ мягче всехъ, да я и самъ металл,
Меня, не знаю, кто в землѣ избобретал,
Тяжеле меди я, железа, легче злата,
Тяжеле серебра, меня купить, то плата
Почти дешевле всехъ, железа разве только (26–27).

Несмотря на то что в загадках книги «Сто и одна загадка» присутствуют фольклорные истоки, они существенно отличаются от народных загадок по своей нарративной структуре. Все загадки написаны от 1-го лица (фольклорным

загадкам, как правило, свойственно повествование от 3-го лица), что является специфической особенностью жанра литературной загадки последней четверти XVIII столетия. В загадках с подобной структурой энigmat одновременно выступает и объектом авторского изображения, и субъектом речи, поэтому данный тип загадки можно определить как объектно-субъектный.

В современной науке категория лица рассматривается как словоизменительная форма глагола, обозначающая отношение субъекта речи к изображаемому предмету, событию или явлению. При этом 1-е лицо понимается как обозначение говорящего, 2-е – как лицо, к которому обращаются, 3-е – лицо, о котором говорят [4: 86].

В ряде загадок книги «Сто и одна загадка» представлены субъектно-адресатные отношения. К ним относятся тексты, в которых наряду с местоимениями 1-го лица («Я» и «Мы») употребляются местоимения 2-го лица («Ты» и «Вы»). В таких загадках повествование ведется от лица подразумеваемого автором объекта, но при этом имплицитно возникает и образ собеседника, к которому обращается субъект речи (инициатор).

По сути, загадки с подобной структурой представляют собой своеобразную эвристическую беседу, в основе которой последовательность логически выстроенных вопросов или изложение иносказательных ситуаций, перечисление качеств и свойств имплицитного образа. Создавая кодирующую часть загадок по такой коммуникативной модели, автор активно использует форму обращения к читателю, стремясь привлечь его внимание к объекту поэтического описания и тем самым вовлечь в познавательный процесс:

Огонь, но не такой, какой в употребленье,
У человек, чтоб им я пользу приносил:
Не равен я против того в моем стремленье,
И чтоб равно как тот, собою я светил.
Мой свет является, минуту освещает,
Минуту светит он, в минуту исчезает.
Тот на земле огонь дает всем ночью луч,
А я с небес даю и днем из облаков и туч.
Читатель! Скажешь ты, что солнце думать должно,
Не думай никогда, и быть тому не можно.
Не называюсь я ни солнцем, ни огнем,
Другое имя мне, загадка не о нем (8–9).

Концовка загадки представляет собой своего рода эвристический прием, посредством которого автор целенаправленно подводит читателей к нахождению отгадки (расшифровке кодирующей части).

Элементы эвристической беседы присутствуют во многих других загадках книги «Сто и одна загадка». К ним следует отнести прием обращения к читателю, наводящие вопросы, переходящие от частной характеристики к общим выводам и обобщениям. Например, в загадке о клее:

Читатель! Отгадай.
И какъ зовуся я, такое имя дай.
Смотри, не ошибися,
Начнешь отгадывать, то съ мыслями сберися.
А я теперь себя подробно опишу,
Названия жъ своего тебѣ здѣсь не скажу.
Отъ мастеровъ своих <...> (13).

Подобно эвристической беседе, в первых строках загадки выдвигается проблема, требующая решения. Затем автор (от лица представленного феномена) излагает последовательные суждения об объекте энigmatического описания, каждое из которых представляет собой логический шаг, способствующий постепенному осмыслению исходной ситуации загадки и, как следствие, расшифровке ее кодирующей части.

Отдельно следует сказать о синтаксической структуре стихотворных загадок книги «Сто и одна загадка», представляющих собой сложное (двухчастное) синтаксическое целое, которое с позиций современной науки можно определить как вопросно-ответное диалогическое единство, связанное воедино общей темой и предполагающее как минимум двух собеседников [14]. Тексты загадок анонимного автора состоят из одного или нескольких самостоятельных предложений, имеющих общий предмет описания и общую тему. Все предложения объединены определенными логическими отношениями и образуют семантическое единство. В них, как правило, представлены два типа речи: описание и повествование.

При этом наибольшее предпочтение отдается автором загадкам с повествовательной структурой. Интерпретационное поле этих загадок включает перечисление действий и функций, производимых энigmatическим образом, или поступков, совершаемых человеком. Изображая время года или суток, поэт акцентирует внимание читателей на тех явлениях, с которыми они традиционно ассоциируются:

В мое владѣние народы взопръввають, // И силы отъ
меня въ нихъ все ослабѣвають. // Не зрѣлы еще всѣ бы-
вають и плоды; // Рождаю лѣность я, въ забвении труды»
(4) или на тех изменениях, которые они вносят в окружающий мир: «Настану только я, // То солнце отъ меня //
Начнет тотчас скрываться, // И светъ тот помрачаться, //
Которой среди дня Вселенну освещал, // И жаром
солнечным всю тварь отягощал. // Пастушки, пастухи
с полей овец сгоняют, // С свирелками они меня к себе
встречают. // Пригнавъ овец домой, // Довольствуются
мною; // И мой как цвет увянет, // То в царство ночь на-
станет (7).

Необходимо отметить, что в загадках с подобной образной структурой гораздо чаще, чем в других, используется прием градации. Употребление многочисленного глагольного ряда позволяет обозначить дифференциальные свойства (функции) энigmата, отделить «признак от его носителя, что создает предпосылку мышления об объекте, которое воплощается в предикативных структурах» [13: 451]:

Три мѣсяца въ году владѣнья моего,
И цвѣту своего
Не порчу никогда,
Бѣла всегда.
И землю бѣлизной всея я покрываю,
Плода не приношу, вездѣ тепла лишаю (4).

Наряду с индикативной (познавательной) функцией в загадках книги прослеживаются аксиологическая и апеллативная функции:

поэт опирается на объем знаний, имеющихся у читателя, и тем самым учитывает специфику его мышления и восприятия. Ориентируясь на особенности детского сознания, поэт стремится создать стереотипный образ и руководствуется установкой на то, что основными доминантами детского мышления являются чувственное восприятие и анимизм (одушевление неодушевленных предметов и явлений). Изображая предметы и объекты материального мира, автор во многих загадках применяет прием олицетворения:

Не птица, я не звѣрь, но бѣгать скоро смѣю,
Летаю птица какъ, хоть крыльевъ не имѣю,
Я не по воздуху, или землѣ хожу,
А по водѣ и васъ я, смертные, ношу;
Противяся волнамъ, собой ихъ рассѣкаю,
И птицамъ на водѣ летать не уступаю.
Мнѣ крылья челоуѣкъ далъ, шивъ изъ полотна,
И съ ними перегнать не можетъ ни одна (41).

Описательная структура (с элементами повествования) используется поэтом намного реже. Учитывая особенности детского восприятия и мышления, автор сосредотачивает внимание на перцептивных признаках художественного образа, способствующих его узнаванию:

Я вещь потребная и нахожусь вездѣ, // Въ присутственныхъ мѣстахъ, да и почти нигдѣ // Не могутъ обойтись, меня какъ нѣтъ, народы. // Тонка, чиста, гладка, бѣла собою я. // Одинъ другимъ даетъ всѣ знать черезъ меня. // Сперва, какъ не было меня еще въ народѣ, // То и бересты были в модѣ (29).

Проведенное исследование показало, что для литературных стихотворных загадок, напечатанных в книге «Сто и одна загадка», характерны тематическое разнообразие, вопросно-ответная (диалогическая) структура (наличие адресата и адресанта высказывания), репрезентация объектов окружающего мира в непривычном ракурсе, подмена одного понятия другим, что указывает на присутствие в них познавательно-эвристической направленности. О «мироведческой» функции загадок книги свидетельству-

ет не только их тематическое многообразие, но и специфика построения интерпретационного поля. В кодирующую часть многих загадок включены элементы эвристической беседы, неотъемлемым компонентом которой являются так называемые наводящие вопросы, стимулирующие познавательную активность читателей.

К художественным особенностям загадок книги «Сто и одна загадка» следует отнести детализированность описания энигматического образа (литературная загадка изначально оформилась как жанр письменной речи), что существенно отличает их от фольклорных загадок, являющихся крайне лаконичными по форме и содержанию, ибо они являются по преимуществу жанром устной речи. Вместе с тем подобная обстоятельность описания была обусловлена ориентацией автора на детскую аудиторию. Первые необходимые знания об окружающей действительности всегда преподносились детям в игровой форме, поэтому загадка, являясь разновидностью игры, становится наиболее доступным для понимания маленькими детьми способом передачи первых знаний. Так, литературная загадка, подобно фольклорной загадке, стала жанром, отражающим результаты освоения человеком материального мира. Однако, в отличие от народных загадок, в загадках сборника нашла отражение когнитивная картина мира, свойственная современному дворянскому обществу.

Обращает также внимание, что в загадках книги «Сто и одна загадка» метафорическая образность (наличие предмета «замещения») практически перестает быть характерным компонентом интерпретационного поля, что существенно отличает их от фольклорных загадок. Энигматический образ, как правило, создается в них не посредством подбора его метафорического эквивалента, а при помощи номинации его перцептивных признаков (формы, материала, цвета, размера); функций и действий, совершаемых им; способов его происхождения и употребления; номинации его количественных и пространственных характеристик.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В 1760–1790-х годах литературные стихотворные загадки стали неотъемлемой частью таких журналов, как «Праздное время, в пользу употребленное», «Доброе намерение», «Вечера», «Лекарство от скуки и забот», «И то, и се», «Вечерняя заря», «Покоящийся трудолюбец», «Уединенный пошехонец», «Иртыш, превращающийся в Иппокрену», «Зеркало света», «Что-нибудь, еженедельное издание», «Растущий виноград», «Новые ежемесячные сочинения», «Дело от безделья или приятная забава», «Разные письменные материи», «Приятное и полезное препровождение времени», «Прохладные часы, или Аптека, врачующая от уныния» и других.

² Необходимо отметить, что вопрос о происхождении и особенностях загадок В. Левшина неоднократно поднимался в литературоведении. По мнению В. А. Западова, загадки эти являются «книжными, литературными» и имеют иностранное происхождение (См.: Западов А. В. Чулков // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941–1956. Т. IV: Литература XVIII века. Ч. 2. 1947. С. 277). Иной точки зрения придерживается О. Н. Говоркова, которая полагает, что Левшин включил в свою книгу литературно и стилистически обработанные народные загадки (См.: Говоркова О. Н. Русская народная загадка: история собирания и изучения: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2004. С. 4–5).

³ В частности, одна из 6 стихотворных загадок Н. М. Яновского, изданных в № 23 за 1786 год.

⁴ В январском и мартовском номерах журнала за 1786 год было опубликовано 12 стихотворных загадок анонимных авторов, 5 из которых представляют собой стихотворные переложения прозаических загадок В. А. Левшина.

⁵ Загадки Аполлоса антропологической тематики (о языке, носе) и этологический тематики (о вине, свече) являются стихотворными переложениями прозаических загадок Левшина с одноименной отгадкой.

⁶ От греч. *ēthos* – обычай, нрав, характер и *lógos* – учение.

⁷ Под энигматом понимается объект действительности, закодированный в загадке, а под энигматором – предмет замещения, выступающий в кодирующей части. См.: Денисова Е. А. Структура и функции энигматического текста (на материале русских загадок и кроссвордов): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2008. С. 5.

⁸ См. об этом: Рыбникова М. А. Загадки. М.; Л.: Academia, 1932. С. 13, 17.

⁹ Г. Б. Сто и одна загадка. М.: В Сенатской Типографии у В. Окорова, 1790. С. 46. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием в круглых скобках номера страницы.

¹⁰ В современной науке номинация определяется как языковое закрепление понятийных признаков, отображающих свойства предметов. См.: Колшанский Г. В. Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976. С. 19.

¹¹ Худяков И. А. Великорусские сказки. Великорусские загадки. СПб., 2001. С. 411.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникин В. П. Эпитет в загадках // Фольклор как искусство слова. Вып. 4. Эпитет в русском народном творчестве. М., 1980. 142 с.
2. Денисова Е. А. Энигмопорождающая функция синтагматического ассоциата // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Вопросы образования: Языки и специальность. 2008. № 1. С. 36–42.
3. Кондрашова С. С. Языковая картина мира в английской загадке: Дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2017. 198 с.
4. Левченко М. Н. Загадка как тип текста // Вестник Московского государственного областного университета. Сер.: Лингвистика. 2011. № 2. С. 82–89.
5. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начала XIX века). СПб.: Искусство, 1994. 399 с.
6. Митрофанова В. В. Художественный образ в загадках // Современные проблемы фольклора. Вологда, 1971. С. 141–151.
7. Москвин В. П. Выразительные свойства современной русской речи. Тропы и фигуры. Общая и частная классификации: Терминологический словарь. М., 2006. 944 с.
8. Порус В. Метафора и рациональность // Высшее образование в России. 2005. № 1. С. 134–141.
9. Семенов Н. Н. Когнитивно-прагматическая парадигма паремической семантики: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Белгород, 2011. 46 с.
10. Семенов Н. Н. Проблема описания функционально-категориального статуса загадок как паремического жанра // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2011. № 127. С. 129–135.
11. Топоров В. Н. Из наблюдений над загадкой // Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Загадка как текст. Т. 1. М.: Индрик, 1994. С. 10–118.
12. Топоров В. Н. Заметка о числовом коде русских загадок // Исследования по этимологии и семантике. Т. 1: Теория и некоторые частные ее приложения. М., 2005. 816 с.
13. Чернейко Л. О. Гипертекст как лингвистическая модель художественного текста // Структура и семантика художественного текста: Материалы VII Международной конференции / Под ред. Е. И. Дибровой. М., 1999. С. 439–460.
14. Чернышев В. В. Текст загадки как сложное синтаксическое целое // Язык русского фольклора. Петрозаводск, 1988. С. 64–70.

Strukova T. V., Orel State Institute of Culture (Orel, Russian Federation)

SEMANTIC, STRUCTURAL AND COMPOSITE FEATURES OF THE RIDDLES FROM THE BOOK “A HUNDRED AND ONE RIDDLE”

The article is concerned with the study of poetic literary riddles of the XVIII century. The poetic literary riddles in focus are analyzed for the first time. They were published by an anonymous author in the book “One hundred and one riddle” in 1790. The artistic features inherent to this enigmatic genre in Russian poetry are described. The author provides detailed characteristics of the methods used to create an enigmatic image. A thematic classification of riddles (cosmogonic, philosophical-symbolic, anthropological, animalistic and ethological) as well as classification of riddles by the type of the original description (attributive, relational and attribute-relational judgments) are provided. The subject-object and subject-address structure of enigmatic texts is considered. The semantic and structural-composition features of riddles indicate that the poet was guided by special pedagogical principles, placing a particular emphasis on the cognitive-heuristic function of the poems in focus.

Key words: riddle, enigmatic image, coding part, interpretation field, cognitive picture of the world, cognitive-heuristic function

REFERENCES

1. Anikin V. P. Epithet in the riddles. *Folklore as the art of the word. Vol. 4. Epithet in Russian folk art*. Moscow, 1980. 142 p.
2. Denisova E. A. An Enigmatic-Producing Function of Syntagmatic Associate. *Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Problems of Education: Languages and Speciality*. 2008. № 1. P. 36–42.
3. Kondrashova S. S. The language picture of the world in the English riddle. Dis. on ... cand. philol. science. Volgograd, 2017. 198 p.
4. Levchenko M. N. Riddle as a type of text. *Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Linguistics*. 2011. № 2. P. 82–89.
5. Lotman Yu. M. Conversations about Russian culture: Life and traditions of the Russian nobility (XVIII – early XIX century). St. Petersburg, 1994. 399 p.
6. Mitrofanova V. V. Artistic image in riddles. *Modern problems of folklore*. Vologda, 1971. P. 141–151.
7. Moskvina V. P. Expressive properties of the modern Russian speech. Paths and figures. General and private classifications. Terminological dictionary. Moscow, 2006. 944 p.
8. Porus V. Metaphor and rationality. *Higher education in Russia*. 2005. № 1. P. 134–141.
9. Semenov N. N. The cognitive-pragmatic paradigm of the paremic semantics. Author's abstract. diss. ... of the doctor philol. n. Belgorod, 2011. 46 p.
10. Semenov N. N. The problem of describing functionally-categorical status of riddles as a paremic genre. *Izvestiya of the Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen*. 2011. № 127. P. 129–135.
11. Toporov V. N. From observations over the riddle. Research in Balto-Slavic intellectual culture: Riddle as text. Moscow, 1994. Vol. 1. P. 10–118.
12. Toporov V. N. A note about numerical code of Russian riddles. *Studies on etymology and semantics. Vol. 1: Theory and some of its particular applications*. Moscow, 2005. 816 p.
13. Cherneyko L. O. Hypertext as a linguistic model of an artistic text. *Structure and semantics of an artistic text. Materials of the VII International Conference*. Edited by E. I. Dibrova. Moscow, 1999. P. 439–460.
14. Chernyshev V. V. The text of the riddle as a complex syntactic whole. *Language of Russian folklore*. Petrozavodsk, 1988. P. 64–70.

Поступила в редакцию 20.11.2017

ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА ГОЛУБЕВА

научный сотрудник АНО «Пропповский центр: гуманитарные исследования в области традиционной культуры», аспирант кафедры истории русской литературы филологического факультета, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
luyba.golubeva@gmail.com

ОДЕВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА: МЯГКИЕ ГРАНИЦЫ – СТРОГИЕ ПРАВИЛА

Статья посвящена исследованию стратегий функциональной и символической организации деревенского жилища на Русском Севере. Как показало исследование, тканевые завесы на окнах и в других местах деревенского дома имеют не только утилитарное, но и символическое значение. Они определяют границы между приватной сферой и публичной. Шторой отгораживают так называемую солнышу, место за печкой, куда может заходить только хозяйка-большуха. Занавесками-пологами закрыто место для сна. Неосторожное обращение девушки с закрытой шторой и пологом (например, одинокий сон без подруги в пологе) может быть прочитано как готовность к интимной связи. Для горожанина более заметным и привычным знаком в подобных случаях будет закрытая дверь, обеспечивающая и визуальную, и акустическую непроницаемость. Полотняные же границы более проницаемые и «мягкие». Разница между двумя способами различать пространство на интимное и публичное определяет ответственного за сохранение границ. В случае акустической и визуальной непроницаемости ответственность разделяется между тем, кто закрылся, и тем, от кого закрываются. В случае закрытой шторы границу нарушает тот, кто увидел. Исследователь в своих этнографических и антропологических наблюдениях делает вывод, что навык не смотреть за границу чужого интимного развивается посредством ритуалов, а далее его закрепляют в повседневных ситуациях. Тканевые занавесы при этом представляют собой особые инструменты для оттачивания этого навыка. Второй вывод исследователя затрагивает гендерный аспект. Контролем этих, казалось бы, неочевидных границ как в повседневности, так и в ритуале занимаются женщины. Материалом для статьи послужили полевые записи и исследования автора, сделанные на территории Русского Севера в период с 1984 по 2017 год.

Ключевые слова: символическое и практическое пространство, визуальные практики, традиции, ритуальные и повседневные практики

Занавески и шторы, особенно оконные, для горожанина, приехавшего в деревню, представляют собой вполне себе привычное явление. И поэтому в ситуации «поля» *задергашкам* (местный диалект) и прочим тканевым завесам фольклористы и этнографы уделяют мало внимания. И, как часто это бывает, только в определенной ситуации собиратель неожиданно для себя обнаруживает неизвестный ему семиотический статус привычных предметов [1], [3], [4], [13] и их коммуникативные функции.

Так, в 2007 году со мной приключилась ситуация коммуникативного провала, связанная с «задернутыми/раздернутыми» шторками. В том году наша полевая работа проходила на новой для нас территории – в Мезенском районе Архангельской области. Местные жители для нас и мы для жителей были новыми и незнакомыми людьми, и, возможно, поэтому нашу группу поселили в крайне запущенное и не очень пригодное для жилья место – бывший детский сад. Это было деревянное здание с огромными окнами, которые открывали для людей на улице как нас самих, так и весь наш интерьер. И это вызыва-

ло дискомфорт. Наша соседка и доброхот Елена Ивановна¹ любезно выделила нам несколько шторок. Шторки мы повесили и всегда держали задернутыми. И эти вечно зашторенные окна сыграли против нас. Из-за них в течение почти двух недель не могли дозвониться до нас наши коллеги, работающие в других деревнях. Позже мы узнали от Елены, почему так случилось. Она подходила к нашему дому, видела закрытые окна, и это было для нее основанием для того, чтобы сделать определенный вывод: мы спим или отдыхаем. И она уходила. Ни время суток, ни то, что мы при этом шатались по деревне, – ничто для нее не было аргументом для иных предположений о наших занятиях. Для Елены задернутые занавески были знаком закрытых границ. Задернутые шторы – знак отдыха хозяев дома, а если они отдыхают – похоже, беспокоить нельзя.

Через пару лет мы перебрались работать в соседний район. И я вновь оказалась вовлечена в коммуникацию посредством занавесок. Я пришла на интервью к пожилой и одинокой женщине – Александре Александровне. Встретились мы около 10–11 утра, беседа происходила на кухне

перед большим окном. По каким-то причинам мне помешало не закрытое шторой окно, и я попросила задвинуть занавески. На что мне Александра Александровна объяснила, что сделать это категорически не может. Окно на ее кухне с утра должно быть открыто – для соседей, живущих напротив. Закрытое занавесками окно до полудня – тревожный знак для соседей. Не открыла окно – не встала с кровати, а значит, надо идти проводить.

В экспедиции 2015 года случилось еще одно небольшое открытие, когда я, уже посвященная в правила коммуникации посредством штор, приучила себя и неофитов студентов открывать окна сразу же, как просыпаешься, чтобы не прослыть лодырем и соней среди местных жителей. В деревнях нежилые дома – дело обычное. Отличительной чертой таких домов являются круглосуточно закрытые шторы на окошках. В беседе с местной женщиной я узнала, что хозяйки-наследницы родовых нежилых домов имеют обычай раз или два раза в год приходить в старые дома, чтобы прибраться. Они моют полы и обязательно снимают занавески. Уносят их к себе, чтобы постирать, приносят обратно, развешивают, занавешивают и уходят до следующего раза. Этот обычай подтвердили женщины из соседних деревень. Свои действия они объясняют, с одной стороны, по-бытовому – чистота сохранит дом в пригодном состоянии дольше, с другой стороны, чистые занавески на окнах – сигнал для других, что дом пустой, но с хозяином. Даже наивно надеются, что это спасет дом от мародерства. В случае, когда дом остается совсем без хозяев, окна заколачивают.

Итак, со временем шторы стали предметом моего пристального внимания. Так я узнала, что традиционно во время похорон шторы в доме не только держат закрытыми до выноса покойника, но после их обязательно перестиравают. При этом женщины говорили, что в первый год после смерти покойного сменить одни шторы на другие – это практически единственное возможное изменение в интерьере дома. Но вообще в старых домах шторы (оконные и те, что украшают дверные проемы) стараются сохранять. Они работают как знаки памяти. Я наблюдала за тем, как однажды пожилая женщина зашла в дом, где жили студенты во время практики: это был дом ее покойной сестры. Она все повторяла, что очень хорошо, что Люся (невестка сестры) не сменила шторы, оставила как было, как будто все по-прежнему. При этом в том же доме мы обнаружили его старые фотографии, интерьер легко можно было опознать даже по черно-белым фотографиям благодаря цветастому рисунку шторок: он соответствовал рисунку штор, что висели сейчас.

Эта часть интерьера оказывается важной в отношениях между старшими и младшими женщи-

нами, например между свекровью и невесткой. Непокорные невестки могли демонстративно поменять занавески на окнах дома мужа, сменив имеющиеся на свои.

А еще окно – один из способов продемонстрировать свое мастерство рукодельницы: часто шторы вязали крючком, вшивали в ткань узоры и пр.

В нашем архиве² я обнаружила более трехсот контекстов, в которых упоминаются занавески и шторы, упоминания о них встречаются в разных фольклорных жанрах – от устной народной прозы до частушек, романсов и традиционных песен. Однако рассмотрение значений штор и занавесок в фольклорных текстах не входит в мои задачи. Мне бы хотелось остановиться на двух темах: коммуникативная функция штор, и в первую очередь функция разграничения практического и символического пространства жилища. А также рассмотреть вопрос о том, кто созидает эти границы и когда они нужны.

Надо сказать, что, в отличие от городского обычая, оконные шторы и занавески для севернорусской деревни – явление довольно позднее. Например, на фотографиях начала XX века, сделанных в севернорусских деревнях, они еще отсутствуют. Судя по свидетельствам наших информантов, шторы на окнах – явление послевоенное. Женщины, которые родились в 1920-е и 1930-е годы, вспоминают, что раньше на окнах штор не было. П. С. Ефименко описывает дом конца XIX века так:

У окон приколачиваются наличники и карнизы, а во многих домах сверх того приделываются к стойкам ставни (дверцы на железных петлях) для закрытия окон, когда это нужно бывает. <...> Однако же ставни бывают не у всякого дома, и крестьяне вместо них к окнам на ночь приставляют соломенные коврики. Кроме того, у зажиточных хозяев окна в домах завешиваются ситцевыми и кисейными занавесками [10: 75].

Более долгую историю имеют внутренние занавески в доме – полога. Ефименко отмечает:

У многих домов четвертая часть избы против печи отделяется заборкой, перегородкою, называемую шолнышей, сонышею или солнышем. <...> В иных домах вместо деревянной заборки бывают претрадинные, холщовые и крашенные занавесы [10: 75].

В иллюстрированной энциклопедии «Русская изба» на слово «занавеска» в разделе, где помещены словарные статьи о мебели и убранстве дома, находим следующее:

Занавеска (занавесь) – короткое полотнище ткани для занавешивания дверного проема из избы в горницу при пятистенке, из избы в прорубы в клети. Занавесками украшались спинки кроватей, иконы в божнице. Эти занавески вошли в русский крестьянский быт во второй половине XIX – начале XX вв. [14: 73].

Занавески же на окнах, по данным энциклопедии, стали использоваться только в 20–30-е годы прошлого века, когда стали исчезать из обихода ставни.

Другими словами, и тканевые занавесы внутри дома, и оконные шторы на окнах – явление отнюдь не древнее. Однако они представляют собой мощный полисемантический объект, функционирующий в разных, в том числе и ритуальных, ситуациях. Так, «за занавеской» находилась невеста какое-то время во время сватовства, *занавесой* могут назвать ткань, которой закрывают колыбель с младенцем и за которую нельзя заглядывать посторонним.

Собиратели и сегодня могут наблюдать в домах внутренние занавески: они закрывают особые места – места хранения одежды, полати, печи, вход в *солнышу*, дверные проемы и пространства спальных комнат. В этих шторах, безусловно, имеется утилитарный смысл – декоративный: они закрывают и прячут «некрасивое» или то, что не нужно показывать другим/чужим. Но также с помощью внутренних шторок разграничивается пространство дома. И часто организованному таким образом границу без особого спроса пересекать нельзя. Возможность пересекать такие границы обеспечивается наделением определенным статусом.

Чтобы привести пример, вернусь в 2007 год, когда мы впервые приехали на Мезень. Из-за непогоды мы сутки не могли перебраться на другой берег реки, из одной деревни в соседнюю. На это время нас приютили в своем доме глава администрации и его супруга. Утром радушная хозяйка решила порадовать незваных гостей выпечкой, я была назначена помощницей. И через какое-то время, наблюдая за хозяйкой, я поняла, что все необходимое для готовки находится возле печи, за шторкой. Конечно, из этнографической литературы я знала про запечный угол, про то, что это место хозяйки, и прочее, но я решила, что на дворе XXI век, перед нами добрейшая Ольга Петровна и так далее – я перешагнула за штору. И в ту же минуту гостеприимная хозяйка превратилась в строгую женщину, которая отчитала меня за бестактность. В *солнышу* заходить не хозяйке (то есть не старшей женщине, которая главная у печи) категорически запрещается [17], [18].

В дальнейшем я рассказывала другим местным женщинам о своем проступке, некоторые из них смеялись над моей глупостью и незнанием, кто-то осуждал, кто-то еще раз подтверждал тот факт, что существуют строгие правила пользования чужой кухней и чужим пространством: «Гостить гости – а в *солнышу* не заходи...» Как отмечает Е. Л. Мадлевская, занавес – перегородка, отделяющая кухонный (печной) угол от основного пространства избы – известен еще с XIX века: его сшивали из 4–6 полотнищ домотканого полотна. Позже для этого использовали фабричный материал – ситец [14: 73].

В современном деревенском доме такой занавесью «украшают» не только *солнышу*, но и стенки печи-голландки. Такие шторки в мень-

шей степени используются для коммуникации, чаще они обладают декоративными функциями, однако и за ними могут быть «спрятаны» одежда, дрова и прочее. И при этом они служат украшением дома, виртуозно и замысловато сочетаясь по цвету с другими деталями интерьера.

Внутренние шторки как границу городские гости часто просто не замечают. Она, эта визуальная граница, слишком «мягкая» для них. Для городского жителя такой способ разграничения пространства и связанные с этой практикой запреты пересечения пространственных границ не являются очевидными. Мы не всегда вовремя осознаем, что нарушаем что-то, легко проникая из зоны публичного в зону приватного. Для горожанина более понятным знаком в подобных случаях является закрытая дверь. Дверь обеспечивает не только визуальную, но и акустическую непроницаемость.

Стоит сказать, что дверь, обеспечивая основную функцию входа в дом и выхода из него, в традиционной славянской культуре служит семиотической границей внутреннего и внешнего миров [2], [5: 222], [16: 25–29]. Закрытая дверь, являясь частью стены, защищает внутреннее пространство дома от внешнего мира. Открытая дверь, наоборот, связывает жилое пространство с внешним миром [5: 222], [15]. Но это если говорить о входной двери. Совсем иначе обстоят дела с внутренними дверьми в деревенском доме. Во-первых, их часто просто нет, а если есть, то одна, отделяющая горницу от избы. Но обычно не только проемы, но и двери дополняются боковыми шторками – кулисами. При этом часто закрытыми будут не двери, а именно шторки, они делят пространство, а вовсе не двери.

Между границей-дверью и границей-шторой существует важное различие – различаются ответственные за сохранение границ. Похоже, что в случае акустической и визуальной непроницаемости контролируют ее как те, кто закрылся, так и те, от кого закрылись. В случае же задернутой шторки (исключительно визуальной непроницаемости) ответственность за сохранение интимного лежит на том, кто смотрит, кому видно. Нарушил границу тот, кто увидел, а не тот, кто не закрылся. Известно, что в традиционной культуре широко представлена система запретов: кому и на что нельзя смотреть, а также предписаний – кому на что (куда, во что) нужно смотреть. О запретах и предписаниях, о предикатах «смотреть» и «видеть» в ритуале подробно говорит в своем диссертационном труде М. В. Ясинская [19]. Исследователь указывает на то, что в визуальной коммуникации активным является как раз воспринимающий субъект, а видимые объекты, как правило, пассивны, они не выполняют никаких действий. Они просто существуют, и они видимы, то есть доступны взгляду [19: 90–91]. Это замечание значимо и для моих наблюдений.

Однако Ясинская разбирает ритуальные контексты, я же говорю о ситуациях повседневных: шторы открывают и закрывают на окнах каждый день, в солнышу хозяйка заходит ежедневно, *препоны* укрывают постель от комаров и скрывают супружеские пары и т. д.

Но в целом набор ритуальных запретов и предписаний совпадает с повседневным: и в ситуации ритуальной, и в ситуации повседневной учатся не смотреть на новорожденного в зыбке, учатся не бросать взгляд в солнышу, где может быть и молоко, и рукоделие и где могут прятать иконы, тетрадку с заговорами и многое другое. Похоже, что первый навык «не смотреть, куда не следует» (а также, похоже, и не слышать то, что «не для твоих ушей») деревенский житель приобретает еще в детстве. Мы не раз записывали рассказы о том, как детей повитуха или свекровь прятала за штору в солнышу, когда их мать рожала еще одного ребенка:

Мы пришли и говорим: «Тетка! Мамка тебя зовет и сказала – поскорей иди, ну а мы и потякали домой, это было 31 января, пришли, помню, пришли и нас знашь куда – в шолныш, вот это шолныш называется и занаве... а тогда занаве. И так было вот, этак была занавеска. Это Лию и мы там... и не плакала ниче»³.

Потом этот навык закрепляют посредством ритуалов. А после воспроизводят его вновь и вновь в повседневных ситуациях. В 2016 году мы записали историю об очень ответственном мужчине, который старательно контролировал себя с точки зрения собственного взора: приходя в гости к своим родственникам, он просил прятать от него детей за шторой. Он сам себя подозревал в оприкосливости:

Да! Сам вот это. «А потом, – говорит, это, – посижу – дак потом». Они потом заглянут, он их сразу это – занавеску завесит, у нас двери-то нет, дак занавески да. «Не входи, – говорит, – ребята, сюда! Не играйте тут». <Смеется.> <Сам про себя знает?> Да-да, знает, дак-от. «У меня ведь, – говорит, – все равно, как ни взгляну – все равно, – говорит, – прикошу!»⁴

Но в целом обычно деревенскому жителю, чтобы контролировать направление своего взгляда, дополнительные обоснования бывают и не нужны. Так, например, на Мезени существует обычай отнosa обетных пелен к крестам [8]. Это действие требует того, чтобы по дороге туда никто тебя не видел, чтобы никто не видел само это обетное действие. Особенно это касалось крестов, находящихся в черте деревни, их видно сразу из окон многих домов. И я достаточно долго и часто терзала своих собеседников вопросом, как это возможно – не увидеть. И все удивлялись моему вопросу, так как для них было очевидным, что ты все понимаешь: куда и зачем человек идет и что с ним не надо разговаривать и не надо на него в это время смотреть.

То есть строгие правила, предписывающие участнику визуальной коммуникации в ритуале

особый контроль над своим взглядом, переносятся в повседневность, а шторы и занавески при этом выступают особым инструментом для оттачивания этих навыков.

Итак, получается, что оконные занавески держат внешние границы социального пространства всего деревенского сообщества, внутренние занавески обеспечивают границы социального пространства семьи. Они организуют приватные зоны общего дома, где жильцы могут скрываться друг от друга: женщины в своих углах, супружеские пары в препонах или на кровати за шкафом со шторкой и так далее. Созидают эти границы и отслеживают их работу женщины, хозяйки.

Российские исследователи [5], [7], [11], чьи работы так или иначе посвящены пространству крестьянского и городского дома, часто говорят о том, что в организацию деревенского дома вложено больше женственно-материнского, чем мужского, больше статично-оседлого, чем динамично-кочевого, и это идет еще из Домостроя и т. д.

Однако я бы хотела заметить несколько другую вещь. Обращаясь к этнографическим источникам, описывающим жизнь русского крестьянства, я обнаруживаю, что родительское наследство обычно делилось на мужское и женское. Если сыновьям могли выделяться часть усадьбы, хозяйственные постройки, часть обрабатываемой земли, то женщинам в качестве приданого не выделялось недвижимое имущество (могли быть деньги, скот и утварь). Основное приданое девушки – это ткани, постельное белье и одежда. По оценке Ефименко, стоимость такого женского имущества была не меньше стоимости мужского наследства [9: 53–54]. При этом, в отличие от дома, на данное имущество никто и никогда не имел притязаний: ни муж, ни семья мужа. Женщина распоряжалась этим имуществом по своему усмотрению, в том числе выделяя из имеющейся ткани полотна для шторок. Но это речь идет об обычаях конца XIX – начала XX века.

В интервью, записанных от женщин, рожденных в 20–30-е годы прошлого столетия, чьи свадьбы приходились на 50–70-е годы, встречаются свидетельства о том, что в приданое и дары от родителей невесты часто входили или сами шторы, или материал для шторок: «...постельное, это всё, занавески, постельное, это всё»⁵. Или: «...и родители дарили, да, кто что. Кто раньше, кто на тюль, кто для занавесок новых принесет. Это сейчас ведь подарки большие дарят, а тогда не такие подарки были»⁶. И так далее.

Стоит сказать, что русская крестьянка была связана с ткачеством с самого своего рождения. Особый статус текстильных предметов сохранялся на протяжении всей ее жизни. Женщина-хозяйка всегда имела доступ к ткани, распоряжалась ею по своему усмотрению – кому дарить,

кому завешать, кого «укрыть и обезопасить» в обряде и, в том числе, каким образом использовать ткань в быту [6]. И если ткачество ушло из жизни современной деревенской женщины, то особые отношения с тканью и вещами, которые из нее создают, остались. И если мужчина строит дом, то женщина внутри перекраивает его, образуя мягкие тканевые границы, создавая особые локусы частного – и повседневные (в доме),

и ритуальные (в обряде). Она же устанавливает и блюдет правила пересечения этих границ, и все эти правила знают и исполняют.

В завершение хотелось бы заметить, что в домах одинокого мужчины (вдовца или бобыля) шторы или отсутствуют вовсе, или просто доживают свой век. Похоже, одиноким мужчинам нет необходимости ни прятаться от кого-либо, ни подглядывать самому.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Персональные данные информантов в статье изменены.

² Электронный архив «Российская повседневность» АНО «Пропповский Центр: гуманитарные исследования в области традиционной культуры» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.daytodaydata.ru> (дата обращения 12.02.2018).

³ ЭА «Российская повседневность», DTxt11-199_Arch-Lesh_11-07-13.

⁴ ЭА «Российская повседневность», DTxt16-131_Arch-Mez_16-07-10.

⁵ Там же.

⁶ ЭА «Российская повседневность», DTxt13-247_Arch-Lesh_13-07-10.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байбурин А. К. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная культура и мифология. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. (Сборник МАЭ. Т. 37). С. 215–226.
2. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1983. 191 с.
3. Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л.: Наука, 1989. С. 63–88.
4. Байбурин А. К. О жизни вещей в народной культуре // Живая старина. 1996. № 3. С. 2–3.
5. Вербина О. В. Пространственные границы дома: частное и публичное // Наука. Искусство. Культура. 2015. Вып. 2 (6). С. 220–224.
6. Веселова И. С. Тряпичная парадигма, или «В рипках родились, в рипках жили, в рипках и помер» // Антропологический форум. 2005. № 2. С. 289–316.
7. Волкова Т. В. Особенности восприятия дома в современной российской культуре // Вопросы культурологии и философии. 2012. № 4 (XXVI). С. 40–44.
8. Голубева Л. В. «Женщины все больше носили, тряпки висели»: относ пелен как женская религиозная практика // Речевая и обрядовая культура Русского Севера. Филологический практикум / Сост. И. С. Веселова, А. А. Степихов. СПб., 2012. С. 29–39.
9. Ефименко П. С. Народные юридические обычаи крестьян Архангельской губернии. М.: Фонд поддержки экономического развития стран СНГ, 2009. 272 с.
10. Ефименко П. С. Обычаи и верования крестьян Архангельской губернии. М.: Фонд поддержки экономического развития стран СНГ, 2008. 560 с.
11. Климова С. В. Дом и мир: проблема частного и публичного [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.anthropology.ru/ru/text/klimova-sv/dom-i-mir-problema-privatnogo-i-publichnogo> (дата обращения 10.12.2017).
12. Кучумова А. Красный угол: положение в пространстве как семантический признак вещи // Русский фольклор в современных записях [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://folk.ru/Research/kuchumova_krasny_ugol.php (дата обращения 11.12.2017).
13. Новик Е. С. «Вещь-знак» и «вещь-жест»: к семиотической интерпретации фетишей // Вестник РГГУ. 1998. Вып. 2. С. 79–97.
14. Русская изба. (Внутреннее пространство, убранство дома, мебель, утварь): Иллюстрированная энциклопедия / Авт.-сост.: Д. А. Баранов, О. Г. Баранова, Е. Л. Мадлевская и др. СПб.: Искусство-СПб, 2004. 376 с.
15. Семиотика деревенского жилища: Медиапрезентация / С. Б. Адоньева, И. С. Веселова, Л. В. Голубева, В. В. Захаркина, А. С. Каретникова, А. А. Кучумова, Е. С. Мамаева, Ю. Ю. Мариничева, А. А. Маточкин, А. В. Степанов, Д. К. Туминас // Русский фольклор в современных записях [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://folk.ru/Presentations/Semiotics/index_flash.php?rubr=semiotics_pres (дата обращения 08.01.2018).
16. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под общей ред. Н. И. Толстого. Т. 2: Д–К (Крошки). М.: Междунар. отношения, 1999. С. 25–29.
17. Степанов А. В. Опыт прагматической интерпретации пространства севернорусской избы: шолныша // Антропологический форум. 2011. № 15. С. 194–215 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/15online/> (дата обращения 12.01.2018).
18. Степанов А. В. О месте. Этнофеноменологический очерк // Антропологический форум. 2016. № 28. С. 199–220.
19. Ясинская М. В. Представления о глазах и зрении в языке и традиционной культуре славян: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2016.

Golubeva L. V., Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation)

SPACE “CLOTHING” : SOFT BORDERS – STRICT RULES

The article is concerned with the functionality of symbolic and practical space of the village house. Along with the practical reasons textile valances on the windows and other places inside the house have a particular symbolic meaning. They act as “borders” separating public and private zones. Hanging a valance the village peasants separate the space between a stove and a wall (“*solnysha*”) from

the rest of the house area. Only a mistress (“*bol'shukha*”) of the house can enter “*solnysha*”. The sleeping area can also be partitioned by the textile valance (“*polog*”). The careless use of a valance by a girl who sleeps behind a *polog* on her own can be perceived by a young man as an erotic message. For a townsman, on the contrary, a closed door would be a habitual and evident sign of no trespassing. The door provides a visual and acoustical impenetrability for one standing behind it. Textile borders are more passable and soft. This discrepancy determines responsibility for keeping familiar borders. When people use visual and acoustical impenetrability (closed door), this responsibility is reciprocal for both sides. When people use a textile valance for keeping a familiar space, the responsible side is the one who looked behind the valance. A peeking person disturbs the border of the private zone. The researcher concludes that a habit of not looking into the private zone is developed through ritual practices, which later are incorporated into the everyday life. Herewith textile valances play a role of a special tool for practicing this habit. The second conclusion is related to the gender aspect. In villages, the women were the ones who controlled the soft borders of private zones both in daily practice and rituals. The article is based on the materials collected by the author of the article during multiple expeditions to the Russian North (1984–2017).

Key words: symbolic and practical space, visual practices, traditions, ritual and everyday practices

REFERENCES

1. Bayburin A. K. The Semiotic status of things and Mythology. *Material'naya kul'tura i mifologiya. (Sbornik MAE. T. 37)*. Leningrad, Nauka Publ., 1981. P. 215–226. (In Russ.)
2. Bayburin A. K. A Habitat in Ceremonies and Presentations of Eastern Slavdom. Leningrad, Nauka Publ., 1983. 191 p. (In Russ.)
3. Bayburin A. K. The Semiotic Aspects of the Functioning of Things. *Etnograficheskoe izuchenie znakovykh sredstv kul'tury*. Leningrad, Nauka Publ., 1989. P. 63–88. (In Russ.)
4. Bayburin A. K. About Things in Folk Culture. *Zhivaya starina*. 1996. No 3. P. 2–3. (In Russ.)
5. Verbina O. V. The border of A Expanse of A House. *Nauka. Iskusstvo. Kul'tura*. 2015. Issue 2 (6). P. 220–224. (In Russ.)
6. Veselova I. S. A rag-tagged paradigm. *Antropologicheskii forum*. 2005. № 2. P. 289–316. (In Russ.)
7. Volkova T. V. The special Aspects of a Home in The Modern Russian Culture. *Voprosy kul'turologii i filosofii*. 2012. № 4 (XXVI). P. 40–44. (In Russ.)
8. Golubeva L. V. “Women more often carried and hung up rags”: Deviation of Carpets as female religious practice. *Recheyaya i obryadovaya kul'tura Russkogo Severa. Filologicheskii praktikum*. St. Petersburg, 2012. P. 29–39. (In Russ.)
9. Efimenko P. S. Folk juridical Customs of Peasants in Arkhangelsk governorate. Moscow, CIS Economic Development Support Fund Publ., 2009. 272 p. (In Russ.)
10. Efimenko P. S. The Customs and Convictions of Peasants in Arkhangelsk governorate. Moscow, CIS Economic Development Support Fund Publ., 2008. 560 p. (In Russ.)
11. Klimova S. V. The House and The Universe: A problem of public and private. *Anthropology*. Available at: <http://anthropology.ru/ru/text/klimova-sv/dom-i-mir-problema-privatnogo-i-publichnogo> (accessed 10.12.2017). (In Russ.)
12. Kuchumova A. The red angle: Position in Space as a Semantic Feature of the Thing. *Russkiy fol'klor v sovremennykh zapisyakh*. Available at: http://folk.ru/Research/kuchumova_krasny_ugol.php (accessed 11.12.2017). (In Russ.)
13. Novick E. S. A thing-sign and a thing-gesture: to the Semantic Interpretation of Fetishes. *Vestnik RGGU*. 1998. Issue 2. P. 79–97. (In Russ.)
14. The Russian House (an Interior, a Furniture, Utensils). The Illustrated Encyclopedia. St. Petersburg, An Art-SPb Publ., 2004. 376 p. (In Russ.)
15. The Semiotic of a Village House. *Russkiy fol'klor v sovremennykh zapisyakh*. Available at: http://folk.ru/Presentations/Semiotics/index_flash.php?rubr=semiotics_pres (accessed 08.01.2018). (In Russ.)
16. Slavic antiquities: Ethno-linguistic dictionary: In 5 vol. Vol. 2. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 1999. P. 25–29. (In Russ.)
17. Stepanov A. V. The Experience of Pragmatic Interpretation of Space of the Northern Russian House: sholnysha. *Antropologicheskii forum*. 2011. № 15. P. 194–215. Available at: <http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/15online/> (accessed 12.01.2018). (In Russ.)
18. Stepanov A. V. About place. An Ethnophenomenological essay. *Antropologicheskii forum*. 2016. № 28. P. 199–220. (In Russ.)
19. Yasinskaya M. V. The Concept of Eyes and Vision in the Language and Tradition of Slavic Cultures. Diss. Cand. Sci. (Phil.). Moscow, 2016. (In Russ.)

Поступила в редакцию 29.11.2017

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ИВАНОВА

научный сотрудник сектора фольклористики с фонограмм-архивом, Институт языка, литературы и истории – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» (Петрозаводск, Российская Федерация) *ljuchiki@mail.ru*

ОБРАЗ *YÖNITKETTÄI* НОЧНОЙ ПЛАЧЕИ В КАРЕЛЬСКОЙ МИФОЛОГИИ*

Использованы фольклорно-этнографические материалы, хранящиеся в архивах Карелии и Финляндии. Впервые в отечественной фольклористике на основе текстов мифологической прозы и заговоров, а также верований и ритуалов исследуется образ *yönitkettäi* ночной плачеи. Целью текстологического и сравнительно-типологического анализа являлась, во-первых, семантическая трактовка и корректный перевод на русский язык названия, одновременно обозначающего и детский недуг, и мифологического персонажа. Во-вторых, была изучена образная система и визуальные параметры, которые свойственны духу, олицетворяющему ночную бессонницу. В результате можно сделать вывод, что *yönitkettäi* – разновозрастной и не всегда единичный дух, способный развивать и совершенствовать свои навыки. Он связан не только с миром детей, но иногда и с миром взрослых. Данный персонаж чаще всего является аморфным существом, хотя порой в его описании встречаются антропо-, зоо- и орнитоморфные черты, а также солярные мотивы. Прослеживается его связь со стихиями воды, леса и домашними духами.

Ключевые слова: карелы, мифология, заговор, ритуал, ночь, болезнь, дети, плач

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Образ ночной плачеи в карельской фольклористике ранее не исследовался. Фрагментарное внимание уделялось только отдельным способам лечения болезни. В Финляндии в 1919 и 1933 годах вышли в свет первый и седьмой тома SKVR, в которые были включены заговоры от *yönitkettäi*¹. Самые ранние упоминания о ночной плачье, опубликованные в русскоязычной печати, встречаются в статье первого карельского фольклориста и этнографа, уроженца села Святозеро Н. Ф. Лескова. В конце XIX века он по поручению Русского географического общества собирал фольклорно-этнографический материал в Южной Карелии, у ливвиков и людигов. Его архив, к сожалению, считается пропавшим, но сохранились статьи, публиковавшиеся как в газете «Олонецкие губернские ведомости», так и в журнале «Живая старина». В «Отчете о поездке к Олонецким карелам летом 1893 года» он кратко пишет о лечении детских болезней, в том числе в отдельном абзаце о ночной плачье «*yönitkettäi*, ночью заставляющем плакать ребенка»².

В 1924 году в Финляндии вышло первое издание книги С. Паулахарью «Рождение, детство и смерть», в которой он описал один из способов излечения от *itettäjä* [18: 56].

Известный финский исследователь П. Виртанен в 1958 году, основываясь на собственном собранном материале, кратко осветил представления собственно-карелов об *yönitkettäjä* и народных способах лечения болезни [24: 152–154].

В 1985 году Ю. Ю. Сурхаско в книге, посвященной семейным обрядам карелов, также упомянул о существовании мифологических представлений

об *yönitkettäjä*. Название он перевел буквально: «заставляющая (ночами) плакать» [11: 47].

В 2000 году А. С. Степановой впервые в научный оборот были введены три полных текста про ночную плачею. Они представляли традицию тунгудских карелов. Но так как были записаны уже в конце XX века, к сожалению, содержали только описание самого обряда изгнания духа с краткой вербальной формулой без второй необходимой составляющей – заговора [14: 290–292].

Единственная небольшая статья об этом недуге написана Т. В. Пашковой [9]. В ней представлены некоторые варианты наименования болезни у разных диалектных групп карелов и описано несколько способов лечения болезни. О мифологических представлениях и о заговорной традиции северных карелов (в том числе очень кратко и про *yönitkettäi*) писала известный финляндский исследователь-мифолог А.-Л. Сиикала [19: 84].

Некоторые упоминания о способах лечения от *yönitkettäi* у тверских карелов есть в монографии и статье О. М. Фишман, посвященных старообрядцам [14], [15: 154, 158]. О мифологических представлениях дёржанских карелов, живущих на юго-западе Тверской области, опубликована статья в Финляндии, в ней также упоминается о детском ночном плаче [17: 229].

Об ингерманландской традиции есть упоминания в статье Т.-И. Кауконена [16: 186–187].

Вепский аналог ночной плачеи, *örägu*, достаточно полно описан в фундаментальной энциклопедии И. Ю. Винокуровой, посвященной мифологии соседнего народа, вепсов. В статье представлен и визуальный код духа, и способы борьбы с детской бессонницей. Название исследователь сначала

переводит как «ночной плач»; затем дает пояснение: «дух, вызывающий ночной плач и бессонницу у ребенка» [4: 472].

Русские заговоры от детской бессонницы, бытовавшие на территории Карелии, введены в научный оборот Т. С. Курец в 2000 году. В книге опубликовано девятнадцать текстов из пяти районов. В них в качестве названий недуга встречаются следующие: ночной воп (вой), полунощница-полунощница [5: 57–60].

Феномен детской бессонницы (ночной плаксы, криксы, полунощницы) как в мифоритуальном, так и в вербальном отношении на русском материале (и шире – славянском) изучен всесторонне. Достаточно назвать несколько наиболее крупных работ российских исследователей: Л. Н. Виноградовой, Е. Е. Левкиевской, Т. А. Агапкиной и др. [3: 302–315], [7], [1: 247–292]. Заговорная символика в русской традиции исследована А. Л. Топорковым [12]. Архивный материал, включающий и представления о ночной плаксе, в последние десятилетия публикуется в различных регионах России [10: 77, 86, 87, 90, 91, 102, 110, 115, 131, 248]. О верованиях заонежан, связанных с криксой, есть сведения в книге К. К. Логинова [8: 72–78].

Представленная статья написана на основе фольклорно-этнографических материалов, выявленных автором в Фонограммархиве ИЯЛИ, Научном архиве КарНЦ РАН и в Фольклорном архиве Финского литературного общества (SKS). Для исследования также использовались тексты заговоров, опубликованные в печатных изданиях, о которых говорилось выше.

ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРЕВОД СЛОВА YÖNITKETTÄI

Согласно мифологическим представлениям карелов, болезнь воспринималась как некая совершенно автономная сила, которая приходит из чужого, иного для человека мира. Происходит это вследствие нарушения каких-либо строго установленных табу и различных пространственно-временных и морально-этических границ: нарушается равновесие между мирами людей и духов. Как пишет Л. Старк, традиционные обряды и культы карельского крестьянства были направлены не столько «на обеспечение материального благополучия в охоте, рыболовстве и сельском хозяйстве», сколько являлись «прямым ответом на беспорядок или нарушение равновесия как в личной, так и в общинной жизни» [20: 75]. Нарушение равновесия между мирами и их обитателями строго каралось: человек заболел или даже умирал. Как показывают ритуалы исцеления (и обрядовый, и вербальный их компоненты), для благоприятного исхода человеку необходимо восстановить это равновесие, а значит, установить контакт с духами болезни, чаще всего именно на том месте, где произошло нарушение. Контакт происходит в различных формах. Это может быть диалог с болезнью или монолог с требованием или просьбой изгнать болезнь, напугать ее, навязать нормы своего поведения, заключить договор.

В карельской мифологии болезнь и ее образ часто персонифицированы, это касается и ночной плачеи.

Слово, обозначающее детскую болезнь, во время которой младенец непрерывно плачет, и одновременно мифологического персонажа, ее олицетворяющего, на территории всей Карелии звучит практически одинаково. У северных карелов это *yönitettjä* или *yönitkettjä*, а у южных (ливвиков и людиков) – *yönitkettäi*³. Данные лексемы являются сложными словами, в которых «первая часть (одинаковая во всех лексемах) представлена существительным *yön* ‘ночи’ (генетивная форма от сущ. *yö* ‘ночь’), а вторая – различными диалектными, фонетически измененными вариантами причастия *itettjä* (*ikettjä*, *itkettäi* и др.) ‘тот, кто заставляет плакать’» [9: 51].

Традиционно карельскими исследователями это слово переводилось на русский язык в соответствии с имеющимися в нем сходными понятиями: (ночная) крикса, (ночная) плакса или полунощница.

Ю. Ю. Сурхаско трактовал ночную плачею как «особое сверхъестественное существо... зловредный дух, который беспокоит ребенка и заставляет ночами плакать» [11: 47]. А. В. Пунжина в словаре тверских говоров объяснила и перевела *yönit'et't'äja* как «дух, возбудитель ночного плача; крикса; болезнь»⁴. Г. Н. Макаров ливвиковское *yönitkettäi* представил как «дух, заставляющий ребенка плакать ночами, крикса»⁵. В словаре собственно-карельских говоров *yönitettjä* – это «возбудитель ночного плача ребенка»⁶. А. С. Степанова перевела *yönitettjä* как «полунощница», «сверхъестественное существо, беспокоящее ребенка по ночам» [13: 347]. Т. В. Пашкова переводит с карельского *yönitkettjä* как «нощница» и, соответственно, так называет и ночного духа, и болезнь, которую он насылает [9: 52].

На наш взгляд, такой перевод, полностью ориентированный на русское название, не совсем точен, так как не передает всех деталей и сути архаичных мифологических представлений, заложенных карелами уже в самом названии болезни. Наиболее верным будет буквальный перевод: ночная плачея (ночная плакальщица). В карельском названии основное внимание уделяется нескольким составляющим. Первая связана со временем суток – ночью, вторая с симптоматикой недуга – плачем, а основная – с самим мифологическим персонажем, одновременно олицетворяющим и болезнь, и духа, мучающего ребенка и вызывающего у него плач. При этом следует отметить, что в карельском языке есть название реального участника свадебного, похоронного и некоторых иных прощальных обрядов жизненного цикла, которое звучит как *ikettäi* причитальщица (плачея). Задача реальной причитальщицы состоит в том, чтобы вызвать плач и слезы у участников ритуала. *Yönitkettäi* ночная плачея стремится к этому же: заставить плакать ребенка, лишив его при этом сна.

У восточных славян исследователи выделяют в названиях детской бессонницы и крика четыре основные лексико-семантические группы: термины, производные от глаголов со значением 'издавать громкие звуки, кричать'; со значением 'время суток, когда ребенок не спит и плачет'; с семантикой 'отсутствие сна и покоя'; со значением 'щекотать' [1: 247–251].

Иногда в Приладожской Карелии (*Raja Karjala*), а чаще в финляндской Южной Карелии (*Etelä Karjala*) духа, возбуждающего детский плач, называли не только *yönitkettäjä*, но и *yövalvottaja*, буквально: ночью пробуждающая. Встречается вариант и *yökilka* (*kilika*, *kilko*), буквально: ночью стучащая или звенящая [23: 2244–2250, 2258, 2263, 2265, 2267, 2310]⁷. Но такие наименования встречаются редко, а слово *yönitkettäi* знакомо всем группам карелов. Именно поэтому в исследовании оно закреплено за понятием ночная плачея.

У тунгудских карелов была игра *kilkka*, во время которой деревянной палкой ударяли по доске⁸. А ливвики в Рыпушкалицах называли *yöpoaroi* ночная бабушка, во-первых, лунатика (*yökulkija*, то есть буквально: ночью ходящего), а во-вторых, игру, во время которой надо вальком докатить до палки определенный предмет. Тому, кто оставался последним, завязывали платком глаза, и он становился ночной бабушкой *yöpoaroi*. После этого ему надо было стучать вальком для полоскания белья, и только тогда он мог освободиться от этой обидной роли⁹. Как мы увидим, в некоторых фольклорных текстах ночная плачея, во-первых, тоже связана со стихией воды, во-вторых, предстает в женском антропоморфном образе.

ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА И ВИЗУАЛЬНЫЙ КОД НОЧНОЙ ПЛАЧЕИ

Т. А. Агапкина, исследуя восточнославянский материал, пишет, что персонажи заговоров от детской бессонницы «тяготеют к двум полюсам. На одном располагаются дети, страдающие от бессонницы, а также их матери и знахарки, стремящиеся избавить детей от крика; на другом же антагонисты – персонажи, воплощающие детскую бессонницу» [1: 253–254]. Персонажей, появляющихся в карельских быличках и заговорах и связанных с детской бессонницей и постоянным плачем, на наш взгляд, можно условно разделить на три категории. С одной стороны находятся дети, их матери (бабушки) и знахарки (бабушки). Им противостоит ночная плачея и те, кто насылает недуг (или представители того мира, из которого она приходит). Между ними находятся посредники, к которым обращаются за помощью во время ритуалов исцеления ребенка (изгнания или уничтожения и недуга, и мифологического персонажа). У карелов ночная плачея практически никогда не выступает в роли посредника в лечении. Как заговоры, так и ритуальные действия чаще всего направлены на ее изгнание или уничтожение. Вариантов заключения договора с ней, в отличие от восточных славян, у карелов очень мало.

Представители первой группы практически никак не описываются. Говорится только, что ребенок все ночи и даже дни плачет, не ест, худеет. Мать, любящая и беспокоящаяся за ребенка, подвержена желанию у всех видеть стремление слезить его или наслать болезнь. Поведение заговаривающего человека часто описано как экспрессивное, с бурным выражением эмоций злобы и ненависти к изгоняемому духу, и в то же время как демонстрация собственного бесстрашия и силы: «Дверь, дверь в сени как откроет нараспашку, за спину лопату в сени как швырнет!» (ФА: 1522 / 3a)¹⁰.

Представителям второй группы уделено основное внимание.

К посредникам наиболее часто обращаются в заговорах, во время самих обрядовых действий они практически никак не представлены.

Ночная плачея – главный персонаж заговорных рун и заклинательных формул, которые произносятся знахаркой или ближайшей родственницей (чаще бабушкой) во время процесса исцеления малыша. Она является мучителем ребенка. Карелы так и говорят: *yönitkettäi muokku- au lastu* ночная плачея мучает ребенка. Следует подчеркнуть, что, так как в карельском языке нет категории рода, определить гендерную принадлежность ночного духа по названию практически невозможно. На пол могут указывать только детали, проявляющиеся в заговорах или мифологических рассказах. В отличие от страдающего от бессонницы ребенка, ночная плачея тоже никогда не спит, но при этом она полна сил и стремится к постоянному бодрствованию.

В заговорах ночную плачею нередко прямо называют *piru* чёрт или *biessa* бес и представляют как некое существо, пускающее в ребенка стрелы болезни-бессонницы и плача. Например, обращаясь к ней, говорят: «*Ota, piru, pistoksesi* Забери, чертовка, свои стрелы» [21: 657], (ФА: 2251 / 14). Согласно карельским верованиям, многие болезни насылаются на человека колдунами и различными нечистыми силами именно в виде стрел. Более того, самих духов, олицетворяющих различные болезни, возникающие от того, что были чем-то прогневаны хозяева определенных локусов, так и называют: *mečän* (*vien*, *kalman*, *tuulen*, *tulen*) *nenä*, что можно перевести как нос, или острей, или стрела леса (воды, могилы, ветра, огня).

В ритуале «перемалывания» ночной плачеи говорят: «*Kilkoo jauhahan kivellä, Paasilla pahoo mi- estä, Pehmittelen perkelehtä* Килко размалываю камнем, Куском скалы – плохого мужа, Размягаю чёрта» [22: 2258].

Еще одно негативное название *yönitkettäi* звучит как *liika* лишняя, то есть чуждая, несвойственная миру человека, пришедшая не просто из иного мира, но из другой или «плохой» его половины (*toine libo paha puoli*), в которой обитают нечистые духи. Прогоняя плачею, произносят: «*Lähe, liika, liikkehelle* Уходи, лишнее, двигаясь» [21: 663]. Следует отметить, что часто термин *liika* лишняя появляется в речи с целью замены табуированного наименования мифологического персонажа или недуга.

Чаще всего, ночная плачея – существо аморфное, для людей невидимое. «*Niidy ei nähtä, hyö moizet ollah!* Их не видят, они такие!» (ФА: 3463 / 18). Иногда во сне слышат только ее голос (ФА: 3367 / 17a). В одном из описаний лечебного ритуала говорится, что знахарь отправляет *kilka* в тот мир, откуда недуг пришел по дороге, по которой «невидимые (бестелесные) ходят» [22: 2244].

Иногда это антропоморфный персонаж. Неслучайно его название *yönitkettäi* ночная плачея созвучно реальной плачье, участнице свадебного и похоронного обрядов. Чаще она описывается как существо женского пола. Но во многих заговорах встречаются упоминания и мужских черт.

Увидеть ночную плачею можно во сне. В одном из текстов рассказывается, как матери приснилось, что к ней подходит

pahaččaine akka, oikein... hivukset löyhälläh. Ympäri krovatista proidi ta niin lapseh käsin – yön itköy, toisen itköy безобразная женщина, очень... волосы растрепаны. Обошла вокруг кровати, и прямо к ребенку – ночь плачет, другую плачет (ФА: 2222 / 4).

Изредка описывается одежда ночной плачеи. Например, в одной из быличек на ней надет сарафан, а на ее ногах – чулки (ФА: 2545 / 25).

В некоторых заговорах ночную плачею уважительно называют матушкой Патрикеевной и просят не тревожить младенца.

Patrakkoine-muatuška, panen mie rautasen aijan muasta taivahaa sua, taivahasta muah sua oigiesta mladenčasta ymbäri. Vaskizet seibähät, vanoimizet vičad, raudazen sijan rabaa Boožesta ymbäri bladenčasta (min nimelline on). Sie lasta elä kosse. Патрикеевна-матушка, устанавливаю я железную изгородь от земли до неба, от неба до земли вокруг невинного младенца. Медные столбы, гибкие прутья, железное место вокруг рабы Божией младенца (как зовут). Ты ребенка не трогай (НА: 8 / 773)¹¹.

В избе у нее есть излюбленные места, например, в одном из текстов говорится, что она любит спать на рундуке (ФА: 2545 / 25). Этот локус, по всей видимости, выбирался ею неслучайно. Это было не только спальное место, но в нем был и вход в подвал, согласно карельским верованиям, локус сакральный, населенный и домашними духами, и духами предков.

Ночная плачея часто прячется в пустом сухом рукомойнике, который карелы на ночь всегда оставляли без воды: «Она, говорили, вечером в рукомойник приходит» (ФА: 3362 / 28). Если в избе был маленький ребенок, следовало на ночь в него положить полотенце (ФА: 3362 / 28) или ложки (ФА: 3265 / 77). Интересно, что, согласно верованиям крестьян Воронежской губернии, «от бессонницы детей умывают водой, в которой после ужина моют ложки» [10: 90]. Рукомойник в карельской избе был особым предметом, вода в нем считалась самой чистой. В Северной Карелии полы даже после мытья считались недостаточно чистыми. Их необходимо было дополнительно облить водой из умывальника. Этой же водой умывались и после возвращения из бани, чтобы смыть следы пребывания в банном пространстве, которое считалось особым, сочетавшим в себе ритуальную и чисто-

ту, и нечистоту: «*kodivezi puhtahambi... kylyn jälgi pestäh ääreh* домашняя вода чище... банные следы смывают». Когда в избу приносили воду, первый ковш всегда наливали в умывальник [6: 76].

Как видно из фольклорных текстов, у ночной плачеи есть свое пространство обитания, свой мир, наполненный многочисленными родственниками. Образ ночной плачеи, как и ее мир, с одной стороны, противопоставлен человеку, а с другой, их интересы и умения в чем-то совпадают. Например, она может быть хорошей пряхой или швеей, умеет пахать, тачать сапоги или стрелять. Поэтому с целью занять и отвлечь ее внимание от малыша для нее делают соответствующие миниатюрные орудия труда.

Несмотря на то что в карельском языке нет категории рода и поэтому гендерную принадлежность этого злого духа лингвистически определить сложно, все-таки можно говорить о том, что к девочке приходит плачея женского пола, а к мальчику – мужского. Это определяется по некоторым косвенным признакам. Например, таким, как надевание платка на венчик во время ритуала переноса болезни от заболевшей девочки на этот бытовой предмет; или стремление напугать мифологический персонаж отцовскими кальсонами и сорочкой матери, повешенными на дверь, в зависимости от того, какого пола ребенок заболел. Гендерные различия подчеркивают и различные трудовые навыки ночной плачеи: она прядет, вышивает, любит себя, а в других случаях – пашет и стреляет из ружья. В текстах также встречаются как женские имена *yönitkettäi*, так и мужские: Матушка Патрикеевна (ФА: 2031 / 48–49), Харши-Парши (ФА: 711 / 5), Матти (ФА: 2269 / 11). Чаще предполагается, что это мифологическое существо женского пола, но иногда ее называют и *paha mies* плохой мужчина [22: 2239].

Согласно некоторым нарративам, ночная плачея, приходящая к ребенку, – это не всегда единственный дух. Иногда к ребенку приходит несколько ее представителей, или она приходит со своими помощниками. В одном из заговорных текстов к ночной плачье обращаются во множественном числе: «*Pois mängee! Pois mängee! Yönitettäjä, lapsesta pois mäne!* Прочь уходите! Прочь уходите! Ночная плачея, от ребенка прочь уходи!» (ФА: 1893 / 9).

Это существо может быть и разного возраста. В заговорах говорят об отцах и матерях ночной плачеи. То, что для нее делают куклу, может косвенно свидетельствовать о ее детских годах. К тому же в одной из быличек рассказывается, что бабушка, проведя обряд выкашивания-изгнания ночной плачеи косой, увидела сон.

Утром уже спать легла, вижу во сне. Ребенок спит там, в спальне... «Не всех, – говорит, – поймала! Мы сюда убежали! Маленьких нас не поймала еще!» (ФА: 3367 / 17a).

Более того, прогрессивное развитие свойственно не только человеку, но и ночной плачье, приходящей в мир людей из иного мира. В быличках, записанных в конце XX века, она уже не только пахала и пряла, плела сети и кружева, но и увлекалась чтением газет и книг. Именно их клали в изголовье колыбели с целью отвлечь внимание ночной

плачеи от младенца и занять ее чем-то, если ребенок не спал ночами и капризничал (ФА: 3317 / 5).

Считалось, что ночная плачея может прийти в образе человека, который сглазил ребенка. Но в целом «она приходит хоть кем» (ФА: 1703 / 6). Как сообщают информанты, чаще всего персонафицированного духа, олицетворяющего болезнь, можно было увидеть во сне.

Приладожские карелы подчеркивали, что у нее длинные когти, которыми она царапает и щиплет ребенка, именно поэтому он плачет:

yönitkettäjääl on kynnet pitkät, kobristeloo, sentäh laps itköy
у ночной плачеи ногти длинные, щиплет, поэтому ребенок плачет¹².

В одном из заклинаний заговаривающий, со злобой прогоняя от ребенка ночную плачею, предупреждает ее о том, что даст ей и подводу, и лошадь, «*Jottei kynnet koakastele Siliillä kallijolla* Чтобы ногтями не цеплялась За гладкие скалы», которыми окружен ее мир [22: 2260]. Сербь также представляли ночных духов, мешающих ребенку спать, в виде «длинноволосых баб с когтями на пальцах рук» [3: 303].

Ночная плачея может принимать и зооморфный облик. В одной из быличек говорится, что она приходила к четырехлетней девочке в образе серой кошки. Как рассказывает мать, эти посещения длились на протяжении нескольких ночей, пока знахарка не прогнала «видение», «выкосив» всю избу железной косой.

Vot panemmo tilah, yhten yön magou, tostu jo ei magoa. Huppeäy, gu oli pagizii tyttö: «Avoi–voi, mama, harmai käzi tulou! Harmai käzi tulou!» Вот уложим спать, одну ночь спит, вторую уже не спит. Вскочит, она ведь уже говорила: «Ой-ой-ой, мама, серая кошка идет! Серая кошка идет!» (ФА: 3026 / 3).

Появление образов животных, связанных с культом Велеса (собака, кошка, овца, баран, куры), в мифологических представлениях, детских заговорах и колыбельных песнях является неслучайным. Они

соотносятся по принципу хтоничности с народно-христианскими, языческими и демонологическими персонажами. Часто животные выполняют функции женских божеств и олицетворяют ряд понятий, соотносящихся с женской сферой: плодovitость, связь с браком и рукоделием, ведовство [2: 147].

При этом важно, что домашние животные, в отличие от диких, являясь помощниками человека и в жизни, и в мифологии, не наделяются негативными характеристиками.

Сама ночная плачея связана со многими стихиями, поэтому она, как считали карелы, могла приходить и от ветра, и от воды, и от леса (ФА: 3378 / 6). Именно этим объясняется появление множества пространственно-временных запретов на то время, пока в избе был малыш. Нельзя было после захода солнца приносить в избу дрова и воду, выливать помой, топить печь, открывать двери и окна. В колыбель, когда из нее брали ребенка, клали голик; пустую колыбель не качали; запрещалось оставлять младенца одного в избе.

Одной из главных причин соблюдения всех этих табу были опасения, что нечистая сила может подменить ребенка. А одним из признаков «обмыва» был как раз несмолкаемый плач малыша.

В некоторых текстах прослеживается связь ночной плачеи со стихией воды. Это подтверждает и игра в ночную бабушку *yöroaroi*, во время которой проигравший ребенок стучит вальком для полоскания белья. И снадобье, приготовленное знахаркой для лечения заболевшей и постоянно плачущей девочки, северные карелы относили для *yönitkettäjä* в озеро¹³. Из этого можно сделать вывод, что, согласно верованиям, она жила в водоеме. Вероятно, именно с этим связан строжайший запрет приносить в избу воду после захода солнца или даже после шести часов вечера: вместе с водой можно прихватить и ночную плачею. При этом следует подчеркнуть, что, согласно карельским верованиям, любой недуг, в том числе *yönitkettäi*, мог *tarttuu* пристать к человеку от всех природных стихий: огня, ветра, земли, воды. Но информанты подчеркивают:

А водная ночная плачея самая плохая для ребенка. Если другая ночная плачея придет, она легче. А если от воды придет, она хуже! (ФА: 3378 / 6).

На севере Карелии ночную плачею иногда ассоциировали с домашними духами, с домовым. Именно поэтому предметы, служащие для отвлечения ее внимания (миниатюрные орудия труда, рукодельную куколку) или мешающие ей проникнуть в дом (топор, ножницы – железные, острые), клали в те места, которые, согласно верованиям, являлись основными локусами обитания домашних духов. Это могли быть подпол, порог, печь.

Lastu rupieu liikuttamah, znaačit domovoi, yönitettäjä. A siitä loajitah kukla ja karsinah. I vielä: jos ei panna kukloa, kirvehen kun panet kynnyksen alla, na vostrijuu ulospäi – ei tule siitä yönitettäjä. Eli keriččemet oven peällä fikneš – i ei tule. Siitä se varajau. Ребенка будет тревожить, значит, домовой, ночная плачея. Вот тогда делают куклу, и – в подпол. И еще: если не кладут куклу, то когда топор положишь под порог, острием наружу, тогда не придет ночная плачея. Или ножницы для стрижки овец над дверью воткнешь – и не придет. Этого она боится (ФА: 3060 / 12).

В других нарративах образ ночной плачеи соотносится с лесными духами. В таких быличках она может приобретать орнитоморфный облик. Интересный текст был записан в 1966 году в д. Рубчейла от шестидесятипятилетней женщины. Она говорила, что «ночная плачея такая, как сорока», а в ритуале изгнания называла этого духа «Харши-Парши» (ФА: 711 / 5). Именно так карельские знахари обращались к хозяину леса, когда вызывали его на разговор, чтобы договориться о возврате потерявшихся в лесу скотины или ошей, а также во время лечебных обрядов. В Каави, если к младенцу «приставала» ночная плачея, которую называли *valvottaja*, его с целью исцеления приносили на главную лесную дорогу и взвешивали на ольховом безмене, магическом предмете карельских знахарей [23: 2247].

Иногда в заговорах или мифологических рассказах при описании *yönitkettäi* возникают

солярные мотивы. Но у карелов они встречаются реже, чем у славянских народов. Ночная плачя может быть связана и с зарей (ФА: 2019 / 11–12), и с луной [24: 203]. Здесь, вероятнее всего, можно говорить о русском влиянии, так как солярные мотивы часто встречаются именно в русских заговорах, записанных на территории Карелии, и шире – в славянских. А заклинания карелов с солярными образами встречаются именно на территории Медвежьегогорского района, где контакты и взаимовлияние двух народов на разных уровнях были достаточно сильны уже в XIX веке, а также у тверских карелов. В таких текстах ночную плачю карелы называют русским заимствованием от слова «заря, зорька»: *zor'anikka*. Согласно второму наименованию *borovikka*, она приходит из места обитания нечистых духов, из леса, лесного бора. Вот как описывается один из ритуалов исцеления ребенка и изгнания *yönitkettäi*:

Zor'anikka-večor'noi zor'a konza tulou lapsee, ildazor'a, no ildarusko hot': «Zor'anikka-borovikka, otoidi oigiesta blad- enčast pois, elä kosse oigiede bladēču!» Veičellä kierät lapses- ta ymbäri... A veičen sih panet lapsen sijazen alla libo pieluksih. Зоряника-вечерняя зоря когда приходит в ребенка, вечер- ная зоря, ну, хоть вечернее зарево: «Зоряника-боровикка, отойди от невинного младенца прочь, не трогай невинного младенца!» Ножом круг обведешь вокруг ребенка. ... А нож положишь под постельку или под подушку (НА: 8 / 774).

Образ ночной плачеи, безусловно, практиче- ски всегда связан с миром детства. Она чаще все- го приходит к младенцам и лишает сна именно их. В редких случаях это могут быть дети трех- четырех лет (ФА: 3026 / 3), а иногда и школьного

возраста (ФА: 3367 / 17). Но между тем удалось обнаружить несколько нарративов, в которых *yönitkettäi* соотносят и с миром взрослых, чаще всего мужчин. Все они записаны у ливвиков. В Сямозере старик рассказывал:

Päčil ku magain, sid bokan kobristi, ylen oldih kynnet ko- vat, yönitkettäi se on olluh Когда на печке спал, за бок ущип- нула, очень были твердые ногти, это ночная плачя была¹⁴.

Примечательно, что в связи с верованиями о ночной плачье в текстах возникает локус печи, на котором в реальной жизни чаще всего спали дети и старики, а в колыбельных песнях там мог обитать и *Uniukko* Дед сна. В том же Сямозере в шутку гово- рили о загулявших мужчинах: «Теперь в мужиках ночная плачя, всю эту ночь в карты играют, вино пьют»¹⁵. В мире взрослых она ассоциируется тоже со злыми ночными духами, лишаящими мужчин покоя и сна и принуждающими их заниматься раз- личными непотребными делами.

Таким образом, в результате изучения риту- ально-магической практики карелов и разножан- ровых фольклорных текстов удалось воссоздать образ ночной плачеи. Это не только аморфный персонаж. В нем ярко проявляются антропо- и зооморфные черты и даже солярные мотивы. Прослеживается ее связь с водной и лесной сти- хиями и домашними духами-хозяевами, а также с миром взрослых. Карелы наделяли эту мифо- логическую фигуру деталями, чаще всего свой- ственными образу человека, при этом четко видя в ней злого духа, прикинувшего к ребенку (или в ребенка) из иного, параллельного, мира.

* Статья подготовлена в рамках государственного задания КарНЦ РАН.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ SKVR = Suomen Kansan vanhat runot (Старые руны финского народа). Это многотомное издание, в котором традиционно ссылаются не на страницы, а на номера текстов.
- ² Лесков Н. Отчет о поездке к Олонекским карелам летом 1893 г. // Живая старина. Вып. 1. СПб., 1894. С. 19–36.
- ³ Karjalan kielen sanakirja. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 2005. О. 6. 760 s.
- ⁴ Словарь карельского языка. Тверские говоры / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск: Карелия, 1994. С. 351.
- ⁵ Словарь карельского языка. Ливвиковский диалект / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск: Карелия, 1990. С. 451.
- ⁶ Словарь собственно-карельских говоров Карелии / Сост. В. П. Федотова, Т. П. Бойко. Петрозаводск: Из-во КарНЦ РАН, 2009. С. 347.
- ⁷ SKVR = Suomen Kansan vanhat runot (Старые руны финского народа).
- ⁸ Словарь собственно-карельских говоров Карелии / Сост. В. П. Федотова, Т. П. Бойко. Петрозаводск: Из-во КарНЦ РАН, 2009. С. 100.
- ⁹ Karjalan kielen sanakirja. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 2005. О. 6. S. 761.
- ¹⁰ ФА = Фонограммархив Института языка, литературы и истории. В данном случае в ссылке указывается номер аудиокас- сеты / номер единицы хранения на ней.
- ¹¹ НА = Научный архив Карельского научного центра РАН. В данной статье используются архивные материалы из фонда 1, опись 2. Ссылка дается на номер архивной коллекции / номер единицы хранения в ней.
- ¹² Karjalan kielen sanakirja. Osa 6. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 2005. S. 760.
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ Там же. S. 761.
- ¹⁵ Там же.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агапкина Т. А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюжеты и образ мира. М.: Индрик, 2010. 824 с.
2. Архипова Н. Г., Куроедова М. А. Наименования животных в детских заговорах // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. № 76. С. 143–147.
3. Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М.: Индрик, 2000. 431 с.
4. Винокурова И. Ю. Мифология вепсов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. 522 с.
5. Курец Т. С. Русские заговоры Карелии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 275 с.
6. Лавонен Н. А. Стол в верованиях карелов. Петрозаводск: Периодика, 2000. 176 с.
7. Левкиевская Е. Е. Славянский оберег: Семантика и структура. М.: Индрик, 2002. 336 с.
8. Логинов К. К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1993. 228 с.
9. Пашкова Т. В. Болезнь «ночница» в представлениях карелов // «Свое» и «чужое» в культуре народов Европейско- го Севера. Петрозаводск, 2011. С. 51–54.

10. Суевверия и предрассудки крестьян воронежской губернии: Хрестоматия / Сост., вступ. ст. и примеч. Г. Н. Мокшина. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2013. 272 с.
11. Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л.: Наука, 1985. 172 с.
12. Топорков А. Л. Заговоры в русской рукописной традиции XV–XIX вв. История, символика, поэзия. М.: Индрик, 2005. 478 с.
13. Устная поэзия тунгудских карел / Сост. А. С. Степанова. Петрозаводск: Периодика, 2000. 383 с.
14. Фишман О. М. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. М.: Индрик, 2003. 408 с.
15. Фишман О. М. Знающая – больная: из опыта полевой автобиографии // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири: Сб статей памяти Ю. Ю. Сурхаско. Гуманитарные исследования. Вып. 2. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. С. 135–172.
16. Kaukonen T. I. Lapsuus ja nuoruus Keski-Inkerin savakkokylässä // Inkerin teitä. KSV 69-70. Toim. P. Laaksonen ja S.-L. Mettomäki. Helsinki: SKS, 1990. S. 180–192.
17. Norvik P. Djoržan karjalaisten Kansanlääkinnästä // Kansa parantaa. KSV 63. Toim. P. Laaksonen ja U. Piela. Helsinki: SKS, 1983. S. 226–232.
18. Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema. Jyväskylä, 1995. 248 s.
19. Siikala A.-L. Myytinen ajattelu ja loitsujen variaatio // Runon ja rajan teillä. KSV 68. Toim. S. Knuuttila ja P. Laaksonen. Helsinki: SKS, 1989. S. 82–91.
20. Stark L. Peasants, Pilgrims, and Sacred Promises. Helsinki: Finnish Literature Society, 2016. 229 p.
21. Suomen Kansan vanhat runot. Vienan läänin runot. Loitsut / Julk. A. R. Niemi. Helsinki: SKS, 1919. Osa I, 4. 416 s.
22. Suomen Kansan vanhat runot. Raja- ja Pohjois-Karjalan runot. Loitsut / Julk. K. Krohn, V. Alava. Helsinki: SKS, 1933. Osa VII, 4. 609 s.
23. Virtaranta P. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo; Helsinki: WSOY, 1961. 249 s.
24. Virtaranta P. Vienan kansa muistelee. Porvoo; Helsinki, 1958. 804 s.

Ivanova L. I., Institute of Linguistics, Literature and History of the Karelian Research Centre,
Russian Academy of Sciences (Petrozavodsk, Russian Federation)

THE FIGURE OF *YÖNITKETTÄI*, THE NIGHT WEEPER, IN KARELIAN MYTHOLOGY

The article is based on the folk and ethnographic materials deposited in the archives of Karelia and Finland. For the first time in the national folkloristics the image of *yönitkettäi*, the night weeper, is analyzed through the prism of the texts of mythological prose and magic spells, as well as beliefs and rituals. Firstly, the semantic interpretation and correct translation of the name, which has two meanings of the childhood disease and of the mythological figure, into Russian was the main purpose of the textological and comparative typological analysis. Secondly, the figurative system and visual parameters, which are common to the spirit of night insomnia, were examined. As a result, it can be concluded that *yönitkettäi* is not a single spirit. Its age varies and it can develop and improve its skills. The spirit is connected not only with the world of the children, but also with the world of adults. This character is most often described as an amorphous creature, although sometimes its descriptions bear anthropo-, zoo- and ornithomorphic characteristics. Some solar motives can also be observed in its characteristics. The character's connection with the elements of water, wild forests and domestic spirits is also identified.

Key words: the Karelians, mythology, magic spell, ritual, night, disease, children, crying

* The paper was written within the state assignment of the KRC of the RAS.

REFERENCES

1. Agapkina T. A. East-Slavic medical charms in the comparative light. Plots and images of the world. Moscow, 2010. 824 p. (In Russ.)
2. Arhipova N. G., Kuroedova M. A. Names of animals in children's plots. *Vestnik Amurskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki*. 2017. No 76. P. 143–147. (In Russ.)
3. Vinogradova L. N. Folk demonology and mytho-ritual tradition of Slavs. Moscow, 2000. 431 p. (In Russ.)
4. Vinokurova I. Yu. The mythology of the Veps. Petrozavodsk, 2015. 522 p. (In Russ.)
5. Kurets T. S. Russian plot of Karelia. Petrozavodsk, 2000. 275 p. (In Russ.)
6. Lavonen N. A. The table in the beliefs of Karelians. Petrozavodsk, 2000. 176 p. (In Russ.)
7. Levkieskaya E. E. Slavic amulet: Semantics and structure. Moscow, 2002. 336 p. (In Russ.)
8. Loginov K. K. Family rituals and beliefs of the Russians of Zaonezhie. Petrozavodsk, 1993. 228 p. (In Russ.)
9. Pashkova T. V. Disease "bat" in the views of Karelia. "Svoe" i "chuzhoe" v kul'ture narodov Evropeyskogo Severa. Petrozavodsk, 2011. P. 51–54. (In Russ.)
10. Superstitions and prejudices of peasants from Voronezh province. Sost., vступ. st. i prim. G. N. Mokshina. Voronezh, 2013. 272 p. (In Russ.)
11. Surhasko Yu. Yu. Family rituals and beliefs of Karelians. Leningrad, 1985. 172 p. (In Russ.)
12. Toporkov A. L. Charms in the Russian manuscript tradition of the XV–XIX centuries. The History, symbolism, poetry. Moscow, 2005. 478 p. (In Russ.)
13. Spoken word poetry of Tunguda Karelians. Sost. A. S. Stepanova. Petrozavodsk, 2000. 383 p. (In Russ.)
14. Fishman O. M. The life of faith: the Tikhvin Karelian-believers. Moscow, 2003. 408 p. (In Russ.)
15. Fishman O. M. Knowing – sick: the experience in the field of autobiography. *Problemy dukhovnoy kul'tury narodov Evropeyskogo Severa i Sibiri: Sb statey pamyati Yu. Yu. Surkhasko. Gumanitarnye issledovaniya. Vyp. 2*. Petrozavodsk, 2009. P. 135–172. (In Russ.)
16. Kaukonen T. I. Lapsuus ja nuoruus Keski-Inkerin savakkokylässä. *Inkerin teitä*. KSV 69-70. Toim. P. Laaksonen ja S.-L. Mettomäki. Helsinki: SKS, 1990. S. 180–192.
17. Norvik P. Djoržan karjalaisten Kansanlääkinnästä. *Kansa parantaa*. KSV 63. Toim. P. Laaksonen ja U. Piela. Helsinki: SKS, 1983. S. 226–232.
18. Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema. Jyväskylä, 1995. 248 s.
19. Siikala A.-L. Myytinen ajattelu ja loitsujen variaatio. *Runon ja rajan teillä*. KSV 68. Toim. S. Knuuttila ja P. Laaksonen. Helsinki: SKS, 1989. S. 82–91.
20. Stark L. Peasants, Pilgrims, and Sacred Promises. Helsinki: Finnish Literature Society, 2016. 229 p.
21. Suomen Kansan vanhat runot. Vienan läänin runot. Loitsut / Julk. A. R. Niemi. Helsinki: SKS, 1919. Osa I, 4. 416 s.
22. Suomen Kansan vanhat runot. Raja- ja Pohjois-Karjalan runot. Loitsut / Julk. K. Krohn, V. Alava. Helsinki: SKS, 1933. Osa VII, 4. 609 s.
23. Virtaranta P. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo; Helsinki: WSOY, 1961. 249 s.
24. Virtaranta P. Vienan kansa muistelee. Porvoo; Helsinki, 1958. 804 s.

Поступила в редакцию 31.01.2018

ИРИНА СЕРГЕЕВНА МАТАШИНА

аспирант, Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» (Петрозаводск, Российская Федерация) irinadesh@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ХЕЛЬСИНКИ В РОМАНЕ ЧЕЛЯ ВЕСТЁ «МИРАЖ 38»

Выявляются особенности изображения Хельсинки на материале романа Чель Вестё «Мираж 38», ранее не исследованного отечественными литературоведами. Особенно интересны писателю переломные моменты, имеющие значение для Финляндии в целом. Исторические реалии в романе «Мираж 38» сочетаются с описанием атмосферы предвоенного времени. В статье устанавливается, что образ Хельсинки у Ч. Вестё строится на оппозициях «своих» и «чужих», которые актуализируются на нескольких повествовательных уровнях. Они представлены идеологическими разногласиями, воплощающимися в полифонизме голосов действующих лиц, описанием языкового барьера между шведским и финским населением страны. Языковой барьер выражается и в использовании иноязычной лексики, что не только разделяет самих героев, но и создает дистанцию между ними и читателем. Также писатель проводит параллель между событиями 1938 года и временем гражданской войны, когда финское общество разделилось на два лагеря. Образ главного героя становится связующим звеном, соединяющим ставших «чужими» граждан одной страны.

Ключевые слова: шведская литература Финляндии, XX век, Финляндия, роман, Чель Вестё, оппозиция «свой – чужой»

Чель Вестё (Kjell Westö, род. в 1961 году) – современный писатель из Финляндии, создающий свои произведения на шведском языке. Он дебютировал со сборником стихотворений «Оранжевое танго» (Tango Orange) в 1986 году и стал известен благодаря рассказам и урбанистическим романам, повествующим о Хельсинки (первый роман – «Воздушные змеи над Гельсингфорсом», 1996 год). Особый интерес для писателя представляют переломные моменты в истории столицы, которые по значимости не ограничиваются пределами города, а имеют значение для всей Финляндии: периоды экономического расцвета и упадка, гражданская война и мировые войны, разрастание Хельсинки за счет пригородов и т. д. Специфика романов Ч. Вестё состоит в том, что эти события показаны с позиции шведского населения страны, языкового меньшинства, которое в истории Финляндии играет важную роль и даже сегодня занимает особую позицию в финском социуме.

Творчество Ч. Вестё представляет значительный интерес для ученых, которые не только отмечают значимость созданных им произведений в истории литературы Финляндии (М. Экман, М. Чиараволо, М. Маццарелла), но и погружаются в отдельные аспекты его творчества. Функции иноязычных вкраплений, многоязычие романов Ч. Вестё стали объектом исследований Б. Хаагенсен, Ю. Тидигс, К. Векстрём. Романы писателя послужили основой для изучения проявления национальной идентичности в литерату-

ре (А. Нильссон, Б. Рённхольм) и роли Ч. Вестё в формировании образа Хельсинки (Г. Ботта). В данной статье мы попытаемся выявить особенности авторского стиля Ч. Вестё, проявляющиеся в изображении Гельсингфорса-Хельсинки и страны в целом, на материале одного из новых романов – «Мираж 38» (Hägring 38), вышедшего в свет в 2013 году.

В своих произведениях Ч. Вестё описывал столицу Финляндии разных исторических периодов: от начала XIX века до 70–80-х годов XX века, там же, как правило, и разворачивается действие романов. Изображая жизнь Гельсингфорса-Хельсинки, Ч. Вестё мало говорит об актуальных событиях провинции (в отличие от таких писателей, как Герда Гранхольм, Кристина Коркман, Альф Снелльман и др.), но через описание жизненного пути своих персонажей составляет полную картину общественной жизни.

Для исторических романов одной из важных составляющих является достоверное сочетание известных фактов с художественным вымыслом. Стремление Ч. Вестё передать дух времени реализуется, с одной стороны, в активном использовании исторических реалий, с другой – во внимании к настроениям и идеям, актуальным в обществе того или иного периода. Во всех своих романах автор вводит в повествование подробности, знакомые широкому кругу финских читателей: названия улиц, ресторанов, фильмов и пр., описывает известные события (например, в романе «Мираж 38» – присуждение четвертого

места финскому бегуну еврейского происхождения, который в забеге пришел первым¹), использует текст реально существующих документов (текст бюллетеня Австрийского референдума по аншлюсу).

Действие романа «Мираж 38» происходит в 1938 году, а «для многих литераторов это было время мрачной реакции и подавленного состояния» [4: 168]. Исторический фон произведения – время витающих в воздухе радикальных националистических взглядов: в тексте упоминается «Великая Финляндия, простирающаяся за Урал» (18)², о ней говорили коллеги главного героя произведения, «когда изрядно напивались за ужином после собраний Финской Ассоциации адвокатов» (18). В отличие от них адвокат Клас Туне не разделяет подобных взглядов на мир, не следует за популярной идеологией и не делит людей по национальному признаку. Он ставит себя в позицию наблюдателя:

...сейчас требуется безусловная любовь к некой непостижимой родине, которая наделяется женскими чертами, любовь такая же слепая и безусловная, как любовь крота к своей норе (80).

Внимание к мелочам в совокупности с воспроизведением общей атмосферы, царившей в обществе в определенный период, придает действиям вымышленных персонажей большую правдивость. Это отмечает исследователь М. Экман:

Ностальгия и полный меланхолии взгляд в прошлое – такие же постоянные характеристики Вестё, как историческая точность, чуткость к мелодиям, реалиям и социальному духу времени [5: 299].

Романы Ч. Вестё полифоничны, в них представлены разные точки зрения на происходящие события, воплощенные в образах главных и второстепенных героев произведений. Писатель смешивает исторический подход к изображению событий и современные литературные течения, что отмечают современные исследователи:

Во многих случаях автор представляет разные версии истории, известные персоны выступают в неожиданных ролях, что умножает наше представление о прошлом и будущем [8: 97].

Каждый из действующих лиц романа «Мираж 38», погруженных в созданную писателем атмосферу предвоенного времени, делится с читателем своим мироощущением: Клас Туне, бывший дипломатический представитель Финляндии, не разделяет радости по поводу экономических и политических успехов Германии; его секретарь, Матильда Виик, которая побывала в лагере для военнопленных во время гражданской войны, боится повторения страшных для нее событий; актер Йоаким Яри остро переживает притеснение евреев; друзья Туне, воплощающие собирательный образ влиятельных шведоязычных жителей Гельсингфорса, относятся к новой идеологии нейтрально или положительно, про-

считывая экономическую выгоду; родственники и знакомые Матильды Виик из рабочих кварталов города высказывают разные точки зрения: от незаинтересованности политикой до резкой критики пропаганды, «пускающей людям пыль в глаза» (167).

Герои романа «Мираж 38» противопоставлены друг другу по своему отношению к идеологии нацизма и потребности делить человечество на «своих» и «чужих». Специфика произведения состоит в том, что в нем прослеживается еще одна оппозиция, актуальная для Финляндии. На примере одного города Ч. Вестё показывает существовавшее в 1930-е годы разделение финляндского общества на две группы по языковому признаку. Шведское и финское население Гельсингфорса разнится по социальному положению и имеет мало точек соприкосновения. Вследствие этого в сознании действующих лиц произведения формируется особое пространство, «город внутри города».

Матильда Виик размышляет о том, каким ей видится Гельсингфорс:

Матильда была частью этого большого, шумного города. В ее городе люди были друг другу чужаками. В нем Некто сдвигался в сторону, чтобы Никто не смог занять в трамвае соседнее место.

Но она также знала, что есть и другой город, совсем маленький, только для посвященных. <...> В этом городе все еще безраздельно царствовал шведский язык, на котором говорили дома и на работе, люди все знали друг о друге, и это любопытство было и преимуществом, и обузой (154).

Однако не всегда принадлежность к «элитной» шведской части города воспринимается героями положительно:

Он <Туне> хотел сбежать из этого паноптикума, клаустрофобически тесного Гельсингфорса (39).

В сознании Класа Туне, Матильды Виик и других героев романа существует очевидная граница между Хельсинки, в котором живут финские рабочие, и шведским Гельсингфорсом, городом влиятельных и состоятельных граждан. Туне единственный из круга своих друзей пересекает условную границу между этими пространствами – мост Питкасилта (Långa bron / Pitkäsilta) и с удивлением погружается в финскую среду, в которой не бывал уже давно. Ч. Вестё сталкивает две картины родного города в сознании своего героя, и Туне понимает, что его представления о рабочем Хельсинки были совершенно неверны и базировались на отрывочной информации и появившихся за время жизни страхах:

Теперь Туне, поймав себя на мысли, что по дороге в центр удивляется не только тому, что у Фрёкен Оландер симпатичная съемная квартира, но и радости жизни, которая лилась из окон высоких домов вдоль Линий, мирному благодушию на улицах. Он понял, что превратился во мнительного обывателя, стал одним из тех полных предубеждений людей, которых так презирал в молодости (166).

Разрыв между двумя группами населения подчеркивается и на лексическом уровне текста: важной характеристикой героев Ч. Вестё является использование ими иноязычной лексики. По мнению Б. Хаагенсен, разнообразие иноязычных вкраплений подчеркивает разницу между шведоязычной элитой Гельсингфорса и остальным населением. По мнению исследовательницы, таким образом создается образ «микро-Хельсинки», узкого круга, где все друг друга знают и не желают сливаться с финноязычным населением. Специфика речи героев романа направлена также на «исключение» читателя из описываемой среды, подчеркивает дистанцию, существующую между современным человеком и ушедшей эпохой [7: 87].

Как уже было указано выше, начало XX века стало временем усиления национальных настроений в финском обществе. Класа Туне отличает от его друзей открытость общечеловеческим ценностям. Поэтому особенно актуальна для понимания внутреннего мира персонажа проблема соотношения финского и шведского элементов в его самосознании. Разрешение она получает во время разговора Туне с музыкантом Конни Альбеком на палубе корабля во время путешествия из Хельсинки в Стокгольм:

– Приветствую, господин. Вы финн или швед?
<...>

– Финн, но шведской породы, – произнес Туне по-фински. – Вице-судья Клас Туне, – вежливо добавил он и протянул руку.

– Конни Альбек, кларнетист и трубач, – ответил мужчина по-шведски (43).

Несмотря на близость ему общечеловеческих ценностей и опыт жизни в разных странах, Туне осознает себя частью единой финской нации, хоть и выделяет финляндских шведов в отдельную группу.

Таким образом, в изображении финского общества Ч. Вестё уделяет большое внимание языковому и социальному барьеру, который отделяет обладающую властью и деньгами шведскую элиту от остального города. Замкнутость обеих групп порождает предрассудки и взаимную неприязнь:

...финноманы считали их <шведское население> потенциально опасными, отчасти «пятой колонной», стремившейся объединиться со Швецией [9: 98].

Надежда на ее исчезновение появляется, когда главный герой, преодолев надуманные опасения, пересекает эту невидимую границу.

Описание истории Гельсингфорса-Хельсинки и двух групп его жителей в совокупности с расцветом нацизма, разделяющим людей по национальной принадлежности, формирует у читателя ощущение переломного момента, нестабильности ситуации, в которой жили люди того времени. Однако современность не существует в отрыве от истории страны, и на уже описанные особенности накладывается еще одно важное обстоятельство: отголоски гражданской войны в Финляндии. Воспоминания о трагических

событиях, расколовших в свое время финское общество на два враждующих лагеря, в романе «Мираж 38» воплощаются в образе Матильды Виик, которая, побывав во время белого террора в лагере военнопленных, уже долгое время не может избавиться от своих воспоминаний. В настоящем, в 1938 году, ей важно знать прошлое окружающих ее людей:

...тогда царили хаос, нужда и страх, люди совершали такие поступки, о которых потом пришлось умалчивать (9).

Таким образом, вопрос о национальной идее, заложенный в языковом и социальном противостоянии, актуальном для 1938 года, обретает более глубокое историческое звучание. Военные события оставляют неизгладимый след в памяти людей. Важно отметить, что роман Ч. Вестё в своей трактовке событий гражданской войны значительно отличается от тех точек зрения, что предлагали современники. В романе Ф. Э. Силланпяя «Праведная бедность» и новеллах Р. Шильдта представлены полярные точки зрения на происходившие события. Безусловное оправдание одной из участвующих сторон и порицание другой через несколько десятков лет стали неактуальными. Писатели переосмысливают последствия «красного» и «белого» террора и впервые за долгое время пытаются показать читателям, что и в одном, и в другом случае сторонники и красных, и белых жемали своей стране лучшего, но тем не менее одинаково страдали от последствий военных действий. Этими настроениями проникнута трилогия В. Линна «Здесь под северной звездой», которая, по словам Я. В. Новиковой, стала «поводом для переоценки событий Зимней войны и войны-продолжения в масштабах всей страны» [2: 50], а также некоторые романы Ч. Вестё, в том числе и «Мираж 38». Тем самым в литературе начинает воплощаться стремление нации к единению, к диалогу как к «особой стратегии действий и даже особой форме рациональности» [3: 147].

Роман «Мираж 38» остается в русле тенденций, характерных для творчества Ч. Вестё в целом. В данном произведении изображена оппозиция «своих» и «чужих» в пределах одной страны. Отголоски гражданской войны еще не сгладились в повседневной жизни и не дают возможности финской нации стать единым целым. Кроме того, даже в современном (для времени повествования) Хельсинки еще велика дистанция между носителями финского и шведского языков. Шведоязычное меньшинство образует замкнутый, закрытый круг, «свой» Хельсинки. При этом сложившаяся языковая ситуация стабильна, поскольку поддерживается законодательно (см. [1: 23]). В третьих, в романе «Мираж 38» мы становимся свидетелями возникновения нового противопоставления «своих» и «чужих». Идеология нацизма призывает к разделению людей по национальному признаку, и в этом вопросе на момент происходящих событий точка еще не поставлена. Каждый из героев решает самостоятельно, к какому из мнений

прислушиваться. В образе главного героя, Класа Туне, предвосхищается преодоление «языкового барьера», ведь после Второй мировой войны в Финляндии «возникла новая национальная идентичность, не зависящая от родного языка» [6: 117].

В своей урбанистической прозе писатель поднимает вопрос о сосуществовании разных групп людей в пределах одного города, одной страны, о мироощущении финляндских шведов

как особой части финского общества. Оппозиция «финского» и «шведского» выявляется и на материале других произведений Ч. Вестё: «Там, где мы бродили однажды» (*Där vi en gång gått*), «Воздушные змеи над Гельсингфорсом» (*Drakarna över Helsingfors*) и др. В творчестве Ч. Вестё шведоязычный Гельсингфорс становится особым пространством, отделенным от финского Хельсинки.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Имеется в виду Авраам Токайзер, который в романе «Мираж 38» представлен как Саломон Яри, племянник одного из персонажей.
- ² Здесь и далее текст романа «Мираж 38» («*Hägring 38*») Челя Вестё цит. по Westö K. *Hägring 38*. Stockholm: Bonnier, 2013. 299 p. В круглых скобках указывается страница.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Картушина Е. А. Три этапа формирования современной языковой ситуации в Финляндии // Ежегодник финно-угорских исследований. 2015. № 3. С. 19–36
2. Новикова Я. В. Формирование реалистической традиции изображения войны в финской прозе XX века // Уралистика: Материалы 45 Международной филологической конференции / Под ред. Н. Н. Колпаковой. СПб., 2016. С. 49–56.
3. Соболева М. Е. О возможности диалога между культурами // Вопросы философии. 2009. № 3. С. 147–157.
4. Сойни Е. Г. Солоневич и Север. Финляндская проблематика в литературном наследии Солоневичей и важнейшие черты публицистики Финляндии 1930-х годов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. 244 с.
5. *Finlands svenska litteratur 1900–2012* / Red. M. Ekman. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2014. 376 p.
6. Gunnesson A. - M. Mötesplats eller kulturell järnridå? Finlandssvenska författare och franskspråkiga flamländska författare vid språkgränsen // Gränser: populärvetenskapliga föredrag om humanistisk forskning. Humanistdag-boken 16. Kungälv: Göteborgs universitet, 2003. P. 111–118. Available at: <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/10617> (accessed 24.10.2017).
7. Haagensen B. Två tider – två miljöer – två romaner. Språkväxling i Kjell Westös Helsingforsskildringar // Språkmöten i skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet / Red. S. Björklund, H. Lönnroth. Vasa: Vasa universitet, 2016. № 6. P. 75–90.
8. Hatavara M. History After or Against the Fact? Finnish Postmodern Historical Fiction // Nodes of Contemporary Finnish Literature / Red. L. Kirstinä. Helsinki: Finnish Literature Society, 2012. P. 96–111.
9. Spjut L. Den envise bonden och Nordens Fransmän: Svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866–1939. Umeå: Umeå universitet, 2014. 165 p. Available at: <http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:716651/FULLTEXT01.pdf> (accessed 24.10.2017).

Matashina I. S., Institute of Linguistics, Literature and History of the Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences (Petrozavodsk, Russian Federation)

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE IMAGE OF FINLAND IN KJELL WESTÖ'S NOVEL "MIRAGE 38"

The purpose of the article is to reveal characteristic features of the image of Finland on the material of the Kjell Westö's novel "Mirage 38", which was not previously studied by Russian literature scholars. The writer is especially interested in the turning points significant for the whole Finland. The historical realities in the novel "Mirage 38" are combined with the description of the atmosphere of the prewar period. It was established that Westö's image of Finland is based on the contraposition of the "our" and "others", actualized at several narrative levels. They are represented by the ideological differences, embodied in the polyphony of the voices of active participants, and by the description of the language barrier between the Swedish and Finnish population of the country. The language barrier is expressed in the use of foreign words, which divides the main characters and creates some distance between them and the readers. The writer also draws a parallel between the events of the 1938th and the time of the civil war, when the Finnish society was divided into two groups. The image of the protagonist turns into a connecting link between alienated citizens of the same country.

Key words: Swedish literature of Finland, XXth century, Finland, novels, Kjell Westö

REFERENCES

1. Kartushina E. A. Three periods of the language situation development in Finland. *Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniy*. 2015. No 3. P. 19–36. (In Russ.)
2. Novikova Ya. V. Realistic traditions of the war depicted in the Finnish prose of the XX century. *Uralistika: 45 International Philological Research Conference*. St. Petersburg, 2016. P. 49–56. (In Russ.)
3. Soboleva M. E. On the possibility of the dialogue between cultures. *Voprosy filosofii*. 2009. No 3. P. 147–157. (In Russ.)
4. Soini E. G. The Soloneviches and the North. Finland in the literary heritage of the Soloneviches and the major features of publicism in Finland of 1930s. Petrozavodsk, Karel'skiy nauchnyy tsentr RAN Publ., 2010. 244 p. (In Russ.)
5. *Finlands svenska litteratur 1900–2012* / Red. M. Ekman. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2014. 376 p.
6. Gunnesson A. - M. Mötesplats eller kulturell järnridå? Finlandssvenska författare och franskspråkiga flamländska författare vid språkgränsen. *Gränser: populärvetenskapliga föredrag om humanistisk forskning. Humanistdag-boken 16*. Kungälv: Göteborgs universitet, 2003. P. 111–118. Available at: <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/10617> (accessed 24.10.2017).
7. Haagensen B. Två tider – två miljöer – två romaner. Språkväxling i Kjell Westös Helsingforsskildringar. *Språkmöten i skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet* / Red. S. Björklund, H. Lönnroth. Vasa, Vasa universitet, 2016. № 6. P. 75–90.
8. Hatavara M. History after or against the fact? Finnish Postmodern Historical Fiction. *Nodes of Contemporary Finnish Literature* / Red. L. Kirstinä. Helsinki, Finnish Literature Society, 2012. P. 96–111.
9. Spjut L. Den envise bonden och Nordens Fransmän: Svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866–1939. Umeå, Umeå universitet, 2014. 165 p. Available at: <http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:716651/FULLTEXT01.pdf> (accessed 24.10.2017).

Поступила в редакцию 27.10.2017

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ БОНДАРЬ

кандидат филологических наук, доцент кафедры делового иностранного языка филологического факультета, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
alstar@inbox.ru

ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИЙ ИСТОЧНИК СОВРЕМЕННОГО ПЕРФЕКТА: РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКИ КОНСТРУКЦИИ HABEN + ПРИЧАСТИЕ II

Целью статьи является синтактико-семантический анализ конструкции *haben* + причастие II на материале выборки из древневерхненемецких произведений. В исследовании применяется метод контекстуального анализа семантики глаголов, используемых в качестве второго причастия в конструкции, а также ее синтаксических особенностей. Новизна работы заключается в том, что детально показаны механизмы семантических сдвигов в рамках конструкции *haben* + причастие II, которая на протяжении всего периода обладала статально-результативной семантикой. Отталкиваясь от синтаксической модели сочетания посессивного глагола и флектированного причастия, анализируемая конструкция в ходе семантико-коллокационного расширения посессивного глагола и дальнейшего преобразования причастия по примеру предикативной формы прилагательного, а также конструкции *sin/wesan* + причастие II трансформируется в результатив второго типа с краткой формой причастия. В тексте Отфрида и в большей степени в произведениях Ноткера выделяется субъектный результатив. Основным выводом исследования, укладываемым в рамки теории грамматикализации, является тезис о том, что главным толчком к изменению конструкции выступали на разных ступенях ее развития семантические сдвиги в отношениях между компонентами внутри конструкции, что приводило к последующим синтактико-морфологическим трансформациям самой конструкции.

Ключевые слова: перфект, результатив, синтаксис, морфология, грамматическая семантика, грамматикализация, древневерхненемецкий

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Становление перфекта в немецком языке представляет интерес для исследователей, среди прочего, тем, что язык фиксирует все стадии его развития: от сочетания посессивного глагола и второго причастия со статально-результативной семантикой (результатив) к аналитической конструкции с темпорально-антериорной семантикой (перфект), а затем и к претеритной с последующим вытеснением в некоторых диалектах самого претерита. При этом остаются спорными вопросы относительно семантики конструкции на определенных этапах ее развития и механизмов, способствующих переходу морфологически и синтаксически практически идентичной конструкции к семантически совершенно разным ее реализациям.

В данной статье мы рассмотрим синтаксические и семантические характеристики конструкции *haben* + причастие II на примере материала, полученного методом сплошной выборки из следующих древневерхненемецких текстов: «Евангельская гармония» Татиана – IX век (между 825 и 850 годами, восточнофранкский диалект), «Книга Евангелий» Отфрида – IX век (между 863 и 871 годами, южно-рейнско-франкский диалект) и ряда произведений Ноткера (конец X века – начало XI века, алеманнский диалект).

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

В целом исследователи сводят семантику анализируемой конструкции к двум характеристикам: статально-результативная (результатив) и темпорально-антериорная (перфект). Так, М. М. Гухман и Н. Н. Семенюк полагают, что на ранних этапах развития конструкция *haben* + причастие II не была включена в общую временную систему и обладала особым статусом сочетания. В дальнейшем изменение конструкции связывается с увеличением частотности примеров с нефлектированными причастиями [4: 51–52]. Аналогичный ход мысли прослеживается и в работе Р. Риттенхауса [27: 99–100]. При этом в одной из статей М. М. Гухман отмечается, что поскольку

...нефлектированная форма могла стоять и в атрибутивном употреблении... отсутствие согласования причастия с дополнением отнюдь не свидетельствует о том, что это причастие оторвалось от дополнения и не осознается больше как определение к нему [5: 355].

Об изменениях может свидетельствовать, по мнению автора, только отсутствие дополнения в подобных сочетаниях [5: 355].

Анализируя вопрос семантики конструкции, С. Курода приходит к выводу, что *haben* + причастие II не обозначает предшествующее действие, но выражает состояние субъекта, которое

одномоментно времени, представленному временной морфемой (Tempusmorphem) вспомогательного глагола [20: 60–61].

С точки зрения О. А. Смирницкой, преобладание примеров без согласования у Отфрида в противовес примерам с прямым дополнением и согласуемой формой причастия в «Татиане» можно трактовать как тенденцию к «формальному отграничению предикативной связи от атрибутивной» [10: 46].

Изменения в семантике конструкции у Отфрида и Ноткера Ю. С. Маслов объясняет тем, что Отфрид ориентируется в значительной степени на классические латинские примеры, в которых конструкция обладает результативно-статальным характером, в то время как Ноткер отражает «народный» язык, где развитие семантики потеряло внутреннюю связь с исходным статально-результативным значением [7: 276–277].

Э. Оубоузар отмечает, что в конструкции haben + причастие II «обе части структуры уже слились в единое целое...» [25: 11–12], то есть она претерпела определенную степень грамматикализации. Но даже в произведениях Ноткера большинство примеров по-прежнему можно трактовать как композиционные [25: 12].

В противовес вышеперечисленным взглядам Б. Дринка полагает, что уже в «Татиане» представлен грамматикализированный перфект [16: 233]. Аналогичным образом рассматривается семантика конструкции в работе И. Даль, где утверждается, что у того же Отфрида она выражает не состояние, но относящееся к прошлому действие [14: 140]. О. Гренвик считает, что даже самые ранние примеры (Exhortatio, около 800 года – *eigut intfangan* – перевод латинского перфекта *accepistis*) следует рассматривать как перфект [17: 150].

Таким образом, как верно отмечает М. Гилманн, среди исследователей существует консенсус относительно того, что в конструкции явно выделяется результативный компонент. Но была ли это копулативная конструкция с результативной функцией (то есть результатив) или слабо грамматикализированный презентный перфект, остается спорным [17: 151]. Вызывают вопросы и пути ее становления. В общепринятом подходе [14: 139] за скобками остаются механизмы и причины семантических сдвигов.

Результатив и перфект

Различия между двумя формами были впервые всесторонне продемонстрированы на примере обширного типологического материала в работе «Типология результативных конструкций», где результатив рассматривается как форма, указывающая на состояние предмета, вызванного предшествующим действием; перфект обозначает действие, последствия которого прослеживаются или важны для настоящего момента [8: 7,

12], [9: 11–13]. Презентный перфект (в частности, в английском языке) имеет ряд значений, среди которых результативное, обозначающее «состояние в настоящем, которое является результатом прошедшего действия» [12: 56], что не тождественно результативу [9: 14]. Отличие результата от этого значения перфекта заключается в акцентировании состояния, а не действия, хотя формально провести данное отличие довольно сложно [13: 134–135].

Э. Даль утверждает, что семантически результатив отличается от перфекта присутствием результата в узком смысле, то есть соотношением результата действия с непосредственно связанными с ним участниками, в то время как семантика перфекта характеризуется более широким результатом и выходит за рамки непосредственных участников ситуации [13: 135]. Отсюда вытекает лексическая ограниченность результата: в отличие от перфекта он сочетается с ограниченным набором лексем, которые, как правило, означают ту или иную форму изменения или действий, имеющих *предельный* характер [9: 10].

В современном немецком языке анализ перфекта связан с решением ряда сложных задач: совмещение претеритальной и перфектной семантики, семантическая разложимость/неразложимость на компоненты, взаимодействие с темпоральными наречиями и т. п. [24] (о семантике немецкого перфекта по сравнению с другими языками, в частности английским, см. [19], [28]). Для современного немецкого языка возникает также проблема соотношения семантики перфекта с формами, которые являются его диахроническими предшественниками. Так, в английском языке широко представлено противопоставление перфекта и результата: *have done something* vs *have something done*. В немецком формально-синтаксическое противопоставление такого рода крайне ограничено: две формы могут иногда разграничиваться по незначительному ряду лексем или на просодическом уровне, когда результатив маркируется усилением ударения на причастии [7: 256]. Кроме того, в отличие от современного немецкого перфекта haben + причастие II в древневерхненемецком, как правило, не использовалось в прошедших контекстах [20: 61–63], [25: 14–18].

Учитывая все это, мы в фокус нашего анализа ставим сравнение результативной и перфектной семантики, наиболее выпукло представленной в английском языке, и не прибегаем при анализе к сравнению с семантикой современного немецкого перфекта.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

«Татиан» и Отфрид. Первый и второй этапы

В «Татиане» из шести примеров конструкции с посессивным глаголом пять представлены причастными формами, сочетающимися

с прямым дополнением: **habes managiu guot gisaztiu** – *много добра лежит* (досл. **имеет много добра установленного**) (Lk 12: 19), **thaz sie haben minan gifehon giuultan** – чтобы они **имели мою радость свершенную** (Jn 17: 13), **phigboun habeta sum giflanzotan** – некто **имел посаженную смоковницу** (Lk 13: 6), **thia ih habeta gihaltana** – *которую я хранил* (досл. **которую имел хранимой**) (Lk 19: 20), **habet sia forlegana** – **прелюбодействовал с нею** (Mt 5: 28). В одном случае второе причастие фиксируется в краткой форме [4: 225]: **fimui ubar thaz haben gistriunit** – *два таланта на них приобрел* (Mt 25: 22)¹. В четырех примерах древневерхненемецкий вариант является передачей аналогичной латинской конструкции: *habes multa bona posita, habeant gaudium meum impletum, arborem fici habebat quidam plantatam, quam habui repositam*. О том, что использование **haben** + причастие II не является калькированием оригинала и что к моменту перевода «Татиана» данная конструкция существовала в языке, говорит ее употребление в этом же тексте для передачи латинского пассивного перфекта: *lucratus sum* (приобретать), *mæchatus est* (прелюбодействовать).

В данных примерах **haben** полностью сохраняет лексическое значение обладания и, судя по контекстам, в большинстве случаев используется, когда речь идет о непосредственном владении (неотчуждаемом или отчуждаемом), тем самым создавая плотный синтактико-семантический комплекс с дополнением. Элементы в конструкции, однако, не настолько спаяны в семантическом смысле, чтобы составлять отдельное грамматическое единство. Фактически в таком виде мы имеем сочетание полнозначного глагола с дополнением, определяемым причастием, что близко, хотя и неравнозначно последовательности *сказуемое – определение – дополнение*. Причастие, функция которого определяется как атрибутивная (ср. [26: 162]), отличается от атрибутивной группы своей синтаксической позицией: второе причастие всегда находится в постноминальной позиции ($N_{acc} + V_{haben} + V_{pl}$ или $V_{haben} + N_{acc} + V_{pl}$), то есть маркированной по сравнению с позицией *прилагательное – существительное*, что в определенной степени способствует выделению глагольной характеристики причастия. Иными словами, в сочетании данного типа формальное согласование второго причастия и дополнения отражает форму управления в сочетаниях прилагательного с определяемым им существительным (отсюда следование парадигме сильного склонения прилагательного).

При этом, несомненно, причастия никогда не выражают самого прошедшего действия, что, как отмечает Ю. С. Маслов, подтверждается ограниченностью на их образование, и в целом являются словами, обозначающими

...состояние, в котором находится предмет, взятое как производный момент определенного процесса, движения, действия [6: 53].

Следовательно, **haben** + причастие II в таком виде предстает как относительно свободное двухвершинное сочетание элементов в синтаксически очерченных рамках, в которых первая и семантически важная вершина представлена сочетанием посессивного глагола с дополнением, а вторая – причастием, выступающим в качестве приложения, придающего дополнению атрибутивно-глагольные характеристики: состояние объекта, в котором он находится в момент говорения (параллельно действию, выражаемому посессивным глаголом), в результате выполненного над ним действия. Данный тип конструкции мы будем называть результативом первого типа.

Примеры с краткой формой причастия у Отфрида становятся доминирующими: в выборке примеров из «Книги Евангелий» из 51 употребления конструкции зафиксировано всего лишь 3 примера с флектированным причастием: два с **haben** и один с **eigan**, к которым, по мнению Й. Динингоффа, Отфрид прибегает из-за необходимости использовать рифмы (*in der Reimnot*), а единственный пример из Ноткера (*er hábet álegáro gespánnenen sínen bogen* – он имеет свой лук уже натянутым) он считает опiskой, поскольку в других рукописях «Псалмов» в аналогичном примере используется нефлектированная форма [15: 18].

Рассмотрим сначала, какие синтаксические различия существовали между конструкциями с двумя формами причастий. Прежде всего, в качестве дополнения начинают выступать разного рода существительные, обозначающие понятия, резко увеличивается количество местоимений: *íngang therera uuórolti* ‘вход того мира’, *dróst* ‘печаль’, *mih* ‘меня’, *thaz* ‘это, то’. Данные формы едва ли могут использоваться с посессивным глаголом в его непосредственном значении обладания/удержания. Кроме того, происходит изменение в сфере подлежащего. В конструкции с флектированным причастием всегда используются одушевленное существительное или прилагательное, обозначающие человека, который находится в состоянии обладания различными предметами: *tna* ‘мина’, *phigboun* ‘смоковница’. В конструкции с нефлектированным причастием в качестве подлежащего могут уже употребляться, хотя и редко, неодушевленные предметы (из 51 всего 2 примера):

(1) *Niuuui boran habet thiz lánt*, then hímlisgon héilant – *вновь породила земля сия* небесного Спасителя (досл. **новорожденным имеет сия земля**)².

(2) *álduam suáraz...Iz hábet ubarstígana*, in uns iúgund mánaga – *возраст темный* в нас молодость **преодоле**л (досл. **имеет в нас молодость преодоленную**) (Krist).

Подлежащие *lánt* и *áltduam* не являются агентивными. При этом и второе причастие в результате первого типа также не является агентивным, оно лишь указывает на состояние, а выполненное действие предстает как фоновое, логически подразумеваемое. Следовательно, изменяется функция причастия, которое теперь следует охарактеризовать как динамическое, но не атрибутивное.

Кроме того, внутри конструкции с нефлексированным причастием появляются примеры с несколькими дополнениями, одно из которых (косвенное) может использоваться с предлогом:

(3) *ih haben iz fúntan in mîr* – я это *в себе* обнаружил (Krist).

Динамичность семантики причастия в конструкции подтверждается наличием примеров сочетания субстантивной группы (с предлогом *mit*) в инструментальном значении. Такие примеры встречаются уже в произведении Отфрида:

(4) *in éigun sie iz firméinit. mit uuáfanon gízéinit* – им они это *возвестили, оружием* показали (Krist).

или же с местоимением *selbo* ‘сам’:

(5) *Bi thiú hábet unz iz selbo gót. hiar fórna nu gibíldot* – и поему Бог *сам* нам этот пример здесь *привел* (Krist).

В вышеприведенных контекстах субъект, выраженный подлежащим, является агенсом, что не всегда прослеживалось в результативной конструкции первого типа, в которой, как правило, агенс и подлежащее не совпадали: акцент в ней всегда ставится на обладании предметом, находящимся в определенном состоянии.

Таким образом, ряд фактов указывает на то, что конструкция с кратким причастием вполне подходит на роль перфекта. Но так ли это на самом деле?

Обращает на себя внимание то, что все глаголы с анализируемой конструкцией в «Книге Евангелий» являются предельными, с *haben* + причастие II не фиксируются наречия типа *er* (ранее), указывающие на прошедшее действие, но не на результирующее состояние, нет примеров без дополнений. Предложения типа *so uuir éigun nu gispróchan* ‘как мы говорили’ и *nu gene al éigun sus gidán* ‘таким образом, все те так и сделали’ трудно назвать безобъектными, поскольку присутствие наречий *so* ‘так’ и *sus* ‘таким образом’ могут выступать в качестве дополнений, отсылающих к предыдущей части предложения. Аналогичные синтаксические связи прослеживаются в примере из «Татиана»:

(6) *senu thin mna, thia ih habeta gihaltana in sueizduohhe* – вот твоя *мина*, *котопую* я хранил, завернув в пла-ток (Tatian).

Причастие *gihaltana* согласуется с союзом *thia*, который, в свою очередь, соотносится с существительным *mna*. Употребление неодушевленных

существительных в качестве подлежащего также не может выступать убедительным аргументом в пользу перфектной семантики данной конструкции.

Неопровержимым свидетельством перфектной семантики конструкции может стать использование неопределенно-личного местоимения, которое не фиксируется ни в древнеанглийском (*hit/it*), ни в древневерхненемецком (*iz*) [11]. Каким же образом можно интерпретировать семантику конструкции *haben* с кратким причастием? Мы полагаем, что ее также можно охарактеризовать как статальный результатив.

В древневерхненемецком языке сильное склонение прилагательных, как правило, в винительном падеже имело флексии (например, сильное склонение -a/-o м. р. *blintan*, ж. р. *blinta*, ср. р. *blintaz*), которые спорадически опускались (например, *blint*). Данное явление прослеживалось также и в именительном падеже единственного и множественного чисел всех родов. Причастия, как мы уже отмечали, следовали парадигме сильного склонения прилагательного (ср., например, [22: 39]), и, следовательно, по аналогии с прилагательным в конструкции с посессивным глаголом использовалось флексированное причастие, которое выполняло атрибутивную функцию (аналогично прилагательному) при субстантивном дополнении. Однако спорадическое опущение флексий, как мы полагаем, не могло бы внести в конструкцию те семантические и синтаксические изменения, о которых шла речь выше. Иные факторы, чем простое спорадическое опущение флексий, должны были вызвать изменения. Наличие или отсутствие флексий у причастий не только не способствовало бы проведению демаркационной линии между перфектом и перфектоподобной конструкцией [21: 119], но едва ли могло привести к десемантизации и самого посессивного глагола.

Мы полагаем, в развитии второй ступени результативной конструкции (результатива второго типа) важную роль сыграли сразу несколько процессов. Изменения должны были начаться с расширения коллокационного потенциала посессивного глагола, что, несомненно, к моменту написания самых ранних произведений было полностью осуществлено. Смысл данного процесса заключается в том, что глагол *haben* широко используется в различных сочетаниях, и его семантика расширяется до обозначения некоего отношения между предметами, то есть фактически глагол приобретает функцию копулы, аналогичной той, которая характерна для бытийного глагола. При этом сохраняется и центральное значение обладания/удержания. Это подтверждается сочетаниями *haben* в произведении Отфрида:

(7) *thu habes then diufal in thir* – в тебе *дьявол* (досл. ты *имеешь дьявола* в себе – локативное значение, ср. пример 1)³.

(8) in ímo **habeta fruma** mánagfalta – **проявлял** к нему большой *интерес* (досл. **имел** к этому *интерес* большой) (Glossar der Sprache Otfrids).

Появление подобных сочетаний с посессивным глаголом в значительной мере должно было отразиться на отношениях между ним и вторым причастием. В такой позиции оно начинает восприниматься как предикативная часть более общего комплекса, выражающего отношения субъекта к объекту. Как отмечал Э. Бенвенист, в германских языках существовали все структурные предпосылки для появления конструкции *haben* и второго причастия по аналогии с конструкцией с бытийным глаголом во многом благодаря взаимодополняющему функционированию этих двух вспомогательных глаголов [2: 203–224]. В настоящее время многие исследователи рассматривают конструкцию *sin/wesan* + причастие II как неграмматализированную, композиционную структуру, состоящую из нескольких лексически полных элементов [23: 44 et passim]. Как показано в [23], использование нефлектированного второго причастия в качестве предикативного элемента не делает данные конструкции грамматализированными. Исходя из такой картины можно предположить, что семантические изменения в конструкции с посессивным глаголом (расширение семантической сферы *haben*) и функциональная близость вспомогательных глаголов (*haben* и *sin*) повлекли за собой структурную модификацию конструкции. В предикативной функции в конструкции *sin/wesan* + причастие II причастие, как, в принципе, и прилагательное в той же функции в древневерхненемецком, имело тенденцию к употреблению в нефлектированной форме.

Расширенное использование посессивного глагола позволяет привлекать в качестве второго причастия такие глаголы, как *ginoman* ‘брать’, *ferloren* ‘терять’, которые при сохранении у *haben* непосредственного значения обладания употребляться не могут, так как такие сочетания являются нелогичными: обладать чем-либо, что потеряно или отнято. На то, что *haben*, в частности у Отфрида, используется в копулативной функции, указывает тот факт, что ни один из примеров конструкции не употреблен без дополнения. В дальнейшем предикативная функция причастия способствовала изменению синтаксических связей внутри конструкции: во-первых, на первый план выдвигается действие. Так, в примере

(9) *thaz thiz uuib. firuوراht hábet ira lib* – что эта женщина *свою жизнь погубила* (досл. **имеет** *свою жизнь погубленной*) (Krist).

сочетание *firuوراht hábet ira lib* можно рассматривать как *ira lib ist firuوراht*, к которому примыкает посессивный глагол. Иными словами, «у нее есть жизнь, которая погублена». Во-вторых, глагольные характеристики причастия способствуют переосмыслению субъектно-

объектных отношений. Если ранее подлежащее не ассоциировалось с выполненным над объектом действием, логически вытекавшим из семантики причастия, то теперь оно непосредственно привязывается к агенту как единственно возможному инициатору или исполнителю совершившегося действия, поскольку через посессивный глагол выражается отношение причастности к выполненному над объектом действию. То есть, если основная семантическая нагрузка в результате первого типа находилась в сфере сочетания *haben* с дополнением, то теперь она переносится на предикативную часть: конструкция трансформируется из двухвершинной (биклаузалльной) в одновершинную (моноклаузалльную) структуру.

При этом общая семантика конструкции по-прежнему остается результативной: субъект-агент через посессивный глагол выражает свое отношение (контроль, сопричастность) к объекту, над которым он (субъект-агент) выполнил действие. Иными словами, субъект выступает бенефактивом, который, как отмечает Р. Шродт, определенным образом связан с объектом [29: 16], и эта сопричастность выражена посессивным глаголом. Отсюда примеры, в которых подлежащее в данной конструкции может быть неодушевленным (см. примеры 1 и 2). Не исключено, что в этих примерах мы можем иметь дело и с метафорическим переносом человеческих отношений на неодушевленные предметы, что опять-таки позволяет особая семантика посессивного глагола.

Кроме того, даже наличие флектированной формы в ее атрибутивной функции в таком контексте (с расширенной семантикой посессивного глагола) не меняет отношений внутри конструкции:

(10) Sie **éigun mir ginómanan. liabon druhtin minan** – они *у меня забрали моего любимого Господа* (Krist).

Господь отнят у меня определенными людьми, и из контекста вполне очевидно, что они (те, кто отнимал) не владеют объектом (непосредственное обладание), но, скорее, причастны к той ситуации, в которой говорящий оказывается лишенным Господа. При этом общая семантика конструкции остается неизменной и при наличии флектированного причастия. Следовательно, если Й. Динингофф прав в предположении, что основной причиной использования Отфридом данной формы причастия была необходимость подстраиваться под рифму, как мы видим, семантически данная форма не выделялась как неестественная или маркированная. В этой связи нельзя согласиться с Р. Шродтом, который называет примеры без приставки *gi-* нерезультативными (дуративными), как в следующем контексте из Отфрида:

(11) *ih haben iz fúntan in mîr. ni fand ih líabes uuht in thîr* – в себе я это **нашел (испытал, ощутил)**, но не нашел я ни капли любви в тебе (Krist).

Как отмечает В. Г. Адмони, приставка *gi-* частую отсутствует «...в причастии II глаголов с ярко выраженной результативно-перфективной семантикой (*werdan*, *bringan* и т. п.)» [1: 41], что прослеживается в примере (11). В этой связи, как мы полагаем, незначительное количество *haben* + причастие II в «Татиане» можно объяснить именно интенсивным применением префигированных претеритальных форм (с приставкой *gi-*) с результативно-перфективной семантикой при передаче латинского синтетического перфекта. Семантика результативной конструкции с посессивным глаголом (в обоих ее вариантах) все же была несколько удалена от семантики латинского перфекта, да и перфектной семантики в целом.

Отфрид и Ноткер. Третий этап

Анализируя развитие перфекта в немецком языке, А. Харрис отмечает, что на десемантизацию *haben* недвусмысленно указывает употребление возвратных глаголов, и вплоть до изменения семантики конструкции таких примеров найти нельзя. Ссылаясь на работу Й. Дининггоффа, она отмечает, что контексты с рефлексивным прямым дополнением встречаются впервые у Ноткера:

(12) *si habet sih erretet* – она *себя* спасла [18: 543].

У Отфрида, однако, находим следующий пример:

(13) *ioh kristes tódes thuruh nót. ther liut sih habet giéinot* – и *из-за смерти Христа* через нужду люди *объединились* (Krist).

Глагол *gieinon* у Отфрида используется также и в конструкции с бытийным глаголом, но без возвратного местоимения *sih*:

(14) *uuanta sie uuárun thuruh nót. sines tódes giéinot* – они *объединились* (досл. *были объединенными*) из-за смерти Христа (Krist).

Сравнивая данные примеры, следует признать, что *sih* в примере (14) не является прямым дополнением, но выступает как неотъемлемая часть рефлексивного глагола. Посессивный глагол не десемантизирован, и его использование можно объяснить наличием субстантивной группы в родительном падеже *kristes tódes*, отношением к которой (обстоятельство причины) и выступает глагол *habet*. Таким образом, *haben* + причастие II в данном примере также следует рассматривать как результатив с косвенным дополнением. Но даже если *sih* могло бы выступать как рефлексивное прямое дополнение, наличие рефлексива не отменяет того факта, что *haben* используется с описанной выше семантикой, а конструкция является результативом.

Каким образом развивался результатив в дальнейшем? Переход от результата второго типа к перфекту осуществляется не сам по себе, но при наличии определенных семантических

условий. Э. Бенвенист впервые выдвинул предположение, что такие условия обязательно должны включать: 1) значение посессивного глагола – «иметь, обладать», но не «держатъ», 2) причастие глагольное, но не адъективное, 3) глагол, используемый в форме второго причастия, обладает сенсорно-интеллектуальной семантикой [11: 16]. Развивая эту идею на материале английского языка, К. Кэри показывает, что в переходе от статально-результативной семантики к темпорально-антериорной ведущую роль играют глаголы с семантикой ментальной деятельности (глаголы восприятия), а также говорения, употребляемые в дуративно-итеративных контекстах, то есть, в терминах Э. Бенвениста, глаголы «сенсорно-интеллектуальной» семантики. Именно в таких примерах наиболее четко прослеживается отношение между субъектом-агентом действия и завершенным действием, результаты которого направлены не на внешний объект, но на сам субъект, выраженный подлежащим. К. Кэри называет такую конструкцию *RS-Proc (Resultant State Process)*, то есть статально-результативная процессная конструкция. Именно в ней совершается последний шаг в направлении перфекта благодаря усилению глагольного действия и расширению локуса релевантности антериорного события с субъекта на более широкий дискурсный контекст [11: 47–84]. Рассмотрим *haben* + причастие II в древневерхненемецком с точки зрения данной гипотезы.

В «Книге Евангелий» Отфрида фиксируются глаголы ментальной деятельности и говорения с конструкцией *haben* + причастие II – а) глаголы ментальной деятельности: *gimeinit*, *firnomán*, *irdeilit*, *bithenkit*, *gihorit* и б) глаголы говорения: *gisprochan*, *gizaltan*, *giheizan*. В общем количестве из 51 примера *haben* + причастие II на глаголы категорий (а) и (б) приходится 12 случаев, то есть практически четверть всех зафиксированных примеров. Примечательно, что все примеры употребляются либо с прямым дополнением, либо с дополнением, выраженным придаточным предложением с союзом *thaz* 'что' (о глаголе *gisprochan* упоминалось выше). Исключением, пожалуй, является следующий пример:

(15) *Hábet er giméinit. mit mir thia uuórolt heilit* – *пешил* он, что будет со мной лечить этот мир (Krist).

В примере (15) вторую часть строки, вероятно, следует считать бессоюзным расширением первой строки. Общим для семантики конструкции с вышеприведенными категориями глаголов является то, что подлежащее находится в состоянии завершенности действия, которое было направлено вовнутрь на сам субъект:

(16) *Éigun sie iz bithénkit. thaz síllaba in ni uuénkit* – *пешили* они, что у них слог не шатается (Krist).

Объект на первых этапах все еще сохраняется, но акцент смещается с объекта (при увеличении

примеров с сентенциальным объектом, становящимся фоновым при выделении действия) на подлежащее, то есть субъект и процесс находятся в прямом отношении, которое выражается через *haben*.

У Ноткера количество таких примеров возрастает. Происходит еще один виток синтаксических изменений, которые протекают внутри *haben* + причастие II. Появляются безобъектные случаи употребления конструкции, а также возрастает частотность примеров с объектом в косвенном падеже. Так, в произведениях Ноткера примеры с дополнением в винительном падеже представлены в 276 случаях, включая употребление второго причастия в форме с отрицательной приставкой *un-* (*ungelirnet*). Количество примеров с рефлексивом в винительном падеже – 20, с дополнением в родительном падеже – 16, безобъектных – 65 и с дополнением, выраженным разными типами придаточных предложений, – 26. Итак, при несомненном доминировании примеров с прямым дополнением мы видим серьезные синтаксические изменения, которые произошли в течение ста лет после Отфрида, среди которых наиболее важным является использование косвенных дополнений и безобъектных примеров. О появлении примеров с интранзитивными глаголами следует говорить отдельно (см. 3 на материале древнеанглийского языка).

Важным является тот факт, что 18 глаголов из безобъектной группы составляют глаголы ментальной деятельности и говорения, которые у Отфрида использовались с прямым или сентенциальным дополнением. К этой же группе следует отнести такие причастия, как *gesundot* ‘согрешив’, *gelogan* ‘солгав’, семантика которых также указывает на действие, направленное на сам субъект⁴. Такую конструкцию, которая указывает на состояние субъекта в результате выполненного им же действия, мы называем субъектный результатив.

ВЫВОДЫ

В результате проведенного анализа можно сделать основной вывод, что конструкция *haben* + причастие II являлась результативом и обладала статально-результативной семантикой. Можно выделить три вида результативов. Изначальное развитие конструкции с посессивным глаголом и флектированной формой второго причастия (результатив первого типа) происходило в ходе семантико-коллокационного расширения посессивного глагола и дальнейшего преобразования причастия по примеру предикативной формы прилагательного, а также конструкции *sin/wesan* + причастие II, что привело к появлению результатива второго типа с краткой формой причастия, но по-прежнему со статально-результативной семантикой. Отношения внутри конструкции, однако, изменились: субъект, выраженный в подлежащем, теперь становится бенефактивом, имеющим определенное отношение к действию, контроль над ним, сопричастность к действию. Дополнение остается в такой конструкции важным элементом, поскольку действие субъекта-агенса направлено вовне на объекты, измененное состояние которых по-прежнему принадлежит субъекту. Кардинальное изменение конструкции происходит в рамках результатива с глаголами ментальной деятельности и говорения, а также тех глаголов, которые указывают на действие, направленное на субъект-агенса. Здесь усиливается акцент на действии. На этой ступени развития конструкция трансформируется в субъектный результатив, который выражает состояние субъекта после выполненного действия, что влечет за собой значимые синтаксические трансформации: возрастают примеры с косвенными дополнениями, а также появляются примеры, в которых отсутствует дополнение.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossar. E. Sievers (Hrsg.), Zweite Neubearb. Ausg. Paderborn, 1892. 518 s.
- ² Krist. Das älteste, von Otfrid im neunten Jahrhundert verfasste, hochdeutsche Gedicht, nach den drei gleichzeitigen, zu Wien, München und Heidelberg befindlichen, Handschriften. E. G. Graff (Hrsg.). Königsberg, 1831. 446 s. Далее в круглых скобках – Krist.
- ³ Glossar der Sprache Otfrids. Bearbeitet von Johann Kelle. Regensburg, 1881. 772 s. Далее в круглых скобках – Glossar der Sprache Otfrids.
- ⁴ Die Schriften Notkers und seiner Schule. P. Piper (Hrsg.). Bd. I–III. Freiburg, 1882–1883. Bd. I. 868 s. Bd. II. 644 s. Bd. III. 415 s.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адмони В. Г. Исторический синтаксис немецкого языка. М.: Высшая школа, 1963. 336 с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 446 с.
3. Бондарь В. А. *Habban* + причастие II с глаголами движения в древнеанглийском языке // Вопросы языкознания. 2017. № 5. С. 75–91.
4. Гухман М. М., Семенюк Н. Н. История немецкого литературного языка IX–XV вв. М.: Наука, 1983. 200 с.
5. Гухман М. М. Глагольные аналитические конструкции как особый вид сочетаний частичного и полного слова (На материале истории немецкого языка) // Вопросы грамматического строя. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. С. 322–361.
6. Маслов Ю. С. Возникновение сложного прошедшего в немецком языке: Дис. ... канд. филол. наук. Л.: ЛГУ, 1940. 259 с.
7. Маслов Ю. С. Избранные труды: Аспектология. Общее языкознание // А. В. Бондарко, Т. А. Майсак, В. А. Плунгян (ред.). М.: Языки славянской культуры, 2004. 848 с.

8. Недеялков В. П., Яхонтов С. Е. (ред.). Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л.: Наука, 1983. 263 с.
9. Плунгян В. А. К типологии перфекта в языках мира // Исследования по теории грамматики. Вып. 7: Перфект и смежные категории. Acta Linguistica Petropolitana. Т. А. Майсак, В. А. Плунгян, Кс. П. Семёнова (ред.). Т. XII. Ч. 2. СПб.: Наука, 2016. С. 7–36.
10. Смирницкая О. А. Эволюция видо-временной системы в германских языках // Историко-типологическая морфология германских языков. Категория глагола / В. Н. Ярцева (ред.). М.: Наука, 1977. С. 5–127.
11. Carey K. Pragmatics, subjectivity and the grammaticalization of the English perfect. PhD dissertation. San Diego: Univ. of California, 1994. 165 p.
12. Comrie B. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. 142 p.
13. Dahl Ö. Tense and aspect systems. Oxford: Blackwell, 1985. 213 p.
14. Dal I. Kurze Deutsche Syntax auf Historischer Grundlage. Berlin: De Gruyter, 2014. 292 s.
15. Dieninghoff J. Die Umschreibungen aktiver Vergangenheit mit dem Particium Praeteriti im Althochdeutschen. Diss. Bonn: Universitäts-Buchdruckerei, 1904. 66 s.
16. Drinka B. Language Contact in Europe: The Periphrastic Perfect through History. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 487 p.
17. Gillmann M. Perfektkonstruktionen mit “haben” und “sein”. Eine Korpusuntersuchung im Althochdeutschen, Altsächsischen und Neuhochochdeutsch. Studia Linguistica Germanica, 128. Walter de Gruyter. Berlin; Boston, 2016. 333 s.
18. Harris A. C. Cross-Linguistic Perspectives on Syntactic Change // Brian D. Joseph and Richard D. Janda (eds.). The Handbook of Historical Linguistics. Blackwell Publishing Ltd., 2003. 881 p.
19. Klein W., Vater H. The Perfect in English and German // L. Kulikov & H. Vater (Eds.) Typology of Verbal Categories. Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday. Tübingen: Niemeyer, 1998. P. 215–235.
20. Kuroda S. Die historische Entwicklung der Perfektkonstruktionen im Deutschen. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1999. 143 s.
21. Larsson I. Participles in Time. The Development of the Perfect Tense in Swedish. PhD Dissertation. Göteborg: Göteborgs Universitet, 2009. 493 p.
22. Lockwood W. B. Historical German Syntax. Oxford: Clarendon Press, 1968. 279 p.
23. Mailhammer R., Smirnova E. Sources of passive constructions in Old High German and Old English // Gabriele Diewald, Leena Kahlas-Tarkka and Ilse Wischer (eds.). Comparative Studies in Early Germanic Languages. With a focus on verbal categories. John Benjamins. 2013. P. 41–70.
24. Musan R. The German perfect: its semantic composition and its interactions with temporal adverbials. Springer Science & Business Media, 2002. Vol. 78. 271 p.
25. Oubouzar E. Über die Ausbildung der zusammengesetzten Verbformen im deutschen Verbalsystem // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Halle, 1974. Vol. 95. S. 5–96.
26. Paul H. Die Umschreibung des Perfekts in Deutschen mit haben und sein // Abhandlungen der Philosophisch-Philologischen Klasse der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1902. Bd. 22. Abt. 1. S. 159–210.
27. Rittenhouse R. Verbal periphrasis in two early Germanic languages: a comparative study of the passive and perfect in the Old High German Evangelienbuch and the Old Saxon Heliand. PhD dissertation. Univ. of Wisconsin – Madison, 2014. 122 p.
28. Rothstein B. The perfect time span: On the present perfect in German, Swedish and English. Amsterdam: Benjamins, 2008. 171 p.
29. Schrodtt R. Althochdeutsche Grammatik II: Syntax. Tübingen, 2004. 242 s.

Bondar V. A., Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation)

THE OLD HIGH GERMAN SOURCE OF THE PRESENT DAY PERFECT: DEVELOPMENT OF THE SEMANTICS OF THE HABEN + PAST PARTICIPLE CONSTRUCTION

The aim of the paper is to perform a syntactic and semantic analysis of the haben + participle II construction on the basis of the sample from the material pertaining to the Old High German period. The investigation employed the method of contextual analysis of the semantics of the verbs used as past participles in the construction as well as its syntactic environment. The novelty of the research is that it shows a detailed picture of mechanisms underlying semantic shifts of haben + participle II, which functioned as a resultative during the whole period and possessed a state-resultant semantics. At the starting point the construction embraced the syntactic pattern of the possessive verb and inflected past participle. Later, in the course of the semantic and collocational expansion of the possessive verb and further transformation of the past participle on the model of the predicative form of the adjective and the construction sin/wesan + participle II, the construction yielded the resultative of the second type with a short (uninflected) form of the participle. The second type of the resultative also retained a state-resultant semantics. In the text of Otfrid and to a larger extent in the works by Notker, it became possible to identify the subjective resultative. The main conclusion of the paper, which fits into the grammaticalization theory, is the statement that the key impetus for the change of haben + participle II, at different stages of its development during the Old High German period was a semantic shift in relations between constituents within the construction, which triggered its further morpho-syntactic transformations.

Key words: perfect, resultative, syntax, morphology, grammatical semantics, grammaticalisation, Old High German

REFERENCES

1. Admoni V. G. Historical syntax of the German language. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1963. 336 p. (In Russ.)
2. Benveniste E. General linguistics. Moscow, Progress Publ., 1974. 446 p. (In Russ.)
3. Bondar V. A. Have + participle II with motion verbs in Old English. *Voprosy yazykoznavaniya*. 2017. № 5. P. 75–91. (In Russ.)

4. Gukhman M. M., Semeniuk N. N. History of the German literary language of the IX–XV cc. Moscow, Nauka Publ., 1983. 200 p. (In Russ.)
5. Gukhman M. M. Verbal analytic constructions as a special type of combination of a partial and a full word (Based on the material of the history of the German language). *Issues of the grammatical system*. Moscow, Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1955. P. 322–361. (In Russ.)
6. Maslov Ju. S. The rise of the complex past tense in the German language. Dis. ... kand. filol. nauk. Leningrad, LGU Publ., 1940. 259 p. (In Russ.)
7. Maslov Ju. S. Selected works: Aspectology. General linguistics. Bondarko A. V., Majsak T. A., Plungjan V. A. (ed.). Moscow, Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ., 2004. 848 p. (In Russ.)
8. Nedjalkov V. P., Jahontov S. E. (red.). Typology of the resultative constructions (resultative, stative, passive, perfect). Leningrad, Nauka Publ., 1983. 263 p. (In Russ.)
9. Plungjan V. A. On typology of the perfect forms in languages of the world. *Studies on the theory of grammar. Issue 7: Perfect and related categories. Acta Linguistica Petropolitana*. T. Maisak, V. A. Plungjan, Ks. P. Semenova (eds.) Vol. XII. № 2. St. Petersburg, Nauka Publ., 2016. P. 7–36. (In Russ.)
10. Smirnickaja O. A. Evolution of the tense and aspect system in Germanic languages. *Historical and typological morphology of Germanic languages. The category of verb*. V. N. Jarceva (red.). Moscow, Nauka Publ., 1977. P. 5–127. (In Russ.)
11. Carey K. Pragmatics, subjectivity and grammaticalization of the English perfect. PhD dissertation. San Diego: Univ. of California, 1994. 165 p.
12. Comrie B. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. 142 p.
13. Dahl Ö. Tense and aspect systems. Oxford: Blackwell, 1985. 213 p.
14. Dal I. Kurze Deutsche Syntax auf Historischer Grundlage. Berlin: De Gruyter, 2014. 292 s.
15. Dieninghoff J. Die Umschreibungen aktiver Vergangenheit mit dem Participium Praeteriti im Althochdeutschen. Diss. Bonn: Universitäts-Buchdruckerei, 1904. 66 s.
16. Drinka B. Language Contact in Europe: The Periphrastic Perfect through History. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 487 p.
17. Gillmann M. Perfektkonstruktionen mit “haben” und “sein”. Eine Korpusuntersuchung im Althochdeutschen, Altsächsischen und Neuhochdeutsch. *Studia Linguistica Germanica*, 128. Walter de Gruyter: Berlin; Boston, 2016. 333 s.
18. Harris A. C. Cross-Linguistic Perspectives on Syntactic Change. *Brian D. Joseph and Richard D. Janda (eds.), The Handbook of Historical Linguistics*. Blackwell Publishing Ltd., 2003. 881 p.
19. Klein W., Vater H. Perfect forms in English and German. *L. Kulikov & H. Vater (Eds.) Typology of Verbal Categories. Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday*. Tübingen: Niemeyer, 1998. P. 215–235.
20. Kuroda S. Die historische Entwicklung der Perfektkonstruktionen im Deutschen. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1999. 143 s.
21. Larsson I. Participles in Time. The Development of the Perfect Tense in Swedish. PhD Dissertation. Göteborg: Göteborgs Universitet, 2009. 493 p.
22. Lockwood W. B. Historical German Syntax. Oxford: Clarendon Press, 1968. 279 p.
23. Mailhammer R., Smirnova E. Sources of passive constructions in Old High German and Old English. *Gabriele Diewald, Leena Kahlas-Tarkka and Ilse Wischer (eds.), Comparative Studies in Early Germanic Languages. With a focus on verbal categories*. John Benjamins, 2013. P. 41–70.
24. Musan R. The German perfect: its semantic composition and its interactions with temporal adverbials. *Springer Science & Business Media*, 2002. Vol. 78. 271 p.
25. Oubouzar E. Über die Ausbildung der zusammengesetzten Verbformen im deutschen Verbalsystem. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Halle, 1974. Vol. 95. S. 5–96.
26. Paul H. Die Umschreibung des Perfekts in Deutschen mit *haben* und *sein*. Abhandlungen der Philosophisch-Philologischen Klasse der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1902. Bd. 22. Abt. 1. S. 159–210.
27. Rittenhouse R. Verbal periphrasis in two early Germanic languages: a comparative study of the passive and perfect in the Old High German Evangelienbuch and the Old Saxon Heliand. PhD dissertation. Univ. of Wisconsin – Madison, 2014. 122 p.
28. Rothstein B. The perfect time span: On the present perfect in German, Swedish and English. Amsterdam: Benjamins, 2008. 171 p.
29. Schrodtt R. Althochdeutsche Grammatik II: Syntax. Tübingen, 2004. 242 s.

Поступила в редакцию 02.10.2017

НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ГОРОХОВА

кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков факультета гуманитарного образования, Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина (Москва, Российская Федерация)
n.gorokhova@nxt.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ТЕРМИНОФРЕЙМА PIPELINE

Рассматривается проблема семантического моделирования специальной терминологии с позиций когнитивного подхода в русле новейших разработок в области когнитивной лингвистики. Автором исследуется терминофрейм «pipeline» как структура знания, состоящая из отдельных концептуальных единиц – опорных фреймов и субфреймов, соответствующих семантическим категориям. Проведенный автором семантический анализ классов терминоединиц, образующих терминологию трубопроводного транспорта, позволил выявить особенности репрезентации терминофрейма «pipeline» как суперфрейма, организующего структуру исследуемой английской терминологии. Лингвокогнитивный метод, используемый автором при анализе, обнаружил процессы, происходящие как в окружающем мире, так и внутри языка, а также позволил провести фреймовое моделирование указанной терминоносферы. Выводы, сделанные автором относительно терминофрейма «pipeline», подтверждены результатами научно-практической работы, которая проводилась на факультете проектирования, сооружения и эксплуатации трубопроводного транспорта Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

Ключевые слова: моделирование, терминофрейм, суперфрейм, субфрейм, пропозиция, трубопровод

На современном этапе развития лингвистической науки метод моделирования приобретает все большую ценность, поскольку именно благодаря ему естественные, но латентные процессы, происходящие как в окружающей действительности, так и в внутри самого языка, могут быть исследованы [10: 86].

Моделирование, или процедура создания искусственной модели – фрейма, призванная детерминировать языковые и ментальные (когнитивные) процессы, происходящие в сознании человека, предполагает создание «искусственно созданных объектов в виде конструкций, схем, знаковых форм или формул и, отражая исследуемый объект (или явление), изображает и воссоздает в более простом виде его структуру, отношения, а также взаимосвязи между элементами этого объекта» [9: 5].

Семантическая категоризация английских лексических единиц терминологии трубопроводного транспорта предполагает осмысление как типологии различных видов трубопроводов, так и участие субъекта (пассивное или активное), подразумевающее использование им различных технологий, методов и средств, конструкций и т. д. [7]. На основании анализа исследуемой терминоносферы представляется необходимым введение ключевого понятия «терминофрейма» – систематизированной структурной организации частноотраслевой концептуальной научной картины мира и вербализующей ее терминологии, отражающей ментальные процессы

субъекта и его научно-профессиональной деятельности, запечатленной в графическом образе [6: 98].

Значение слова «pipeline» в современных англоязычных глоссариях представлено следующими словарными статьями:

- 1) a conduit made from pipes connected end-to-end for long-distance fluid or gas transport¹;
- 2) a line of pipe with pumps, valves, and control devices for conveying liquids, gases, or finely divided solids²;
- 3) a very long, large tube, often underground, through which liquid or gas can flow for long distances³.

Согласно межгосударственному стандарту, pipeline – изделие кольцеобразного, овального, многоугольного или иной формы полого поперечного сечения относительно большой длины⁴; трубы в пределах промышленных предприятий, по которым транспортируются сырье, полуфабрикаты и готовые продукты, пар, вода, топливо, реагенты и другие вещества, обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования⁵; вид транспорта, осуществляющий передачу на расстояние по трубопроводам жидких, газообразных сред и твердых материалов [1].

Исходя из вышесказанного, определение термина «pipeline» можно вывести, опираясь на семантический анализ нескольких классов словарных статей, определяющих исследуемую терминологическую единицу, а именно трубопровод как трубу для передачи на расстояние разного

рода продуктов. Содержательный план конструируемого терминосфрейма «pipeline» представляет собой многособытийный и полиситуативный комплекс состояний. Рассматривая представленность полипропозициональности на лексическом уровне, относительно семантики термина «pipeline», терминосфрейм представляет собой сложную семасиологическую полипропозитивную единицу, то есть ретроспективно направленное существительное, в семной структуре которого наблюдается несколько пропозиций [6: 95].

Пропозиция 1: существуют трубопроводные технологии, разработанные субъектом (человеком);

Пропозиция 2: субъект (человек) производит монтаж (сборку, проводку, настройку) оборудования трубопровода посредством определенного набора методов;

Пропозиция 3: субъект (человек) изобретает необходимые конструкции для эффективного использования трубопровода;

Пропозиция 4: субъект (человек) конструирует типы трубопроводов для разных целей и продуктов.

Конструируя фреймовую модель английской прикладной области деятельности трубопровод-

ного транспорта, следует отметить, что семантические макрокатегории (пропозиции 1–4) объединяют разнородные англоязычные терминологические единицы профессиональной сферы и находятся в постпозиции более общего значения когнитивного основания – суперфрейма «pipeline». Фреймы второго порядка, в свою очередь, подразделяются на «субфреймы» более низких уровней, структурирующие образ вышеуказанного суперфрейма [7: 132].

Результат первого этапа моделирования терминосфрейма «pipeline» можно увидеть на схеме 1, где опорные фреймы второго порядка находятся на одинаковом уровне, что подтверждается фактом антропоцентричности исследуемой терминологии и совпадает с одним из принципов любой профессиональной области деятельности – человек есть узел или центр производственных сил [2: 775], [4: 102]. Как можно понять из рисунка, фреймы соединены между собой стрелкой, что показывает взаимообусловленную связь между ними, позволяя сделать вывод о том, что деятельность человека направлена на совершенствование техники, связанное с производством и использованием новых технологий [3].

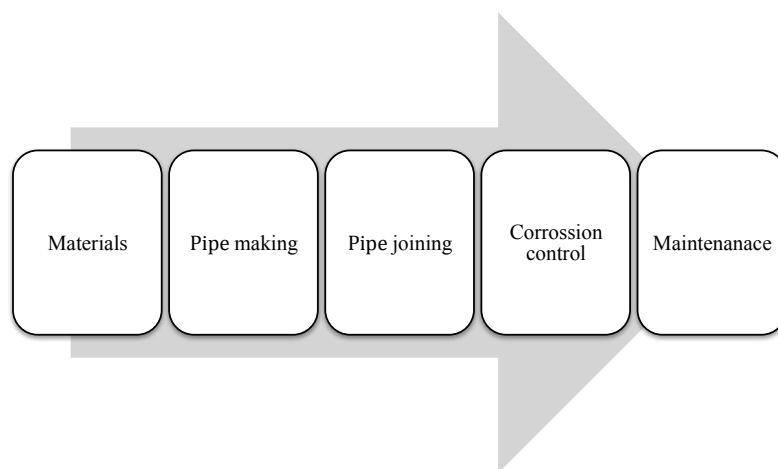


Схема 1. Pipeline technologies

Описывая опорный фрейм второго порядка «method», можно перейти ко второму этапу моделирования терминосфрейма «pipeline», представленного несколькими слотами:

- Слот 1 S-Lay method
- Слот 2 J-Lay method
- Слот 3 Reel method
- Слот 4 Bottom Tow method

На схеме 2 можно заметить, что четыре субфрейма расположены друг под другом и соединены между собой одной чертой, такое расположение слотов неслучайно, так как акцентирует внимание на втором принципе специальной области деятельности – существовании способов внешнего воздействия, которые являются потенциальными, возможными, вероятными при целенаправленном выборе субъектом (человеком). Вертикальная

иерархия терминов профессионального словаря трубопроводного транспорта показывает частотность применения каждого из методов в отдельности.

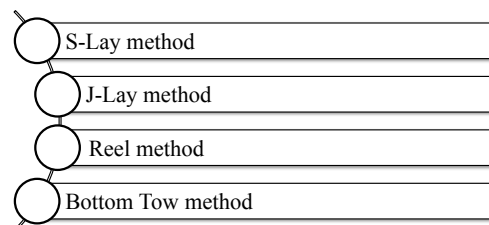


Схема 2. Methods of pipeline installation

Третий этап моделирования терминосфрейма «pipeline» представлен субфреймом «construction»,

который, в свою очередь, подразделяется на следующие слоты:

- Pre-construction
- Mid-construction
- Post-construction

Субфреймы расположены на одном уровне и соединены между собой, что свидетельствует об автоматическом делении их на три взаимосвязанных группы; и как только появляются вероятные, потенциальные потребности в строительстве

трубопровода, выбор субъекта (человека) механически останавливается на одном из трех представленных видов конструкций трубопровода. Заключительный этап такой оптации основывается на принципе решения той или иной конкретной проблемы транспортировки. Способ достижения цели с использованием знания физических, химических, геологических, сейсмических, строительных и иных закономерностей – основное положение при выборе той или иной трубопроводной конструкции.

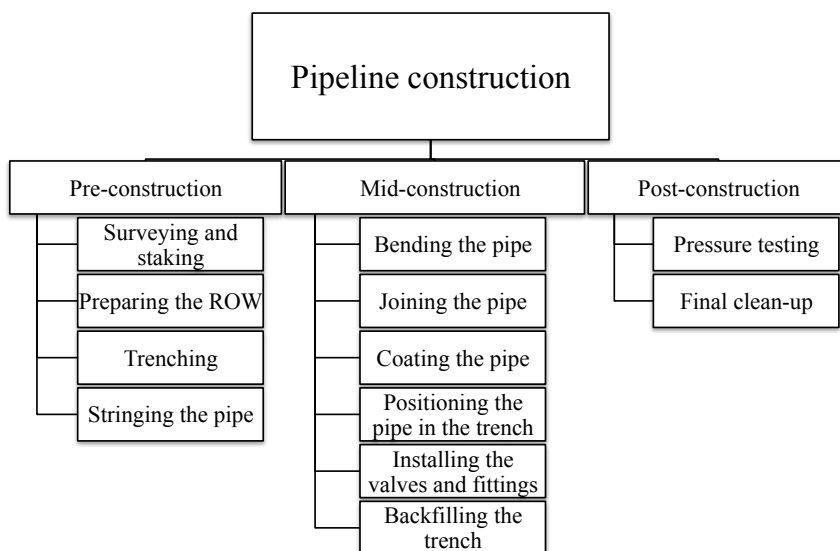


Схема 3. Pipeline construction

Семантический анализ единиц английской терминосферы трубопроводного транспорта позволяет обнаружить и охарактеризовать структурные типы того фрагмента объективной действительности, который отражен терминофреймом «pipeline» и участвует в ментальных процессах субъекта исследуемой области профессиональной деятельности. Схематичную конструкцию фреймовой модели можно обозначить следующими субфреймами:

- Gathering pipelines
- Trunk / Transportation / Transmisson pipelines
- Distribution pipelines

Каждый слот представлен отдельными видами локаций, связанными с производством и использованием техники, направленной на работу с отдельными типами трубопроводов.

Таким образом, моделирование английского терминофрейма «pipeline» дает возможность представить его в виде сформированной и организованной системы, включающей все номинируемые опорные фреймы, субфреймы и слоты, выделенные в процессе семантической категоризации исследуемой терминосферы трубопроводного транспорта. Когнитивный подход к исследованию языка выявляет механизмы взаимосвязи терминологической лексики с реальной действительностью. Такой

подход объясняет связь языковых репрезентаций с системами хранения и обработки объективных знаний. Таким образом, языковое сознание специалистов в сфере трубопроводного транспорта отражает наполнение этой области.

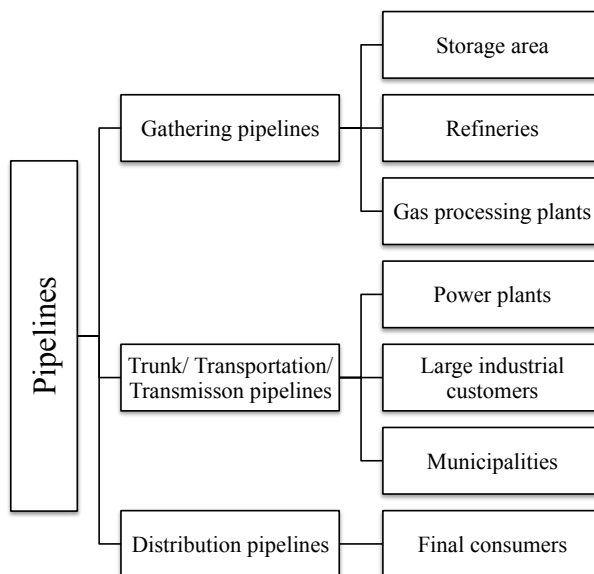


Схема 4. Types of pipelines

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Cambridge dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/pipeline> (дата обращения 05.02.2016).
- ² Merriam-Webster dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/pipeline> (дата обращения 24.04.2017).
- ³ Wikipedia [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://en.wikipedia.org/wiki/Pipeline> (дата обращения 13.08.2014).
- ⁴ ГОСТ 28548-90. Трубы стальные. Термины и определения. Введ. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.04.90, № 1077. М.: Государственный стандарт Союза ССР, 1991. 14 с.
- ⁵ ГОСТ 32569-2013. Трубопроводы технологические стальные. Введ. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8.04.14, № 331-ст. М.: Стандартинформ, 2015. 182 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горохова Н. В. Англо-русский словарь терминов трубопроводного транспорта. Омск: Полиграфический центр КАН, 2012. 240 с.
2. Горохова Н. В. Современные подходы когнитивных исследований терминологии // Концептуальные и семантико-грамматические исследования: памяти проф. Е. А. Пименова: Сб. науч. статей: М.: ИЯ РАН, 2011. Серия «Филологический сборник». Вып. 11. С. 772–778.
3. Горохова Н. В., Кубышко И. Н. Прикладная лингвистика (трубопроводный транспорт): Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2017. 152 с.
4. Зорина Ю. В. Когнитивные аспекты исследования англоязычной терминологии безопасности жизнедеятельности: Монография. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. 170 с.
5. Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред. Е. С. Кубряковой. М., 1996. 245 с.
6. Лебедева Н. Б. Многослойность лексической семантики и ситуатема как полиситуативная структура // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2012. Вып. 63. № 5 (259). С. 92–97.
7. Павлова И. В. Фреймовый подход к анализу образа зооморфного существа в фантастическом тексте // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Филология». Симферополь, 2006. № 3. С. 131–134.
8. Ревина Ю. Н. Фреймовая структура автомобильной терминологии немецкого языка // Динамика систем, механизмов и машин. 2012. № 4. С. 161–164.
9. Серова Т. С. Моделирование содержания и процесса обучения переводчика в профессиональном лингвистическом образовании // Вестник ПГТУ «Проблемы языкознания и педагогики». 2009. № 2 (18). С. 5–26.
10. Федюченко Л. Г. Лингвистическое моделирование: Коллективная монография. Тюмень: Вектор Бук, 2009. 186 с.

Gorokhova N. V., Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University) (Moscow, Russian Federation)

FRAME ANALYSIS OF THE ENGLISH TERM “PIPELINE”

The article deals with the problem of semantic modeling of special terminology. The latest approaches in the field of cognitive linguistics are used herein. The author studies the terminological frame “pipeline” as a structure consisting of separate conceptual units – basic frames and subframes corresponding to semantic categories. The semantic analysis of the term classes forming the terminology of pipeline transport made it possible to understand particular properties of the terminological frame “pipeline” as a superframe that organizes the structure of the English terminology in focus. The cognitive method used by the author in the semantic analysis revealed processes occurring both in the surrounding world and within the language and also allowed to model the terminological sphere of pipeline transport. The conclusion made by the author concerning the terminological frame “pipeline” is confirmed by the results of the scientific and practical work carried out at the Faculty of Design, Construction and Operation of Pipeline Transport of Gubkin Russian State University of Oil and Gas.

Key words: modeling, termoframe, superframe, subframe, proposition, pipeline

REFERENCES

1. Gorokhova N. V. English-Russian dictionary of pipeline transport terms. Omsk, Poligraficheskiy tsentr KAN Publ., 2012. 240 p. (In Russ.)
2. Gorokhova N. V. Modern approaches to cognitive studies of terminology. *Kontseptual'nye i semantiko-grammaticheskie issledovaniya: pamyati prof. Y. A. Pimenova: Sb. nauch. statey*. Moscow, IYA RAN Publ., 2011. *Seriya “Filologicheskiiy sbornik. Vyp. 11. P. 772–778.* (In Russ.)
3. Gorokhova N. V., Kubysheko I. N. Applied linguistics (pipeline transport). Omsk, Izd-vo OmGTU, 2017. 152 p. (In Russ.)
4. Zorina Yu. V. Cognitive aspects of the study of English-language terminology of life safety. Omsk, Izd-vo OmGTU, 2012. 170 p. (In Russ.)
5. Kubryakova Ye. S., Demyankov V. Z., Pankrats Yu. G., Luzina L. G. A Brief dictionary of cognitive terms. Moscow, 1996. 245 p. (In Russ.)
6. Lebedeva N. B. Multilayered lexical semantics and situational topic as a polysituative structure. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. Iskuststvovedenie*. 2012. Issue 63. No 5 (259). P. 92–97. (In Russ.)
7. Pavlova I. V. A frame approach of analyzing the zoomorphic creature image in a fantastic text. *Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Seriya “Filologiya”*. Simferopol, 2006. No 3. P. 131–134. (In Russ.)
8. Revina Yu. N. Frame structure of German automotive terminology. *Dinamika sistem, mekhanizmov i mashin*. 2012. No 4. P. 161–164. (In Russ.)
9. Serova T. S. Modeling the content and process of interpreter training in professional linguistic education. *Vestnik PGU “Problemy yazykoznaniya i pedagogiki”*. 2009. No 2 (18). P. 5–26. (In Russ.)
10. Fedyuchenko L. G. Modeling the content and process of interpreter training in professional linguistic education. Tyumen, Vektor Buk Publ., 2009. 186 p. (In Russ.)

Поступила в редакцию 27.04.2018

ИРИНА НИКОЛАЕВНА ДЬЯЧКОВА

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Института филологии, Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Российская Федерация)
gyla4@yandex.ru

ЭВОЛЮЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КАК ЧАСТИ РЕЧИ

Влияние математического мышления определяется исследователями как основной источник грамматической эволюции имен числительных. Универсальное смысловое содержание нумеративов, связанное с выражением математической идеи числа, действительно делает их судьбы в самых разных языках во многом схожими. Эволюционируя семантически, системы числительных в своем лексическом составе унифицируются по принципу терминологических систем. Унификация пронизывает и сферу их образования, в которой устанавливаются единые деривационные модели со строго определенной синтаксической последовательностью компонентов. Счетный ряд, в котором числительные выступают в своей основной функции, представляет собой особый текст, элементы которого оказывают смысловое и формальное влияние друг на друга. В процессе нумерализации числительные стремятся к максимальному обособлению от других частей речи, как правило, именных, что проявляется как в их семантике, так и в грамматических свойствах. Вместе с тем примеры, приводимые в статье, показывают, что взаимодействие абстрактно-математического мышления и грамматики может иметь результатом и сугубо специфические для каждого языка формальные трансформации, зависящие от целого ряда факторов.

Ключевые слова: имена числительные, часть речи, математическое мышление, эволюция, семантика, грамматические особенности

Имена числительные в современном русском языке представляют собой обособленную группу слов, обладающую не только специфической семантикой – отвлеченно-числовой или количественной, но и отличными от других частей речи морфолого-синтаксическими свойствами, наиболее проявляющимися у составляющих ядро этого частеречного класса количественных нумеративов. Известно, что русские числительные в процессе своего развития существенно трансформировались в грамматическом отношении, утратив – хотя и в неполном объеме – формальные связи с другими именными классами (существительными, прилагательными, местоимениями). При этом указанный процесс активно продолжается и сегодня: многочисленные ошибки в склонении числительных (*шестидесятью странами**, *в пятьсот сорок трех домах**, *из двухста вычесть пять**, *в стах книгах**), которые у каждого из нас на слуху, наглядно подтверждают мысль В. В. Виноградова о том, что постепенно происходит «выпадение числительных из грамматики в словарь» [1: 255], что русские нумеративы «онаречиваются» и становление их грамматических свойств в русском языке далеко от завершения.

Стремясь определить причины грамматической эволюции нумеративов не только в русском, но и в других языках, В. В. Виноградов видит в качестве ее основного источника и первопричины *влияние математического мышления*: «Грам-

матические судьбы класса имен числительных в русском языке связаны с эволюцией идеи числа. <...> Во многих языках, например латинском и греческом, французском, немецком, английском, числительные имена (по крайней мере с 4) не имеют ни форм рода и числа, ни форм падежей <...> В сущности, в европейских языках имена числительные (до определенного предела) – это абстрактные показатели выраженного в цифрах числа однородных предметов: <...> *sept cents* = = 7 cents, *fünf Kinder* = 5 Kinder» [1: 231–232].

Чрезвычайно важно для наших дальнейших наблюдений и замечание В. В. Виноградова о том, что, поскольку для математического отвлеченного мышления актуально лишь соположение, «сцепление» элементов (математические знаки «имеют синтаксис, но лишены морфологии»), нет ничего удивительного в том, что эти формальные качества усваиваются словами, которые эти «знаки» называют, и что вследствие этого синтаксис в числительных «явно преобладает над морфологией» [1: 234]. Напомним, что в современном русском языке, помимо не одобряемых нормой несклоняемых форм количественных числительных в косвенных падежах (примеры даны выше), существуют и получают все большее распространение сочетания, где числительные нормативно могут употребляться в неизменяемой форме: *дом семнадцать* – *дома семнадцать*, «Салют-7» – «Салюта-7» и под. А это значит, что давление математического языка продолжает активно

стимулировать проявление аналитизма в грамматике русских нумеративов.

Идеи В. В. Виноградова развивают и уточняют в своих работах другие исследователи числительных [2], [3], [4], [5], [6], [10], [11]. Так, А. Е. Супрун также понимает процесс превращения числительных в самостоятельную часть речи «как результат проникновения в повседневную жизнь, в практическое мышление сравнительно абстрактного, близкого к математически отвлеченному представлению о числе и количестве» [10: 5]. Исследователь более детально рассматривает тезис об унификации форм нумеративов под воздействием математического языка, указывая на преобразования, происходящие в их лексическом составе. Поскольку строгая системность, терминологическая точность математического знания, в сущности, не приемлют нескольких имен для выражения одного числового понятия, это, как отмечает исследователь, приводит к постепенному устранению из состава счетных слов «всяких несистемных элементов» [10: 9], существование которых в языке на более ранних стадиях его развития объясняется исследователем одновременным использованием нескольких систем счета, а также особых счетных слов для обозначения количеств различных предметов (например, льна, пушнины, яиц, сжатого хлеба и др.). При этом, как показывает история развития нумеративов в разных языках, некоторые из этих специализированных «синонимов» типа русского *сорок* (традиционная этимология «мешок (сорочка) с 40 беличьими шкурками») или датского *ol* '80' (букв. «шесть», на который можно было надеть 80 корюшек) могли вытеснять из языка принятые и даже более системные образования (ср. слав. *четыредесятъ*), становясь в свою очередь выразителями абстрактного числового значения, применимыми в дальнейшем для обозначения любых счетных множеств. Таким образом, в итоге преобразований лексического состава системная характеристика числительных в различных языках становится «идеальной математически настолько, насколько вообще возможна математическая идеальность в языке» [10: 30]: каждому элементу определяется здесь свое строгое место и, как правило, единственно возможное наименование.

Несмотря на то что некоторые дублетные формы нумеративов могут сохраняться в употреблении и сегодня (см. в русском: *двое*, *треть*, *четверть*, *полтора*), однако в строго математическом, отвлеченно-числовом значении они за редким исключением не используются. При этом мы видим, что даже те синонимы-числительные, употребление которых допускается словарями и грамматиками, в реальности могут не находить применения в речевой практике. Так, в русском языке, несмотря на верхний предел собирательных нумеративов, доходящий до *десятеро* включительно, говорить о сколько-нибудь широком использовании этой лексемы, а также

предшествующих форм *восьмеро* и *девятеро* не приходится.

Действие той же тенденции к устранению внутрисистемной синонимии проявляется, как указывает А. Е. Супрун, и в образовании сложных и составных числительных, из числа которых вытесняются менее продуктивные номинации: например, в русском языке ими становятся наименования типа *три пять* '15', *30 мужь без треи* '27', *полпята ста* '450', *пятнадцать сотен* и под., отмечаемые в письменных памятниках. В итоге унификации лексической системы нумеративов в ряду составных наименований устанавливаются единообразные варианты, соответствующие естественному математическому порядку следования разрядов (тысячи – сотни – десятки – единицы).

Дополним, однако, что судьба числительных, например, в немецком языке показывает, что в процессе выбора таких вариантов вполне могла сохраниться и модель, не соответствующая цифровому выражению числа, – например с единицами, ставящимися впереди десятков, – см. нем. *fünfundzwanzig*, букв. пять и двадцать (в данном случае еще и с союзным соединением разрядов). То же самое, кстати сказать, мы наблюдаем и в наименованиях числительных второго десятка во многих европейских языках, и в частности в русском (*тринадцать* из *три на десять*, букв. 3 + 10). Приведенные факты ярко иллюстрируют замечание А. А. Реформатского о том, что «понимание числа и числовых связей преломляется в языке весьма своеобразно и не прямо передает достигнутое мышлением, а подчиняет эти мыслительные данные языковому строю. <...> Как везде и всегда, в языках – это идиоматично и зависит от общего характера грамматического строя языка» [9: 400].

Между тем столкновение математической логики и традиции употребления в сфере образования числительных может приводить, как это ни парадоксально, и к сосуществованию нескольких вариантов номинаций, причем, что интересно, даже в тех языках, где их развитие, казалось бы, достигло, по оценке В. В. Виноградова, своего предела. Это касается, например, французских нумеративов, обозначающих десятки. Известно, что наименования чисел 70 и 90 в современном французском литературном языке образуются по типу составных числительных (на основе операции сложения, а не умножения 7×10) – *soixante-dix*, букв. '60 + 10', *quatre-vingt-dix*, букв. '80 + 10', при этом наименование 80 значит здесь букв. «четыре двадцатки», а не ожидаемое «восемь десятков». Своеобразная операция сложения работает к тому же и при образовании названий промежуточных чисел с этими десятками. Однако при этом в некоторых франкоговорящих странах (Бельгии, Швейцарии, некоторых странах Африки), а также в ряде провинций самой Франции, помимо «классической», находит применение «упрощенная» система наименований десятков,

образуемых на основе более привычного для европейцев умножения на десять: *septante*, *huitante* (*octante*), *nonante*.

В прошлом эти образования также функционировали во французском языке, однако еще в XVII веке в процессе его нормализации официально была поддержана вегизимальная (двадцатеричная) система их наименования [7: 70–71]. Как видим, вытеснения этих лексем из активного употребления так и не произошло окончательно. Можем предположить, что в странах, где кроме французского активно используются и другие языки, а также исторически в меньшей степени могла проявлять себя традиция, поддерживавшая двадцатеричный счет, наименования десятков с единичными принципами конструирования получили такое распространение неслучайно: они оказались действительно «понятнее» и «проще», поскольку органично вписались в общеевропейскую систему образования этих нумеративов.

Добавим, что описанное явление хотя в определенном смысле и корректирует наше представление о синонимии в системе числительных в пределах отдельно взятого языка, но вместе с тем не отменяет отмеченной А. Е. Супруном тенденции к ее устранению: как показывают приведенные факты, носители французского языка, проживающие на разных территориях, в конечном итоге отдают предпочтение в своей речевой практике только одному типу из двух вариантов номинаций.

Продолжая рассматривать вопросы семантики числительных и ее трансформации под воздействием абстрактно-математического мышления, нельзя также не отметить тенденцию к постепенному очищению их значения от всех дополнительных коннотаций – смысловых (например, оттенков предметности, «меры»), стилистических, эмоционально-экспрессивных. Для того чтобы выражать собственно математическое значение чисел, их названия неизбежно должны были освободиться от каких бы то ни было семантико-стилистических «примесей».

В современном языке, как отмечает А. А. Реформатский, «числительные хотя и выражают понятия, но понятия особые <...> Специальные понятия чисел резко отличаются от обычных понятий, так как последние могут иметь и два, и три существенных признака, тогда как понятия чисел (3, 5, 7 и т. д.) ограничиваются одним существенным признаком (выделено мною. – И. Д.), выделяющим данное число из ряда других» [8: 77]. По словам Л. Д. Чесноковой, этот существенный признак проявляется, если сравнивать значения отдельных числительных, в «различии качественных характеристик их количеств» [11: 30].

Однако такое понимание семантики нумеративов – это достижение сравнительно поздних эпох, результат длительного ее развития, которое, в свою очередь, было тесно связано с эволюцией математического мышления. По всей видимости, фундаментальное значение в этом

процессе имело проявление у счетных слов собственно числового значения, способствовавшее постепенной утрате ими предметности. По словам А. Е. Супруна, «количество могло пониматься и реально понималось как предмет, поскольку оно в сущности устанавливало связь между числом и предметом, но значение числа едва ли допускало опредмечивание» [10: 18]. Убедительной кажется и мысль исследователя о том, что в процессе семантической эволюции счетных слов и их дальнейшей консолидации на основе общности значения, по всей видимости, исключительную роль сыграли будущие сложные и составные числительные, так как предметность, семантика «меры», о которой пишет С. М. Глускина [3], изначально проявлялись в них намного слабее, чем в простых, и потому они быстрее ее утрачивали.

Вместе с тем, по мнению исследователей, значение числительных даже на заре их зарождения не было сугубо предметным, отражало синкретизм «предметности» и собственно числового / счетного значения. Данные этимологии самых различных языков свидетельствуют о том, что лексический состав наименований чисел изначально формируется не как совокупность отдельных элементов, а как счетный текст в его двух основных разновидностях – количественной и порядковой, между которыми осуществляется тесное взаимодействие, поскольку они представляют в языке две взаимосвязанные линии счета [6].

Наличие у древних количественных слов числового значения, их функционирование в составе счетной последовательности, кроме того, подтверждается морфонологическим сближением ее соседних членов, которое мы наблюдаем, например, в древнеславянском языке [6: 18]. В сфере простых нумеративов наиболее выразительно это взаимовлияние отразилось в облике числительного *девять* (этимологически **neve*, ср., например, нем. *neun*), которое под воздействием лексемы *десять* изменило начальное *ne-* на *de-*. Рифмическое сближение обнаруживается в славянских языках и при рассмотрении этимологии таких лексических пар, как *пять* – *шесть* и *семь* – *восемь* (подробнее см. [6]).

Действие этой тенденции, безусловно, проявляет себя и в настоящем: приведем лишь один выразительный пример, демонстрирующий более знакомые современнику «деформации» числительных в составе счетного текста под влиянием соседних счетных слов, – это употребления типа **пятьдесят*, **семьдесят*, где конечный мягкий согласный явно отражает стремление к подобию с другими нумеративами, прежде всего названиями десятков, этимологически имевшими в составе финали мягкий звук *t* (*пять*, *пятнадцать*, *тридцать*).

Важно отметить, что именно счетной функцией, собственно числовым употреблением нумеративов, как убедительно доказывает О. Ф. Жолотов, были инициированы и обусловлены те формальные изменения, которые характеризуют

особенности этих слов как части речи в современном русском языке. Так, современные русские числительные утратили категории рода и числа, кроме того, факты ненормативного употребления отчетливо свидетельствуют об утрате ими словоизменения, однако в составе счетной последовательности, по наблюдениям исследователя, эти качества были присущи данным словам еще в праславянский период. Например, в счетном ряду всегда использовались только прямопадежные формы; в независимом, собственно числовом значении употреблялась только лексема *один* (в противоречии с приименным, количественным, употреблением *один дом, одна лампа, одно окно, одни дети*) и лексема *два* (ср. *два сына / две дочери*). В составе счетного ряда составные наименования (*один на десяте, пять десятъ*) уже в праславянском языке функционируют, скорее, как синтаксические слова-«сращения», а не сочетания слов: «...первоначальным толчком к универбации являлась синтаксическая связанность, идиоматичность составных числительных и аналогия со стороны простых числительных в *одном счетном ряду* (выделено мною. — И. Д.)» [6: 48]. То же замечание О. Ф. Жолобов делает и о наименованиях десятков. А это значит, что в функционально «сильных», счетных формах, выражавших значение числа, процесс лексикализации нумеративов происходил намного раньше и быстрее и они в свою очередь стимулировали соответствующие преобразования в номинациях с количественным значением.

Оппозицию прямых и косвенных падежей в грамматике числительных, проницательно подмеченную еще В. В. Виноградовым, О. Ф. Жолобов также интерпретирует как частное проявление противопоставления счетной и количественной функций числительных. В особенности эта тенденция проявляет себя в синтаксисе нумеративов, когда в прямопадежных формах они управляют существительными, а в косвенных падежах согласуются с ними. Отражение ее также находим в противопоставлении прямых и косвенных падежей в словоизменении отдельных групп числительных (*сто, сорок, девяносто / полтора, полторы*), где данная оппозиция проявляет себя нормативно. В ненормированной же, в особенности устной, речи это явление распространено гораздо шире (*с пятидесяти / пятидесятью учениками, с семи человеками* и под.). Различия в функциях прямых и косвенных падежей также способствовали, как отмечает О. Ф. Жолобов, закреплению в склонении сложных наименований десятков двух основ — твердой для прямых падежей (*пятьдесят*) и мягкой для косвенных (*пятидесяти*).

Наблюдения над грамматикой современных русских числительных в собственно числовой функции проводила и Л. Д. Чеснокова [11], пришедшая к схожим выводам относительно счетных лексем со значением «число»: по ее мнению, именно в этом употреблении они испытывают

существенные сдвиги в своих грамматических свойствах. Она также указывает на то, что в счетном ряду *один* и *два* теряют свои родовые формы, а слова типа *тысяча, миллион, миллиард*, если они сами не являются предметом пересчета (*пять миллионов*), выступают только в формах единственного числа. Все это приводит исследовательницу к заключению о том, что процесс становления числительных как части речи, направляемый их использованием прежде всего в счетной функции, должен привести к появлению у них «совершенно специфических функциональных грамматических особенностей» [11: 99].

Между тем, как уже говорилось, будучи основным источником формальных метаморфоз в сфере числительных, влияние абстрактно-математического мышления проявляется в каждом отдельно взятом языке достаточно опосредованно, находясь в зависимости от специфики исходного языкового материала и особенностей грамматического строя системы в целом, а также традиции употребления, языкового вкуса, нормализаторской практики и других факторов, в совокупности определяющих и направляющих эволюцию этих лексем. Попробуем привести несколько примеров взаимодействия данных аспектов в судьбе русских числительных, взяв за основу их функционирование в XVIII веке.

Как показывает материал ранее проведенного нами исследования [5], язык математики, чрезвычайно расширивший свои функции и область общественного применения в указанную эпоху, а также активная нормализаторская деятельность, способствовавшая в продолжение всего столетия сокращению и функционально-стилистической дифференциации вариантных форм, приводят к утверждению в лексическом составе числительных стилистически нейтральных наименований *один, семь, восемь*, вытесняя на периферию употребления, но все же не вытеснив полностью в связи с традициями книжной речи и потребностями высокого «штиля» таких коннотативных параллелей, как *единъ, седмь, осмь*.

Наряду с приведенными стилистически окрашенными вариантами до конца столетия в литературно-письменном языке XVIII века регистрируется употребление таких архаичных форм порядковых номинаций, как *Карл второй надесятъ, четвертое надесятъ сентября*, функционирующих в хронологических формулах, наименованиях лиц высокого социального статуса и некоторых других устойчивых микроконтекстах. Традиция использования этих дублетных наименований наряду с формами порядковых числительных второго десятка современного типа устойчиво проявляет себя, как свидетельствуют полученные данные, на протяжении всего рассматриваемого периода. Нормативно она узаконивается в грамматике М. В. Ломоносова.

Поиск единой, математически универсальной модели для образования дробных числительных ведет к закреплению в речевой практике

XVIII века конструкций современного типа на основе соединения количественного и порядкового числительного типа *две пятые доли, три седьмая части* (пока без субстантивации порядкового компонента), при этом такие их синонимы, как *шестина, седьмина, полпята, полдвенадцата*, оказываются маловостребованными уже в первой половине рассматриваемого периода.

В сопоставлении с донациональной эпохой существенно преобразуется в XVIII веке лексемный состав собирательных числительных. Особенно распространенные в предшествующий период в обиходно-деловой письменности, они теоретически получают возможность выражения практически любого числового понятия, в том числе сложного (*осмеронадцатеро человек*) и составного (*сорок девятеры миткали, 140ры рукавицы борановые*), дублируя в этом качестве количественные нумеративы. Это обстоятельство объясняет, почему в языке Нового времени использование собирательных «синонимов» свыше десяти резко сокращается уже в начале столетия.

Что касается многокомпонентных единиц с числовым значением, то продолжающееся углубление математической абстракции обуславливает дальнейшее нарастание их лексикализации. Так, этот процесс активно проявляется в функционировании наименований сотен. Несмотря на то что графически они за исключением номинативов еще оформляются только как словосочетания, тем не менее факты словоизменения и синтагматики этих числительных в применном употреблении свидетельствуют об их постепенной универбации не только в прямых, но и в косвенных падежах, где вместо управления нередко мы можем наблюдать согласование с субстантивами, а также склонение числительных типа '500'–'900' в обеих частях сложения (см. второй пример): *къ двумъ стамъ душамъ; въ седми стамъ тысячахъ человекъ*.

В сфере разноразрядных многокомпонентных наименований влияние математического языка проявляется в окончательном вытеснении из речевой практики непродуктивных моделей на основе союзного соединения разрядов (*на сто и десять миль*), также уходя на периферию употребления предложно-падежные сочетания с составными числительными с повтором предлога перед каждым разрядом (*съ пятьдесятъ съ восемь верстъ*).

Учитывая отмечаемую исследователями тенденцию к грамматическому противопоставлению числительных в их собственно числовой и количественной функциях, о чем шла речь выше, нельзя не остановить внимание и на оценке их морфолого-синтаксических особенностей в XVIII веке. Как показывает наш материал, в формальном отношении числительные в этот период одновременно представляют как инновации современного типа, так и – хотя в значительно меньшей степени – глубокую архаику. Так, тенденция к установлению оппозиции прямых

и косвенных падежей в словоизменении количественно-именных сочетаний, наметившаяся еще в донациональную эпоху, только частично проявляет себя в сочетаниях с собирательными нумеративами, где продолжают функционировать в номинативах конструкции с согласованием (*двои сани*). Тот же тип связи не вытесняется до конца и в прямопадежных формах сочетаний с числительными *два, три, четыре* (наряду с более употребительными *два удара, четыре корабля* встречаются тем не менее *два термины, четыре времена* и под.).

Как в аспекте синтагматики, так и в словоизменении архаичные грамматические черты сохраняют в XVIII веке лексемы '40', '90', '100', десубстантивацию которых в этот период нельзя признать законченной. Можно предположить, что традиционные формы этих числительных могли поддерживаться в литературном языке второй половины столетия в некоторой степени искусственно, поскольку в грамматике А. А. Барсова конструкции типа *сорока часами, сто* (именно так!) *часами* сопровождаются пометой «по простому употреблению».

Если обобщить приведенные выше факты, то в первую очередь необходимо отметить, что система числительных в эпоху формирования национального русского литературного языка еще существенно отличается от ее современного представления, несмотря на то что процесс формального обособления этой группы слов находит отражение во всем ее составе. Несомненно, что свою роль в его торможении сыграла происходящая в продолжение всего столетия нормализация языка, ориентированная на литературную традицию, одобряющую некоторые архаичные и высокие «славянские» формы. Это оказало сдерживающее влияние на проявление у нумеративов инноваций, ранее не закрепившихся в письменной практике. По нашим наблюдениям, сложнее всего «новое» утверждается в сфере наиболее востребованных в речи лексем.

В сущности, в схожих условиях развивается и система современных русских числительных, именная природа которых настойчиво поддерживается нормой, несмотря на все факты «простого» их употребления. Вместе с тем глубинно эта природа, по-видимому, еще продолжает в них реально заявлять о себе, поскольку даже в живой речи простые и сложные числительные в применном функционировании в основном продолжают склоняться «правильно» либо демонстрируют стремление к установлению двухпадежной системы словоизменения, отражающей разграничение их двух основных функций.

Пойдут ли русские числительные по пути полной утраты склонения или их «онаречивание» не выйдет за пределы собственно математического употребления этих лексем? Данные вопросы были и продолжают оставаться предметом научных дискуссий. Некоторые типологические параллели, приведенные нами выше, показывают, что взаимодействие абстрактно-математического мышления

и грамматики может иметь результатом сугубо специфические для каждого языка формальные трансформации, зависящие от многих факторов. Несмотря на последнее замечание, нельзя не признать, что универсальное смысловое содержание нумеративов, связанное с выражением математической идеи числа, делает их судьбы в самых разных языках во многом схожими. Эволюционируя семантически, системы числительных в своем лексическом составе последовательно унифицируются по принципу терминологических систем. Унификация пронизывает и сферу их образова-

ния, в которой устанавливаются единые деривационные модели со строго определенной синтаксической последовательностью компонентов. Счетный ряд, в котором числительные выступают в своей основной функции, представляет собой особый текст, элементы которого оказывают смысловое и формальное влияние друг на друга. В процессе нумерализации числительные стремятся к максимальному обособлению от других частей речи, как правило, именных, что проявляется как в их семантике, так и в грамматических свойствах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / Под ред Г. А. Золотовой. Изд. 4-е. М.: Русский язык, 2001. 720 с.
2. Глускина С. М. К истории составных числительных в русском языке // Ученые записки Псковского государственного педагогического института. 1955. Вып. III. С. 111–134.
3. Глускина С. М. Сложные числительные в истории русского языка // Ученые записки Псковского государственного педагогического института. 1961. Вып. VII. С. 5–34.
4. Дровникова Л. Н. История числительных в русском языке. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1985. 112 с.
5. Дьячкова И. Н. Числительные в русском литературном языке XVIII века / Под ред. проф. Л. В. Савельевой. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 236 с.
6. Историческая грамматика древнерусского языка / Под ред. В. Б. Крысько. Т. IV: Числительные / О. Ф. Жолобов. М.: Азбуковник, 2006. 360 с.
7. Лиходкина И. А. Особенности обозначения числительных во франкоязычных странах // Приволжский научный вестник. 2016. № 4 (56). С. 70–72.
8. Реформатский А. А. Введение в языковедение / Под ред. В. А. Виноградова. М.: Аспект-пресс, 1996. 536 с.
9. Реформатский А. А. Число и грамматика // Вопросы грамматики: Сборник статей к 75-летию академика И. И. Мещанинова. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1960. С. 384–400.
10. Супрун А. Е. Славянские числительные. Становление числительных как особой части речи. Минск: Изд-во БГУ, 1969. 232 с.
11. Чеснокова Л. Д. Имя числительное в современном русском языке. Семантика. Грамматика. Функции. Ростов-на-Дону: Гефест, 1997. 291 с.

Dyachkova I. N., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)

THE EVOLUTION OF MATHEMATICAL MENTALITY AND FORMATION OF NUMERALS AS PARTS OF SPEECH

The influence of mathematical mentality is defined by researchers as a main source of grammatical evolution of numerals. The universal semantic content of numeratives, associated with the expression of the mathematical idea of a number, really makes their purpose for a variety of languages rather similar. Evolving semantically, the systems of numerals in their lexical composition are unified by the principle of terminological systems. The unifying thread and the scope of their formation strictly define the syntax sequence of its components. The numerals are set in a single derivational model. The counting series, in which numerals perform their main function, is a special text. Its elements have a semantic and formal influence on each other. In the process of numeration, numerals tend to the state of maximum isolation from the other parts of speech, usually the nominal ones. The tendency is manifested both in their semantic and grammatical characteristics. At the same time, the examples given in the article, show that the interaction of abstract-mathematical mentality and grammar can result in formal transformations. Such transformations are strictly specific for each language and depend on a number of factors.

Key words: numerals, part of speech, mathematical mentality, evolution, semantics, grammatical features

REFERENCES

1. Vinogradov V. V. Russian language (Grammatical teaching about the word). Edited by G. A. Zolotova. Ed. 4-e. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 2001. 720 p. (In Russ.)
2. Gluskina S. M. The history of the compound numerals in the Russian language. *Uchenye zapiski Pskovskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*. 1955. Issue III. P. 111–134. (In Russ.)
3. Gluskina S. M. Complex numbers in the history of the Russian language. *Uchenye zapiski Pskovskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*. 1961. Issue VII. P. 5–34. (In Russ.)
4. Drovnikova L. N. The history of numerals in the Russian language. Vladivostok, DGU Publ., 1985. 112 p. (In Russ.)
5. Dyachkova I. N. Numerals in the Russian literary language of the XVIII century. Edited by prof. L. V. Savel'eva. Petrozavodsk, PetrGU Publ., 2010. 236 p. (In Russ.)
6. Historical grammar of the Old Russian language. Ed. by V. B. Krysko. Vol. IV: Numeral. O. F. Zholobov. Moscow, Azbukovnik Publ., 2006. 360 p. (In Russ.)
7. Likhodkina I. A. Specific features of numeric notation in francophone countries. *Privolzhskiy nauchnyy vestnik*. 2016. № 4 (56). P. 70–72. (In Russ.)
8. Reformat'skiy A. A. Introduction to linguistics. Ed. by V. A. Vinogradov. Moscow, Aspect-press Publ., 1996. 536 p. (In Russ.)
9. Reformat'skiy A. A. Numbers and grammar. *Voprosy grammatiki: Sbornik statey k 75-letiyu akademika I. I. Meshchaninova*. Moscow, Leningrad, Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1960. P. 384–400. (In Russ.)
10. Suprun A. E. Slavic numerals. Formation of numerals as special parts of speech. Minsk, BGU Publ., 1969. 232 p. (In Russ.)
11. Chesnokova L. D. Numerals in the modern Russian language: Semantics. Grammar. Functions. Rostov-on-don, Gefest Publ., 1997. 291 p. (In Russ.)

Поступила в редакцию 13.11.2017

МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА МАТЫЦИНАкандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков, Липецкий государственный технический университет (Липецк, Российская Федерация)
lipmarina@gmail.com

АНАЛИЗ АРГУМЕНТАЦИОННЫХ СХЕМ (ТОПОСОВ) В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

На материале ведущего британского издания Daily Mail исследуются семантические особенности политического дискурса иммиграции накануне референдума о членстве Великобритании в ЕС 2016 года, выявляется и анализируется стратегия аргументации, формирующая дискурс иммиграции, иллюстрируется ее использование на конкретных примерах. Актуальность такого исследования обусловлена ростом научного интереса к феноменологии политического дискурса и различных его аспектов. В результате анализа публикаций выявлены основные аргументационные схемы / топосы, применяемые изданием для аргументации своей позиции, обоснована необходимость дальнейшего изучения дискурса иммиграции, развития дискурс-анализа с целью повышения эффективности речевого взаимодействия в политической сфере. Проведенное исследование топосов и идентификация их семантических индикаторов позволили выявить характерные особенности политического дискурса иммиграции, а также определить степень эффективности политической риторики. Для целостного понимания природы, причин и последствий иммиграции необходим системный анализ всех дискурсивных стратегий в широком социальном контексте.

Ключевые слова: дискурс иммиграции, иммигранты, топос, дискурс-анализ, аргументация, дискурсивная стратегия

ВВЕДЕНИЕ

В политическом дискурсе стратегия аргументации играет одну из главенствующих ролей, так как по своей природе дискурс носит аргументационный характер. В сущности, большая часть политических речей представляет собой попытку спикера убедить аудиторию разделить его взгляды и представления, обеспечить ему наибольшую поддержку и тем самым легитимировать его решения. Таким образом, анализ аргументационных схем / топосов, используемых политическими акторами, является одним из важных элементов методологии дискурс-анализа. Такой анализ позволяет определить, что придает авторитетность аргументам спикера, реконструировать типичные схемы обоснования принятия тех или иных политических решений и оценить их эффективность [3]. Стратегия аргументации направлена на установление сближения позиций автора и читателя, причем газета также является политическим актором, реализующим данную стратегию.

В статье на материале примеров политического дискурса, заимствованных из ведущей британской газеты Daily Mail накануне референдума о членстве Великобритании в ЕС 2016 года, проводится исследование стратегии аргументации, которая используется авторами статей в целях трансформации дискурса иммиграции в дискурс предрассудков и ксенофобии в означенный временной период. В этот период в ряде британских печатных СМИ четко прослеживается всплеск

ксенофобии и расизма, достигшего своего пика непосредственно перед референдумом. Такой всплеск вызван, главным образом, внутривнутриполитической борьбой между сторонниками и противниками выхода Великобритании из Евросоюза, где вопрос об иммиграции стал главным на повестке дня, а также ростом недоверия британского населения к институтам государственной власти. Это свидетельствует о том, что предметная область иммиграции становится частью общего социокультурного и языкового контекста общества, которая находит свое отражение в различных языковых процессах [2].

Аргументирование, по мнению Водак и Райзигл, является средством преднамеренного воздействия на ментальную сферу адресата, направленного на изменение отношения или действий адресата в отношении чего-либо [10: 69–70]. В теории аргументации топосы означают аргументационные схемы, которые связаны с содержанием основания и соединяют аргумент или аргументы с выводом. В этой функции они обосновывают переход от аргумента или аргументов к выводам [5: 194]. Топос выступает тем мостиком, который обуславливает причинно-следственную связь между основанием и выводом для сближения взглядов автора и читателя. Топосы во многом определяют степень успешности политической риторики, поскольку с их помощью спикер может регулировать степень своего влияния на аудиторию. В свою очередь ошибки в использовании топосов могут привести к ослаблению аргументации [3].

Далее остановимся подробнее на некоторых типовых статьях в аспекте применения речевой стратегии аргументации, которая непосредственно связана с моделированием общественного сознания, представлений и оценок дискурса иммиграции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Недвусмысленный заголовок в Daily Mail от 22 июня 2016 года гласит:

Undecided? Read this essential guide giving 20 reasons why you should choose to leave¹ (*Еще не определились? Прочтите это важное руководство, в котором приведены 20 причин, чтобы проголосовать за выход*).

Автор приводит «20 веских причин» выхода из ЕС, пытаясь убедить читателей в том, что сторонники сохранения членства не в состоянии привести ни одного аргумента за пребывание Великобритании в ЕС. Авторы статьи пытаются заставить читателя согласиться с данным утверждением, не прибегая к рациональному и логическому осмыслению [10: 70]. В статье используется целый ряд оценочных слов для усиления аргументации и дискредитации тех, кто выступает за сохранение членства Великобритании в ЕС:

Parliament is *powerless*, under EU treaties.

(Согласно положениям ЕС, Парламент *не обладает реальной властью*).

David Cameron has *never hit his target* to reduce net migration to the tens of thousands.

(Дэвид Кэмерон *не в состоянии выполнить свое обещание* снизить чистую миграцию до десятков тысяч).

Jihadists *are exploiting* the Union's open borders and the migrant crisis to *sneak* into the continent.

(Джихадисты *используют в своих интересах* открытые границы Евросоюза и миграционный кризис, чтобы проникнуть на континент).

Freedom of movement rules has led to *intense pressures* for anyone trying to get a school place for their child and with five more nations – Turkey, Serbia, Montenegro, Albania and Macedonia – hoping to join the EU, this will only get worse.

(Свобода передвижения *значительно усложнила* поступление детей в школы. Теперь это затронуло еще пять стран – Турцию, Сербию, Черногорию, Албанию и Македонию, которые надеются присоединиться к ЕС. Если это случится, то ситуация только ухудшится).

EU membership *has devastated our fishing industry*.

(Членство в ЕС *привело к разорению нашей рыбодобывающей отрасли*).

Статья не приводит никаких доказательств того, что свободное передвижение людей оказывает чрезмерную нагрузку на систему жилищного обеспечения, образования, здравоохранения, что негативно сказывается на увеличении темпов экономического развития страны. Однако даже такой аргументации достаточно для формирования коллективного мнения [6: 5].

Daily Mail искусно использует топос истории, ссылаясь на редакционную статью в газете от

1973 года, когда Великобритания присоединилась к тогдашнему Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС). Топос отсылает в прошлое, когда был проведен референдум о членстве страны в ЕЭС. Хотя позиция автора не выражена явно, длинная аргументация убеждает читателей в том, что Великобритания связывала большие ожидания с вступлением в ЕЭС, но теперь ей следовало бы извлечь урок из этого и двигаться к независимой Великобритании, о чем несколько раз упоминается в статье.

Топос истории – аргументационная схема, в которой в качестве обоснования выступает ссылка на историческое прошлое, исторические уроки. Исторический опыт в этом случае может репрезентироваться как в негативном, так и в позитивном свете. Аргументация, таким образом, строится по следующей формуле: поскольку история учит нас, что такое-то действие имеет такие-то последствия, то возникает необходимость совершить это действие или, напротив, воздержаться от него [1].

The UK has lost three-quarters of the cases it's challenged since 1973. This makes a mockery of the idea that the UK's Supreme Court is supreme.

(Великобритания проиграла три четверти дел, которые были обжалованы с 1973 года. Это превращает в насмешку саму мысль о том, что Верховный Суд Великобритании является верховным).

The EU's farm subsidy system meant that prior to 2003, the so-called Single Farm Payment was linked to how much farmers produced – leading to massive over-production and waste.

(Система субсидирования фермерских хозяйств ЕС привела к тому, что до 2003 года так называемые единовременные выплаты зависели от количества произведенной фермерами продукции, что привело к массовому перепроизводству и убыткам).

Помимо топоса истории статья использует топос угрозы национальным интересам, с помощью которого осуществляются убеждение адресата в правильности предъявленного аргумента и сближение позиций автора и читателя по данному вопросу:

Thanks to *Brussels diktats*, some of the EU's most evil killers, rapists and drug-dealers have been allowed to remain here – because their right to free movement has been *put ahead of keeping the British public safe*.

(Из-за *диктата Брюсселя* некоторым из самых ужасных убийц ЕС, насильников и наркоторговцев было позволено остаться, потому что их право на свободное передвижение было *поставлено выше безопасности британского общества*).

В статье Daily Mail от 5 июня «With just 17 days to go, ANOTHER poll puts Brexit in front as fears about immigration dent David Cameron's hopes of keeping the UK inside the European Union»² (*Остается всего 17 дней, еще один опрос показал, что страх перед иммиграцией берет верх над желанием Дэвида Кэмерона остаться в Евросоюзе*,

подталкивая избирателей к Брекситу) мы также сталкиваемся с употреблением топоса угрозы национальным интересам. Индикаторами топоса выступают выражения, которые воспринимаются обществом как опасность:

At the moment, if we grow the size of a city like Newcastle every year, we will see our population rise inexorably to 70 or perhaps 80 million.

(Если население страны будет ежегодно увеличиваться в размерах, равных населению Ньюкасла, то оно увеличится до 70, а может быть, и до 80 миллионов человек).

Топос угрозы / опасности является устоявшимся представлением о том, что если нечто составляет угрозу существованию, оно должно быть предотвращено или уничтожено. В данном случае аргументация строится по схеме: поскольку существует такая-то опасность, необходимо совершить такое-то действие [9: 75]. Данный топос – одна из самых распространенных аргументационных схем, используемых политиками всего мира для легитимации принимаемых ими решений. Дискурс накануне референдума не составил исключения и, по результатам нашего исследования, в выступлениях политических противников является одним из наиболее часто применяемых. Его широкое использование объясняется тем, что он обращается к чувству страха. Как отмечают некоторые авторы, страх является одной из самых эффективных эмоций, способной убедить человека принять любые лишения, лишь бы избежать «большого зла» [8: 789]. Таким образом, спикер может добиться легитимации наиболее сложных или малопопулярных решений, влекущих существенные социально-экономические затраты для общества, если сумеет убедить аудиторию, что предпринимаемые им действия направлены на предотвращение угрозы их жизни. Базовыми семантическими индикаторами данного топоса являются такие существительные, как угроза, опасность, риск [1]. Согласно топосу угроз, то, что угрожает, должно быть устранено и предотвращено.

В статье утверждается, что напряженность в Европе намного выше, чем когда-либо со времен Второй мировой войны, причем наблюдается рост крайне правых и крайне левых взглядов на всем континенте. Статья как бы говорит: пребывание в Евросоюзе есть угроза национальным интересам, вызванная иммиграцией, и эта ситуация привела к возрождению крайне левых и крайне правых сил, которые считаются неприемлемыми в Великобритании, всегда придерживающейся умеренных взглядов. Аргументация усиливается за счет использования метафор пути / движения [7: 60], чтобы помочь общественности в полной мере концептуализировать угрозу, создаваемую runaway immigration (неконтролируемой иммиграцией):

...net migration to Britain from the EU is running at record breaking highs.

(...рост населения Великобритании за счет мигрантов из ЕС бьет все рекорды).

Краски сгущаются, когда Дэвид Кэмерон обвиняется во «лжи». Он обещал избирателям сократить численность прибывающих в страну иностранцев до 100 тысяч человек в год. Однако обещание Кэмерона оказалось невыполнимым, и, как утверждают его оппоненты-евроскептики, оно не может быть выполнено до тех пор, пока Великобритания будет сохранять свое членство в Евросоюзе:

Vote Leave campaigner Michael Gove today said leaving the EU would allow the Government to reduce net migration to the tens of thousands, a promise made by David Cameron which he has been *unable to keep*.

(Активист движения за выход Майкл Гоув сегодня заявил, что выход из ЕС позволит правительству сократить миграционный прирост до десятков тысяч человек – это то, что было обещано, но не сделано Дэвидом Кэмероном).

...if you tell people that you can cut immigration to the tens of thousands and we all stand on that manifesto... If you then are *unable legally to deliver what you have pledged because of our membership of the EU it is frustrating and people want an answer*.

(...если вы говорите, что можете сократить иммиграцию до десятков тысяч человек, все мы придерживаемся заданного курса... если вы оказываетесь не в состоянии выполнить то, что обещали по причине нашего членства в ЕС, то это раздражает, и люди хотят получить ответ).

Дальнейшее расширение топоса угрозы национальным интересам, а именно «чрезмерная нагрузка на систему жилищного обеспечения, образование, здравоохранение», делает членство Великобритании в ЕС еще более зловещим:

...at the moment uncontrolled numbers coming in here only *depress wages* for working people. It's also the case that they *put a considerable strain* on public services, on housing, on the National Health Service, and of course on school places.

(...в настоящий момент неконтролируемые потоки иммигрантов приводят к снижению заработной платы работающего населения. Кроме того, они значительно нагружают системы коммунального, жилищного обеспечения, здравоохранения и школьного образования).

Здесь мы наблюдаем формирование дискурса предрассудков и ксенофобии через топос угроз, иначе зачем иммигранты представляются как «опасность для страны» и «бремя для коммунальных служб»?

...if we grow the size of a city like Newcastle every year... where are they going to build the homes? How will it *work for schools and hospitals* and all the public services that will be *affected*?

(Если население страны будет ежегодно увеличиваться в размерах, равных населению Ньюкасла... где они собираются строить свои дома? Как это скажется на работе школ, больниц и всех остальных служб, на которые ляжет эта нагрузка?)

Контакт с читателем устанавливается путем изображения иммигрантов козлами отпущения [10]. Статья обращается к коллективной памяти, напоминая о величии страны:

We grew very successfully in the 1980s and the 1990s with immigration in the tens of thousands.

(Мы очень успешно развивались в 1980-х и 1990-х годах, когда количество иммигрантов исчислялось десятками тысяч).

Усиление аргументации достигается путем неоднократного повторения [4: 2] *depress wages, a considerable strain, uncontrolled numbers, runaway immigration, breaking highs*. Нам снова напоминают о том, что было написано в начале статьи: иммиграция оказывает огромную нагрузку на социальную систему, следовательно, необходимо установить жесткий контроль за тем, сколько людей въезжает и нуждается ли Великобритания в иммигрантах:

We wouldn't have left the European Union by the end of this Parliament but we would in due course bring it down to tens of thousands.

(Мы бы не вышли из Европейского Союза до окончания срока действий полномочий Парламента, если бы смогли постепенно снизить поток иммигрантов до десятков тысяч).

Статья достигает своего пика, объединяя все возможные варианты развития событий и делая упор на патриотизм, коллективную память [4] и демонизацию Брюсселя и ЕС:

We all thought we were going to get reform of the EU as a result of the renegotiation, to adjust our immigration policy so that we would be able to cope with that, we didn't get a sausage, we didn't get anything in that renegotiation, we weren't able to change our migration.

(Все мы считали, что можно реформировать ЕС переговорным путем, внести коррективы в нашу политику в области иммиграции и решить все проблемы, однако в результате оказалось, что ничего мы не получим в результате этих реформ и решить проблемы иммиграции не удастся).

Усиление аргументов за счет использования топоса угроз, повторения формирует у читателя установки нетерпимости к иммигрантам, что дает им все основания голосовать за Брексит. Взаимосвязь между языком, используемым Daily Mail, и последующим возможным усилением напряженности может вылиться в преступления, совершаемые на почве ненависти. Такой сценарий представляется вполне очевидным. Говоря исключительно о неконтролируемой иммиграции, Daily Mail в своей попытке нагнетания страха перед иммигрантами и воздействия на читателя часто приводит, на наш взгляд, необоснованные аргументы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из проанализированного материала можно сделать вывод о том, что Daily Mail использует стратегию аргументации с целью формирования дискурса ксенофобии и предрассудков по отношению к иммигрантам во время агитационных кампаний накануне референдума 2016 года о членстве Великобритании в ЕС. Издание пытается заставить читателя согласиться с утверждением, не прибегая к рациональному и логическому осмыслению, что резкое сокращение численности иммигрантов снизит издержки системы социального обеспечения страны, испытывающей огромную нагрузку из-за их неуправляемого наплыва. Использование топоса истории и топоса угрозы национальным интересам формирует у читателя установки нетерпимости к иммигрантам. Риторика Daily Mail эмоциональна, при этом издание не выдвигает конструктивных аргументов против членства Великобритании в ЕС. Анализ топосов, идентификация их семантических индикаторов представляются весьма продуктивными для исследований политического дискурса иммиграции, дают возможность выявить характерные особенности исследуемого дискурса, а также определить степень эффективности политической риторики.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Undecided? Read this essential guide giving 20 reasons why you should choose to leave. Available at: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3653526/Undecided-Read-essential-guide-giving-20-reasons-choose-leave.html#ixzz51FxrOiN1> (accessed 25.12.2017).

² With just 17 days to go, ANOTHER poll puts Brexit in front as fears about immigration dent David Cameron's hopes of keeping the UK inside the European Union. Available at: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3626149/With-just-17-days-poll-puts-Brexit-fears-immigration-dent-David-Cameron-s-hopes-keeping-UK-inside-European-Union.html#ixzz51bHbdso7> (accessed 25.12.2017).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Захарова О. В. Идентификация и анализ топосов (аргументационных схем) в политическом дискурсе // Политическая наука. 2016. № 3. С. 217–235.
- Матыцина М. С. Дискурс миграционного кризиса в материалах глобальных СМИ // Филологос. 2017. № 34 (3). С. 69–76.
- Eemeren F. H. van, Houtlosser P., Henkemans A. F. Argumentative indicators in discourse: A pragmatic-dialectical study. Dordrecht: Springer, 2007. 234 p.
- Heer H., Wodak R. Introduction: Collective Memory, National Narratives and the Politics of the Past / H. Heer, W. Manoschek, A. Pollak, and R. Wodak (Eds.) // The Discursive Construction of History: Remembering the Wehrmacht's War of Annihilation. Basingstoke: Palgrave, 2008. P. 1–17.

5. Kienpointner M. Alltagslogik: Struktur und Funktion von Argumentationsmustern Text. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-holzboog, 1992. 447 p.
6. Keith W., Lundberg C. The Essential Guide to Rhetoric. Boston: Bedford/St. Martin's, 2008. 83 p.
7. Musolff A. Metaphor and Political Discourse: Analogical Reasoning in Debates about Europe. Basingstoke: Palgrave, 2004. 211 p.
8. Reyes A. Strategies of legitimization in political discourse: From words to actions // Discourse and society. Barcelona, 2011. Vol. 22. P. 781–807.
9. Wodak R. The discourse-historical approach / R. Wodak, M. Meyer (Eds.) // Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage, 2011. P. 63–93.
10. Wodak R., Reisigl M. Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and Antisemitism. London: Routledge, 2001. 312 p.

Matytsina M. S., Lipetsk State Technical University (Lipetsk, Russian Federation)

THE ANALYSIS OF ARGUMENTATIVE SCHEMES (TOPOI) IN POLITICAL DISCOURSE

The article accounts for the semantic features of the political immigration discourse on the eve of the referendum on the UK membership in the EU in 2016. The author reveals and analyzes the argumentation strategy that forms the discourse of immigration and illustrates its use on specific examples. The relevance of such investigation is conditioned by the growing scientific interest toward phenomenology of political discourse and its various aspects. The analysis of publications helped to reveal the main argumentation schemes / topoi used by the newspaper for the argumentation of its position and validate the necessity for further research of the discourse on immigration. The need for further discourse analysis development aimed at the increase of the speech interaction effectiveness in the political sphere is substantiated. The study of topoi and the identification of their semantic indicators made it possible to identify characteristic features of the political discourse on immigration, as well as to determine the degree of political rhetoric's effectiveness. Holistic understanding of the nature, causes and consequences of immigration requires a systematic analysis of all discursive strategies in a broad social context.

Key words: immigration discourse, immigrants, topoi, discourse analysis, argumentation, discursive strategy

REFERENCES

1. Zakharova O. V. Identification and analysis of topoi (argumentation schemes) in political discourse. *Political science*. 2016. No 3. P. 217–235. (In Russ.).
2. Matytsina M. S. Discourse of the migration crisis in global media. *Philologos*. 2017. No 34 (3). P. 69–76. (In Russ.).
3. Eemeren F. H. van, Houtlosser P., Henkemans A. F. Argumentative indicators in discourse: A pragmatic-dialectical study. Dordrecht: Springer, 2007. 234 p.
4. Heer H., Wodak R. Introduction: Collective Memory, National Narratives and Politics of the Past / H. Heer, W. Manoschek, A. Pollak, and R. Wodak (Eds.) // The Discursive Construction of History: Remembering the Wehrmacht's War of Annihilation. Basingstoke: Palgrave, 2008. P. 1–17.
5. Kienpointner M. Alltagslogik: Struktur und Funktion von Argumentationsmustern Text. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-holzboog, 1992. 447 p.
6. Keith W., Lundberg C. The Essential Guide to Rhetoric. Boston: Bedford/St. Martin's, 2008. 83 p.
7. Musolff A. Metaphor and Political Discourse: Analogical Reasoning in Debates about Europe. Basingstoke: Palgrave, 2004. 211 p.
8. Reyes A. Strategies of legitimization in political discourse: From words to actions // Discourse and society. Barcelona, 2011. Vol. 22. P. 781–807.
9. Wodak R. The discourse-historical approach / R. Wodak, M. Meyer (Eds.) // Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage, 2011. P. 63–93.
10. Wodak R., Reisigl M. Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and Antisemitism. London: Routledge, 2001. 312 p.

Поступила в редакцию 26.12.2017

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЩЕГЛОВА

кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры медиалингвистики Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
e.scheglova@spbu.ru

ЛЕКСИКА ОЧЕРКОВ ПУТЕШЕСТВИЯ И. А. ГОНЧАРОВА «ФРЕГАТ “ПАЛЛАДА”» КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕКСТА

Статья посвящена рассмотрению жанрово-стилистических особенностей путевых очерков И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» в аспекте текстообразующей роли лексики. Научная новизна определяется тем, что впервые подробно и всестороннему рассмотрению подвергается лексика очерков путешествия И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» с точки зрения ее роли в языковой композиции текста, в формировании его жанрового своеобразия. Актуальность обусловлена необходимостью изучения языка отдельного произведения сразу для нескольких научных направлений: истории русского литературного языка; лексикографической практики; теории изучения языка художественной литературы; изучения языковых особенностей жанра путешествия; исследования языка и стиля писателя. Цель исследования заключается в выявлении лексико-фразеологических особенностей языка очерков путешествия И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”», обуславливающих жанрово-стилевое своеобразие произведения. Было установлено, что реализация текстообразующей функции происходит различно: линейно или нелинейно. К лексике, реализующей данную функцию линейно, были отнесены этнонимы, топонимы, наименования экзотических реалий, региональная лексика, морская лексика. Лексические единицы данных групп равномерно распределены по тексту и образуют своеобразный словесный «стержень» произведения. К лексике, реализующей данную функцию нелинейно, были отнесены ключевые слова тех фрагментов очерков, которые содержат концептуальное видение автором картины мира (в частности лексические единицы, относящиеся к смысловому центру, образуемому этнонимом *англичане* и оттопонимическим прилагательным *английский*). Лексика обоих типов составляет жанрово-стилистическое своеобразие очерков и в то же время отражает два этапа познания – наблюдение (фиксация объектов действительности, оказавшихся в поле зрения путешественника) и осмысление (обработка полученных фактов, их классификация, получение выводов).

Ключевые слова: путевые очерки, И. А. Гончаров, лексика, текстообразующая функция, историческая стилистика, историческая лексикология

ВВЕДЕНИЕ

Жанры претерпевают изменения с течением времени, каждая эпоха выражает себя через свои жанровые формы [10]. Для 2-й половины XIX века одной из таких определяющих эпоху жанровых форм можно назвать путевые очерки: многими исследователями подчеркивается рост интереса к описаниям путешествий в указанный период, это время отмечено появлением большого количества путевых (и географических) очерков на страницах журналов [14], [15]. Такой интерес к путевой литературе обусловлен целым рядом факторов: ростом национального самосознания, возрастающей ролью научного знания, интересом к достижениям науки образованного общества и др. (о влиянии указанных факторов на языковые процессы в XIX веке см.: [2], [16]). Одним из ключевых текстов этого периода можно считать очерки путешествия И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”».

Главным свойством любого текста является его цельность [11], обеспечивающаяся единством языковых единиц («единство целого» [3]). Как кажется, впервые мысль о роли лексики в организуемом начале текста появляется в трудах В. В. Виноградова, который говорил о необходимости изучения словесной композиции текста как динамической системы, стремящейся к саморазвертыванию. При этом он оперировал понятием «словесные ряды»: композиция текста понимается им как система «динамического разворачивания словесных рядов в сложном единстве целого» [1: 49]. Продолжил разработку учения о словесных рядах А. И. Горшков. Он уточняет определение понятия словесных рядов и определяет их как последовательность «представленных в тексте языковых единиц разных ярусов, объединенных композиционными функциями и соотносительностью с определенной сферой языковой коммуникации или определенным приемом языкового выражения» [5: 18]. Таким

образом, определение «словесные» следует понимать в расширенном значении:

...это не только собственно словарные, лексические ряды, но и ряды всех других языковых единиц и единств, то есть ряды, которые могут вместиться в слова и составиться из слов [4: 22].

Продолжение в области композиционной поэтики текста эти идеи нашли в работах Л. Г. Кайды, в частности, считывание подтекста очевидным образом связано с расшифровкой смысла композиционно значимых лексических единиц [7], [8].

Как замечает Л. Р. Дускаева, объективация путешествия в тексте предполагает демонстрацию: а) того, что обнаруживается в поле зрения путешественника, – свойства пространства наблюдения: географических объектов на воде и на суше, природных явлений, феноменов культурного наследия, традиций той или иной местности, в том числе фольклорных, кулинарных, – этап познания, наблюдение; б) того, каким образом путешественник узнает о пространстве, как он перемещается по территории, как он наблюдает, к каким выводам приходит в результате наблюдений, – этап осмысления полученного на этапе наблюдения опыта [6]. Это определяет разный характер лексических групп, организующих текст путевых очерков (или словесных рядов, в понимании В. В. Виноградова). Часть из них представляет собой лексические группы, достаточно однородные по своей семантике, без внутренней иерархии единиц, составляющих группу. При этом словесный материал, составляющий такие словесные ряды, равномерно распределен по тексту, образуя своеобразный стержень (каркас) для текста произведения. В других словесных рядах единицы разнородны по составу и семантике, можно выделить ключевые слова с большим количеством парадигматических и синтагматических связей с другими лексемами. В этом случае в таких словесных рядах сосредоточено основное концептуальное содержание произведения.

Эту мысль подтверждает обращение к другому научному направлению изучения текста как единства – лингвистике текста, в частности к современным исследованиям его композиционного устройства. Так, Ю. М. Калинина выделяет две группы компонентов композиции – структурные и идейно-содержательные:

К первой относятся языковые явления, имеющие непосредственное отношение к структурной организации текста, воспроизводящие хронологию событий и описывающие окружающую героев обстановку (элементы фактического и идиостилистического типов), ко второй – лингвистические явления, несущие большую смысловую нагрузку, выражающие идейную позицию персонажей и автора (элементы идейного и индивидуализированного типов) [9: 6].

Имея в виду лексическую композицию текста, очевидно, следует вести речь о разных способах

реализации текстообразующей функции лексики. В одном случае, когда словесные ряды составляют лексический стержень произведения, текстообразующая функция реализуется линейно; в другом, когда словесные ряды непосредственно связаны с идейным содержанием произведения, – нелинейно. Очевидно, что в случае путевых очерков группы реализации текстообразующей функции непосредственным образом связан с двумя этапами познания – наблюдение и осмысление.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА

Анализ лексики, выполняющей текстообразующую функцию в путевых очерках И. А. Гончарова, происходил в несколько этапов. На первом был проведен системный анализ лексического состава очерков, определен состав лексических средств, использованных автором. На втором этапе были выделены группы лексики, составляющие жанрово-стилевое своеобразие произведения, была рассмотрена их роль в организации словесной композиции текста. На третьем этапе осуществлялся анализ особенностей употребления и функционирования выделенных групп. Указанные выше различия между группами (линейная и нелинейная реализация текстообразующей функции) повлекли за собой разницу в исследовательском подходе. Группы лексики, линейно реализующей текстообразующую функцию, рассматривались без обращения к анализу употреблений конкретных лексических единиц, были выделены общие особенности употребления и функционирования, характерные для групп. В случае лексики, нелинейно реализующей текстообразующую функцию, основной исследовательской задачей стало подробное описание семантики указанных слов, что потребовало тщательного изучения контекстов употребления, системы парадигматических и синтагматических отношений.

ЛИНЕЙНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЛЕКСИКИ

К группам, линейно реализующим текстообразующую функцию, были отнесены: наименования экзотических реалий, региональная лексика, морская лексика, топонимы и этнонимы. Указанные группы объединены в очерках сходством функционирования и особенностей употребления. Система авторских толкований и пояснений к лексическим единицам этих групп подтверждает их особую роль в очерках «Фрегата». Лексика становится своеобразным стержнем текстов очерков, линейно реализуя текстообразующую функцию.

Топонимы

Факт наличия групп топонимов на страницах очерков, посвященных описанию кругосветного

путешествия, кажется вполне очевидным и предсказуемым. Они служат для обозначения положения корабля, членов экспедиции и самого автора на карте мира в настоящий момент, в прошедшем и в будущем, немаловажную роль при этом играет дейктическая лексика:

Я писал вам, как я был очарован островом (и вином тоже) Мадеры. Потом, когда она скрылась у нас из вида, я немного разочаровался (101)!; Я под экватором, под отвесными лучами солнца, на меже Индии и Китая, в царстве вечного, беспощадно-знойного лета (253); Это были еще самые южные острова, крайние пределы, только островки и скалы Японского архипелага, носившие европейские и свои имена. Тут были Юлия, Клара, далее Якуносима, Номосима, Ивосима, потом пошли саки: Тагасаки, Коссаки, Нагасаки. Сима значит остров, саки – мыс, или наоборот, не помню (314) и т. п.

Автор с большим вниманием относится к точности употребления топонимов, в случае наличия нескольких вариативных и эквивалентных названий одного географического объекта они приводятся автором для читателя. Особенно это характерно в тех случаях, когда наряду с оригинальным названием существуют одно или несколько наименований на европейских языках, которые стали следствием колонизаторской деятельности: «“Ферст-ривер по-английски или Эршт-ривер (первая река) по-голландски”, – отвечал Вандик» (177). В данном случае приводятся два иноязычных названия – английское и голландское – а затем русский перевод. Подобное употребление имеет историко-культурные предпосылки, поскольку территория Капской колонии в Африке была изначально под голландским колониальным владычеством, которое впоследствии сменилось английским. В ряде случаев, когда Гончаров приводит оригинальное экзотическое название, а не данное европейцами, автором дается своего рода «этимологическая» справка, ведутся размышления о «правильном» названии: «Корейцы называют себя, или страну свою, Чаосин или Чаусин, а название Корея принадлежит одной из их старинных династий» (617). Характерно также суждение автора о вариативности географического наименования *Нагасаки* – *Нангасаки* (возникшей вследствие особенностей нормы произношения в японском языке):

А! вот и Нагасаки. Отчего ж не Нангасаки? оттого, что настоящее название – Нагасаки, а буква н прибавляется так, для шика, так же как и другие буквы к некоторым словам (320).

Этнонимы

Сходную роль в обозначении географии странствия играют этнонимы. Названия различных племен и народов часто даются в бытовых контекстах описания повседневной жизни, нередко оказываясь в одном ряду с другими лексическими единицами, являющимися названиями племен и их представителей:

Вот стройный красивый негр финго, или мозамбик, тащит тюк на плечах; это «кули» – наемный слуга, носильщик, бегающий на посылках; вот другой, из племени зулу, а чаще готтентот, на козлах ловко управляет парой лошадей, запряженных в кабриолет. Там третий, бичуан, ведет верховую лошадь; четвертый метет улицу, поднимая столбом красно-желтую пыль (140).

Наименования экзотических реалий

Группа наименований экзотических реалий была выделена по тематическому признаку на основании единства употребления и функционирования ее в очерках с опорой на позицию автора относительно данной лексики. При этом под обозначением «реалия» понимается достаточно широкий круг объектов и явлений окружающей действительности, воспринимаемых автором в качестве неотъемлемой части экзотической реальности, в которой он пребывает во время странствия – это и названия природных явлений и объектов (растения: *какисы*, *мандарины*, *пампл-мусс*; животные: *бабуаны*, *шримсы* и *пронсы*), и собственно культурные реалии (*норимоны*, *саки*, *джонка* и т. п.). Наименования экзотических реалий являются важной составной частью повествования о землях, которые посещает И. А. Гончаров вместе с командой «Паллады» во время плавания, создавая необходимый историко-культурный контекст:

...я гулял между европейскими домами и китайскими хижинами, между кораблями и джонками, между христианскими церквами и кумирнями (603).

Контрастным является перечисление пар однородных членов: каждая пара образована двумя существительными с конкретно-предметным значением, обозначающими реалии, принадлежащие к разным культурным кодам (*дом* – *хижина*, *корабль* – *джонка*, *церкви* – *кумирни*).

Подобно этнонимам и топонимам, наименования экзотических реалий отражают географию путешествия, поскольку их состав меняется вместе со сменой места пребывания. Характерной особенностью их употребления является наличие метаязыковых элементов, служащих объяснить для читателя, какой объект или явление скрывается за неизвестным или малоизвестным наименованием:

...карри, подаваемое ежедневно везде, начиная с мыса Доброй Надежды до Китая, особенно в Индии; это говядина или другое мясо, иногда курица, дичь, наконец, даже раки и особенно шримсы, изрезанные мелкими кусочками и сваренные с едким соусом, который составляется из десяти или более индийских перцев. Мало того, к этому подают еще какую-то особую, чуть не ядовитую сою, от которой блюдо и получило свое название. Как необходимая принадлежность к нему подается особо варенный в одной воде рис (143).

Как видно из приведенного примера, такие метатекстовые вставки носят сугубо личностный характер и, как правило, насыщены речевыми средствами, выражающими авторскую оценку

увиденного объекта или явления действительности. Так, из этого описания следует, что *карри* – это блюдо как таковое, при этом название его возводится к названию некой «*чуть не ядовитой*» сои. Между тем слово фиксируется в словарях иностранных слов XIX и начала XX века и имеет в них значение ‘приправа; способ ее приготовления’ и ‘ост-индская пряность, приготовляемая из истолченных листьев различных растений’²; ‘индийский способ приготовления сильно пикантной приправы из едких пряностей к рыбе, мясу, овощам’³. Таким образом, наблюдается расхождение словарного значения слова и его реального употребления. По всей вероятности, оно возникло из-за метонимического переноса названия пряности на название блюда, невольно производимого автором.

Для пояснения незнакомого читателю слова Гончаров часто прибегает к сравнению неизвестного с известным, происходит обращение к культурной памяти читателя:

...еще были тут называемые по-английски кастард-эпплз (custard apples) плоды, похожие видом и на грушу, и на яблоко, с белым мясом, с черными семенами (98).

Региональная лексика

Региональная лексика присутствует в завершающих «сибирских» очерках «Фрегата “Паллада”». При этом ее функционирование и особенности употребления во многом схожи с лексикой, относящейся к наименованиям экзотических реалий. Гончаров с необыкновенным вниманием относится к региональным словам, которые узнает непосредственно из живой беседы с местными жителями, предоставляя читателям богатый материал: наполненное иронией описание поварни (*поварня* – ‘нежилая постройка для отдыха и ночлега проезжающих’⁴):

Следовательно, это quasi-поварня. Если хотите сделать ее настоящей поварней, то привезите с собой повара, да кстати уж и провизии, а иногда и дров, где лесу нет; не забудьте взять и огня (686),

образность глагола *куржеветь*:

...только брови, ресницы, усы, а у кого есть и борода, куржевеют, то есть покрываются льдом, так что брови срastaются с ресницами, усы с бородой и образуют на лице ледяное забрало (698) и т. д.

Подобно наименованиям экзотических реалий в «экзотических» очерках «Фрегата», в «сибирских» (описывается возвращение в Петербург) региональная лексика сопровождается авторскими пояснениями, в данном случае часто формально являющимися составной частью диалога с местными жителями. Так, можно обнаружить целую серию толкований слов в следующем диалоге, при этом одно пояснение ведет за собой другое:

«Лучше всего вам кухлянку купить, особенно двойную...» – сказал другой, вслушавшийся в наш разговор. «Что это такое кухлянка?» – спросил я. «Это такая ру-

башка из оленьей шкуры, шерстью вверх. А если купите двойную, то есть и снизу такая же шерсть, так никакой шубы не надо». «Нет, это тяжело надевать, – перебил кто-то, – в двойной кухлянке не поворотишься. А вы лучше под одинакую кухлянку купите пыжиковое пальто, – вот и все». – «Что это такое пыжиковое пальто?» – «Это пальто из шкур молодых оленей». «Всего лучше купить вам борловую доху, – заговорил четвертый, – тогда вам ровно ничего не надо». – «Что это такое борловая доха?» – спросил я. «Это шкура с дикого козла, пушистая, теплая, мягкая: в ней никакой мороз не проберет» (674).

Далее аналогичным образом поясняются слова *торбасы*, *чижи*, *наледы*, *хиус*, *отемнеть* – всего в этом диалоге толкованием снабжаются 8 лексических единиц. Наименования *дохы* и *наледы* поясняются автором и при последующих употреблениях. За малоизвестными номинациями стоят как хорошо знакомые читателю объекты (*ушкан* – ‘заяц’⁵, *морда* – ‘мережи’⁶), так и неизвестные (*щеки* – ‘крутой берег на реке Лена’⁷, *хиус* – ‘северный ветер’⁸).

Морская лексика

Морская лексика не просто создает колорит морской жизни (в этом случае не требовалась бы такая степень насыщенности очерков морскими словами), но выполняет просветительскую функцию (как и в случае наименований экзотических реалий и региональной лексики). Автор знакомит читателя с особенностями морской жизни и с тем языком, который эти особенности отражает. Следует отметить, что автором приводятся как собственно морские термины: *бизань-мачта*, *грот-мачта*, *фок-мачта*, *марселя*, *парусная система*, *фок-брам-стенга*, *икот* и др., так и профессиональная лексика: *китолов* (китоловное судно), *купец* (судно, перевозящее предметы торговли) и др. Приводятся автором и лексические единицы, услышанные им в речи простых матросов: *асеи* (англичане), *братишка* (обращение друг к другу), *фордак* (фордевинд).

Слова, относящиеся к морской лексике, И. А. Гончаров также сопровождает пояснениями, призванными приблизить явление, непонятное для далекого от морской жизни читателя:

Начались шквалы: шквалы – это когда вы сидите на даче, ничего не подозревая, с открытыми окнами, вдруг на балкон ваш налетает вихрь, врывается с пылью в окна, бьет стекла, валит горшки с цветами, хлопает ставнями, когда бросаются, по обыкновению поздно, затворять окна, убирать цветы, а между тем дождь успел хлынуть на мебель, на паркет. Теперь это повторяется здесь каждые полчаса (67).

Реалия морской жизни, непривычная несведущему в морском деле читателю (слово *шквал* дается в Словаре 1847 года с пометой *мор.* и определяется как ‘сильный и внезапный порыв ветра на море’⁹), переводится в ситуацию, знакомую всем; «эффект приближения» поддерживается и прямым обращением И. А. Гончарова к своему

читателю (*вы сидите на даче*), что также является характерной особенностью очерков.

НЕЛИНЕЙНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЛЕКСИКИ

При анализе слов, связанных с концептуальным содержанием очерков, было установлено, что этнонимы, топонимы и оттопонимические прилагательные, употребляемые в большинстве случаев в прямых номинативных значениях, могут в ряде случаев образовывать словесные ряды, в которых лексические единицы, составляющие их, демонстрируют изменения в семантике, приобретение новых историко-культурных коннотативных смыслов. Слова этих словесных рядов образуют идейную ткань очерков, то есть реализуют текстообразующую функцию нелинейно. Наиболее показательным в этом отношении по ряду экстралингвистических причин оказался словесный ряд с этнонимом *англичане* и прилагательным *английский*. С ним связаны такие ключевые слова, как *комфорт*, *удобство*, *цивилизация*, *торговля*, *практичность* и др.

В семантике этих слов особый смысл приобретает культурно-исторический компонент значения. Так, в значении слова *комфорт* актуализированной в различных контекстах произведения оказывается сема 'новизна', например:

Нетрудно догадаться, что хозяева (гостиницы в Капской колонии в Африке. — *Е. Щ.*) были англичане: мебель новая, все свежо и везде признаки комфорта (177).

Это было обусловлено господствующим положением Англии в мировой экономике — именно эта страна владела тогда самыми передовыми технологиями производства товаров потребления (как они были бы названы сейчас). Именно поэтому комфортный образ жизни подразумевал использование всех этих изобретений в повседневной жизни:

После того, покойный сознанием, что он (англичанин. — *Е. Щ.*) прожил день по всем удобствам, что видел много замечательного, что у него есть дюк (Веллингтон. — *Е. Щ.*) и паровые цыплята, что он выгодно продал на бирже партию бумажных одеял, а в парламенте — свой голос, он садится обедать и, встав из-за стола не совсем твердо, вешает к шкафу и бюро неотпираемые замки, снимает с себя машинкой сапоги, заводит будильник и ложится спать (61).

С изменением положения Великобритании на мировой арене изменился и характер употребления слова *комфорт* в применении к самим жителям Туманного Альбиона. Это можно заметить по культурологическим описаниям Англии XX и XXI веков, в которых об английском комфорте пишется как о пристрастии англичан к старым, привычным вещам, иногда переходящим из поколения в поколение (близко к понятиям «патриархальность», «патриархальный» у Гончарова) [12], [13].

Другой интересный пример составляет соотношение объема понятий «торговля» и «жизнь», которые выражаются соответствующими лексическими единицами в следующих контекстах, создающих образ английской столицы:

Зато какая жизнь и деятельность кипит на этой забойной улице, управляемая меркуриевым жезлом! (39–40).

Между тем общее впечатление, какое производит наружный вид Лондона, с циркуляцией народонаселения, странно: там до двух миллионов жителей, центр всемирной торговли, а чего бы вы думали не заметно? — жизни, то есть ее бурного брожения. Торговля видна, а жизни нет: или вы должны заключить, что здесь торговля есть жизнь, как оно и есть в самом деле (48).

В первом контексте торговля является силой, управляющей жизнью: понятие «торговля» метафорически выражено через фразеологизм *меркуриев жезл*. Во втором контексте лексемы, выражающие понятия «жизнь» и «торговля», в значительной мере представлены как контекстуальные антонимы (противопоставлены как часть и целое). Более того, они являются понятиями, которые носят взаимоисключающий характер. Противопоставление этих двух понятий выражено в данном контексте противопоставлением атрибутов жизни в Лондоне и жизни в обобщенном смысле: *циркуляция народонаселения — бурное брожение жизни*. Слово *циркуляция* в словаре Даля имеет следующую дефиницию: «обращение, вращение»; важна представленная в словаре сочетаемость — *циркуляция крови*¹⁰. Таким образом, значение имеет терминологический характер; важен регулярный, механистический характер движения. К слову *брожение* Словарь 1847 года дает общее значение: «то же, что бродня», то есть «ходьба взад и вперед», а также специальное: «В химии: внутреннее движение, происходящее в органических телах и в жидкостях, содержащих в себе органические части, помощью заквасы: винное, спиртовое движение»¹¹. Ю. С. Сорокин отмечает, что сочетания типа *брожение ума* обычны уже в 1830-х годах XIX века, при этом очевидны и часто акцентированы в контекстах ассоциации с химическими представлениями [16: 410]. В данном контексте важна нерегулярность, стихийность, хаотичность такого рода движения. Заключительная часть рассуждения И. А. Гончарова должна убедить читателя, что понятия равны по объему. Лексема *торговля* приобретает значение «всеобъемлющая деятельность, нивелирующая все остальные проявления жизни».

ВЫВОДЫ

Анализ лексического материала очерков путешествия И. А. Гончарова «Фрегат «Паллада»» продемонстрировал особую роль лексических средств в их текстовой организации. Были обнаружены группы (словесные ряды), составные единицы которых образуют словесную композицию

очерков, тем самым выполняя текстообразующую функцию.

При этом характер реализации текстообразующей функции лексики разных словесных рядов различен. Одни из них образованы единицами, которые равномерно распределяются по тексту, скрепляют его и делают единым. Тем самым единицы этих групп становятся своеобразной лексической осью, вокруг которой строится произведение. Это наименования экзотических реалий, региональная лексика, морская лексика, топонимы и этнонимы. Среди особенностей употребления лексических единиц указанных групп прежде всего обращает на себя внимание сеть метаязыковых элементов (авторских толкований и пояснений), которыми снабжает И. А. Гончаров значительную часть лексических единиц, относящихся к перечисленным группам (об особенностях пояснения малоизвестных и неизвестных номинаций у И. А. Гончарова – [17]). Другой характерной особенностью употребления лексических единиц этих групп является ввод нескольких вариантов наименования или эквивалентных наименований. Сам факт внимания автора к этой лексике говорит о роли ее в очерках. Характер ее употребления демонстрирует

в процессе познания мира стадию наблюдения. Такие лексические единицы реализуют текстообразующую функцию линейно.

Другие словесные ряды образованы единицами, являющимися ключевыми для тех фрагментов очерков, в которых автор излагает свое концептуальное видение мира. Отсюда чрезвычайная семантическая нагруженность таких слов, выражающаяся в наличии многообразных оттенков значения, а также историко-культурных и оценочных коннотативных смыслов. Они отражают следующую ступень в процессе познания – осмысление. Слова этого словесного ряда образуют идейную ткань очерков, то есть реализуют текстообразующую функцию нелинейно.

Таким образом, очерки путешествия И. А. Гончарова – как, безусловно, один из самых лучших образцов путевых очерков своего времени – отражают все противоречие в восприятии человеком мира и себя в этом мире, характерное для рассматриваемого периода с его бурными процессами, происходящими во всех сферах жизни общества. Именно этим обусловлена необходимость изучения слова как носителя исторической и культурной памяти.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Очерки путешествия в двух томах // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 2. СПб.: Наука, 1997. 746 с. Ссылки на это издание даются в круглых скобках с указанием страницы.
- ² Михельсон А. Д. Объяснение 25 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней. Составил по словарям: Гейзе, Бешереля, Брокгауза, Александра, Рейфа и других. М.: Издание книгопродавца А. И. Манухина, 1865. 718 с.
- ³ Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Материалы для лексической разработки заимствованных слов в русской литературной речи. СПб.: Издание книгопродавца В. И. Губинского, Типография С. Н. Худекова, 1894. 1004 с.
- ⁴ Словарь русских народных говоров. Л.; СПб.: Наука, 1965–<...>.
- ⁵ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1989–1991.
- ⁶ Словарь русских народных говоров.
- ⁷ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка.
- ⁸ Там же.
- ⁹ Словарь Церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением императорской Академии наук. СПб.: В типографии Императорской Академии Наук, 1847.
- ¹⁰ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка.
- ¹¹ Словарь Церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением императорской Академии наук.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 1971. 239 с.
2. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. М.: Высшая школа, 1982. 529 с.
3. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М.: Голитиздат, 1959. 656 с.
4. Горшков А. И. Русский язык в русской словесности. М.: Лит. ин-т им. А. М. Горького, 2015. 248 с.
5. Горшков А. И. Теория и история русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1984. 319 с.
6. Дускаева Л. Р. Познавательно-просветительская медиаречь: репрезентация коммуникативного сценария трэвел-медиатеков // Научные ведомости Белгородского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2014. № 26 (197). Вып. 24. С. 85–92.
7. Кайда Л. Г. Композиционная поэтика текста. М.: Флинта, 2011. 408 с.
8. Кайда Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. Алгоритмы обратной связи. М.: Флинта, 2013. 152 с.
9. Калинина Ю. М. Композиция художественного текста как средство выражения его антропоцентричности: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Елец, 2009. 24 с.
10. Коньков В. И. Жанр как речевая структура // Русская речь в средствах массовой информации. Речевые системы и речевые структуры: Коллективная монография. СПб.: Высш. шк. журн. и массовых коммуникаций, 2011. С. 198–209.
11. Николаева Т. М. Текст // Языкознание: Большой лингвистический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. С. 507.
12. Овчинников В. С. Сакура и дуб: Впечатления и размышления и японцах и англичанах. Минск: Народная асвета, 1987. 430 с.

13. Паксман Дж. Англия. Портрет народа. СПб.: Амфора, 2009. 380 с.
14. Покатилова Н. В. «Фрегат “Паллада”» в творческой эволюции И. А. Гончарова 1840–1850х годов: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1989. 207 с.
15. Проценко Е. Г. Литература путешествий в России в 1840–1850-е годы: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1984. 216 с.
16. Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка в 30–90-е годы XIX века. М.; Л.: Наука, 1965. 565 с.
17. Щеглова Е. А. Неизвестные и малоизвестные номинации в очерках путешествия И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. 2014. № 5 (142). С. 47–50.

Shcheglova E. A., Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation)

LEXICON OF TRAVEL SKETCHES “FRIGATE PALLADA” BY I. A. GONCHAROV AS A STRUCTURAL ELEMENT OF THE TEXT

The article deals with the genre and stylistic features of the travel sketches “Frigate Pallada” by I. A. Goncharov in light of the text-forming role of the lexicon. The lexicon analysis of the text helped to reveal a set of lexical group units organizing the text. It was determined that the implementation of the text-forming function occurs differently: in a linear or a nonlinear way. The vocabulary that implements this function in a linear way includes ethnonyms, toponyms, names of exotic realities, the regional language and marine language. The lexical units of these groups are evenly distributed around the text and form the lexical “core” of the work. The vocabulary that implements this function in a nonlinear way includes key words of those parts of sketches that contain the author’s conceptual vision of the world’s image (in particular the lexical units relating to the semantic center formed by the ethnonym *British* and an adjective *English*). The vocabulary of both types makes up the sketches’ genre and its stylistic originality and reflects two stages of knowledge – observation (fixation of the real objects, which have appeared in sight of the traveler) and reflection (processing of the received facts, their classification, and conclusion making).

Key words: travel sketches, I. A. Goncharov, vocabulary, a text-forming function, historical stylistics, historical lexicology

REFERENCES

1. Vinogradov V. V. On the theory of fiction language. Moscow, 1971. 239 p. (In Russ.)
2. Vinogradov V. V. Sketches on the history of the Russian literary language of the 17th–19th centuries. Moscow, 1982. 529 p. (In Russ.)
3. Vinogradov V. V. On the language of fiction. Moscow, 1959. 656 p. (In Russ.)
4. Gorshkov A. I. Russian in Russian literature. Moscow, 2015. 248 p. (In Russ.)
5. Gorshkov A. I. Theory and history of the Russian literary language. Moscow, 1984. 319 p. (In Russ.)
6. Duskaeva L. R. Cognitive-educational media-speech: representation of the travel media texts’ communicative scenario. *Science vedomosti of Belgorod University*. 2014. No 26 (197). Issue 24. P. 85–92. (In Russ.)
7. Kayda L. G. Composite poetics of the text. Moscow, 2011. 408 p. (In Russ.)
8. Kayda L. G. Composite analysis of the art text: Theory. Methodology. Feedback algorithms. Moscow, 2013. 152 p. (In Russ.)
9. Kalinina Y. M. Composition of the literary text as a means of expressing its anthropoid-centrism. PhD thesis. Elets, 2009. 24 p. (In Russ.)
10. Kon’kov V. I. Genre as a speech structure. *Russian speech in the media. Speech systems and voice structures: a collective monograph*. St. Petersburg, 2011. P. 198–209. (In Russ.)
11. Nikolaeva T. M. Text. *Linguistics. Great linguistic dictionary*. Moscow, 2000. P. 507. (In Russ.)
12. Ovchinnikov Vs. Sakura and oak: impressions and reflections on Japanese and English. Minsk, 1987. 430 p. (In Russ.)
13. Paxman J. England. Portrait of the people. St. Petersburg, 2009. 380 p. (In Russ.)
14. Pokatilova N. V. “Frigate Pallada” in I. A. Goncharov’s creative evolution in 1840–1850. PhD Diss. Leningrad, 1989. 207 p. (In Russ.)
15. Protsenko E. G. Travel literature in Russia in 1840–1850 years. PhD Diss. Leningrad, 1984. 216 p. (In Russ.)
16. Sorokin Y. S. Vocabulary development of Russian literary language in the 30–90s years of the 19th century. Moscow, Leningrad, 1965. 565 p. (In Russ.)
17. Shcheglova E. A. Unknown and little known nominations in I. A. Goncharov’s travel sketches “Frigate Pallada”. *Proceedings of Petrozavodsk State University*. 2014. No 5 (142). Social Sciences and Humanities. P. 47–50. (In Russ.)

Поступила в редакцию 22.01.2018

ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ГРИВА

аспирант кафедры русского языка и речевой культуры
Высшей школы социально-гуманитарных наук и между-
народной коммуникации, Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М. В. Ломоносова (Архан-
гельск, Российская Федерация)
griwa.olga@yandex.ru

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ VS МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ-СВЯЗКИ

Исследование посвящено проблеме тождества и различия служебных компонентов составного (аналитического) сказуемого: вспомогательного глагола и глагола-связки. Объект исследования ограничен теми компонентами именного и глагольного сказуемого, которые выражают модальные значения. Интерес к данным единицам определяется тем, что их модальные значения, с одной стороны, находятся в разных плоскостях, но, с другой стороны, во взаимодействии они создают комбинированное модальное значение предиката. Впервые ставится вопрос о сочетаемости данных модальных единиц, в том числе о наличии запретов на сочетаемость модальных значений. Как показывает исследование, рассматриваемые служебные компоненты отличаются позиционно, функционально и семантически. В статье описаны некоторые ограничения на их сочетаемость, в частности, типовое значение предложения, семантика подлежащего (личный – неличный деятель), конкретное модальное значение вспомогательного глагола и связки.

Ключевые слова: модальность, трансформации, модификации, модальные глаголы, модальные связки

Категории модальности посвящено значительное количество научных работ отечественных и зарубежных лингвистов (например, П. Адамец [1], В. В. Виноградов [3], И. Е. Герасименко [4], Г. А. Золотова [5], П. А. Лекант [6], И. Г. Осетров [7], А. М. Пешковский [8], Д. В. Руднев [11], С. Н. Цейтлин [14], С. В. Чернова [15] и др.), однако исследовательский интерес к ней не ослабевает. Многоаспектность модальности предполагает различные определения данной категории, детальное описание типов модальных значений, а также языковых средств, с помощью которых она эксплицируется. Тот факт, что модальные характеристики предложения весьма разнородны и зачастую «наслаиваются друг на друга» [1: 88], неоднократно отмечался в исследованиях. Сказуемое, как центральный компонент предложения, являющийся носителем модальных значений, выражает модальность и грамматическими, и лексическими средствами, причем к последним относятся различные группы модальной лексики (частицы, связочные глаголы, модальные глаголы, предикативы). Вопрос о взаимодействии разноплановых модальных значений в сказуемом, выражаемых различными модальными компонентами (модификаторами), представляется интересным как в теоретическом, так и в практическом плане.

Регулярными средствами реализации модального плана сказуемого и предложения в целом являются модальные глаголы и модальные связки. Данные элементы оформляют модальность предиката (предикатную модальность), которая определяется как «оценка отношений между пре-

дикативным признаком и его носителем» [10: 129]. Возникает вопрос об определении статуса этих единиц, сравнении их функций и о совместимости разных модальных значений в пределах одного сказуемого.

Сказуемое с модальным глаголом или с модальной связкой является аналитическим. Модальные глаголы и модальные связки относятся к служебным (вспомогательным, неполнозначным) компонентам, поскольку выполняют грамматические функции. Традиционно принято определять служебный элемент глагольного сказуемого как вспомогательный, а служебный компонент именного сказуемого как связку. Однако в ряде работ эти служебные компоненты терминологически объединяются. Так, например, Ю. Г. Скиба утверждает, что связка есть компонент любого составного сказуемого, что нет нужды в дифференциации вспомогательных глаголов глагольного сказуемого и связок именного сказуемого, так как «в составе предиката они выполняют одну и ту же логико-грамматическую функцию связи» [13: 10]. На наш взгляд, такое терминологическое смешение неоправданно, поскольку наблюдается принципиальное различие и в функциях этих служебных компонентов, и в их значениях. В рамках данной статьи мы обратимся только к тем служебным компонентам сказуемого, которые проявляют модальное значение, то есть к модальным глаголам (*хотеть, желать, мочь* и др.) и модальным связкам (*казаться, оказаться, считаться, притворяться, прикидываться* и др.).

История модальных связок в русском языке XVIII–XX веков, рассмотренная в работах Г. Н. Акимовой, Н. Ю. Шведовой, С. Ю. Камышевой, Д. В. Руднева, связана с двумя важнейшими тенденциями: с ростом числа модальных глаголов-связок, обусловленным необходимостью выразить модусные оттенки авторизации, и с качественными изменениями в системе связочных глаголов. Такие изменения проявились в закреплении отдельных глаголов в роли модальных связок (*казаться, оказаться, считаться* и др.), а также в формировании двух принципиально противопоставленных друг другу значений модальных связок: мнимости (кажимости) и обнаруженной подлинности (эмергенциальности) [12: 81].

Общность лексико-грамматической функции связи модальных глаголов и модальных связок проявляется в том, что оба этих компонента определяют грамматическую оформленность предложения, то есть служат грамматическими показателями предикативных (модально-временных) значений, а также являются грамматическим посредником между подлежащим и вещественным компонентом сказуемого: *Он хочет спать. Она казалась красавицей*. Однако причины появления этих компонентов в сказуемом принципиально различны. Связка – обязательный служебный компонент именного сказуемого, ее присутствие в сказуемом обусловлено тем, что именные части речи не могут самостоятельно выразить предикативные категории. По замечанию П. А. Леканта, идеальная связка *быть* или глагольные связки берут на себя формальные функции глагола [6: 73]. Именное сказуемое – обязательно составное, аналитическое, в том числе и с нулевой формой связки *быть*.

В отличие от именного сказуемого глагольное сказуемое не нуждается в связке, поскольку предикативное значение реализуется самим полнозначным глаголом. Причины появления вспомогательных компонентов (фазисного или модального) связаны с потребностью в развернутом выражении отношения к действию.

Модальный глагол осложняет сказуемое или, по словам В. В. Виноградова, «своим лексическим значением выражает модальность другого глагола, обремененного в форму инфинитива» [3: 64]: *Уперся и не хочет давать показаний из ложного чувства товарищества* (Ю. Трифонов). Модальный глагол – дополнительный элемент, который можно ввести практически в любое глагольное предложение, тем самым изменив его модальную семантику. Так, простое предложение *Я рисую* может быть трансформировано в *Я хочу рисовать / Я могу рисовать / Я желаю рисовать* и т. д. Обратимся к вопросу о трансформациях ниже.

Таким образом, компоненты именного и глагольного предикатов выполняют различные

функции: формирование сказуемого и осложнение его семантики. На основании этого можно заключить, что это разные синтаксические элементы, с разной служебной функцией, и это должно отражаться терминологически.

Другим аргументом для объединения рассматриваемых элементов в один класс является их неполнозначность (вспомогательность), проявляющаяся в неспособности самостоятельно выражать предикативный признак. Но и в этом отношении модальные глаголы и модальные связки ведут себя по-разному.

Модальные глаголы, безусловно, имеют лексическое значение, ради которого они и употребляются в аналитическом сказуемом. В «Словаре лингвистических терминов» данные слова определяются как глаголы со значением возможности, долженствования, желания, то есть глаголы, выражающие отношение говорящего к содержанию высказывания¹.

Более того, некоторые модальные глаголы могут употребляться самостоятельно (правда, с облигаторным второстепенным членом предложения). Например, *Я хочу новую машину; Ребенок хочет мороженое*. Возможно, такое употребление модальных глаголов объясняется пропуском полнозначного глагола: *Я хочу (купить) новую машину; Ребенок хочет (получить, съесть) мороженое*. Заметим, что оптативная семантика сохраняется в любом употреблении глагола *хотеть*.

Отвлеченность семантики глагола-связки есть результат грамматикализации вещественного значения полнозначного глагола. Выступая в роли связки, полнозначный глагол теряет категориальное значение процессуальности. А. М. Пешковский писал, что связка лишена вещественного значения, она соответствует «одной формальной стороне глагольного сказуемого» [8: 199]. Однако в отличие от связки *быть*, характеризующейся в высшей степени отвлеченным значением, модальные связки сохраняют часть своей знаменательности, что и позволяет им выступать в роли связочных модификаторов модальной семантики предиката.

Мы полагаем, что нельзя полностью отрицать существование собственной лексической семантики у связок, поскольку замена связки, при условии сохранения именного компонента, приводит к изменению смысла высказывания. Так, модальное значение самовосприятия по-разному реализуется в связках *чувствовать себя* и *воображать себя*:

Каждый сам копался, открывал, ахал, ошибался, спрашивал, **чувствовал себя исследователем** (Д. Гранин); Муня Блохин... вдруг **вообразил себя великим актером** (К. Чуковский).

В первом примере глагольная связка указывает на внутреннее состояние субъекта, испытываемые им психологические ощущения. Во

втором примере при той же форме именной части предиката добавляется эмоциональная оценочная коннотация: субъект осуждается говорящим за неоправданно высокую самооценку.

Некоторые модальные связки вступают в отношения омонимии с полнозначными глаголами, лишёнными модального значения: *Он считался лучшим тренером по боксу – Он считается с моим мнением.*

Различная природа модальных глаголов и модальных связок отражается и в различии их модальных значений. Заметим, что данные единицы не проявляют синонимию значений. Модальные значения, выражаемые глаголами-связками, представляют собой оценку отношений «предмет – признак» в аспекте подлинности / мнимости (кажмости). Эта оценка «дается с точки зрения говорящего, “со стороны”, а не от имени самого субъекта» [6: 89]. Модальные компоненты глагольного сказуемого выражают оценку действия со стороны активного субъекта – деятеля (*Я хочу гулять. Я могу читать*). В этом заключается наиболее существенное отличие модальных связок от модальных глаголов, формирующих модальность предиката.

Разнородность данных модальных значений определяет то, что предложения с глагольными и именными сказуемыми имеют разные модальные парадигмы, основанные на модальных трансформациях. Понятие трансформации, то есть некоего преобразования ядерного предложения на основе какой-либо одной характеристики, подробно описал П. Адамец [1]. Предложения имеют различные трансформации в зависимости от того, какая их характеристика меняется. При изменении модального плана предложения возникают модальные трансформации, или модификации. При этом новый вариант предложения П. Адамец называет модификатом, а модальные глаголы – модификаторами [1: 89].

Г. А. Золотова определяет модальные глаголы как волюнтивные модификаторы, «усложнители предиката» и отмечает их невозможность выступать в роли самостоятельного сказуемого. Эти «усложнители» выражают модальное отношение между субъектом и предикативным признаком или модальную волю другого субъекта. В первом случае они становятся вспомогательным элементом в составе предиката, во втором – сигнализируют о полипредикативности конструкции [5: 70].

Волюнтивные модификаторы реализуют три основных модальных значения, связанных с волей субъекта: долженствование, желательность и возможность. В. В. Виноградов сближал данные модальные значения по функциональной семантике с глагольными наклонениями [3: 65]. Они могут быть выражены различными грамматическими формами: глаголами (*хотеть, мочь*), краткими прилагательными (*должен, обязан*), словами категории состояния (*надо, нужно, нельзя, можно, следует*), причастиями и деепричастиями (*пытающиеся, желая*) и т. д. Введение

данных модификаторов в предложение создает модальную парадигму предложения.

В работах по парадигматике предложения используются различные термины: трансформации, модификации, вариации, субпарадигмы, парадигматические ряды и т. д. Детальный анализ данных терминов и стоящих за ними подходов представлен в работе И. А. Антоновой [2]. Варианты предложений с модальными элементами именуются «модификациями» (по Г. А. Золотовой), «субпарадигмами» (по Д. Уорфу), «парадигматическими рядами» (по Т. П. Ломтеву) или «внутренними трансформациями» (по Е. А. Седельникову). Все перечисленные термины обозначают одно грамматическое явление – преобразование предложения, предполагающее изменение модального или фазисного значения» посредством введения нового элемента – модификатора [2: 81].

Универсальность таких модификаций проявляется в том, что модальные глаголы-модификаторы могут быть введены в предложение как с глагольным, так и с именным сказуемым: *Я (хочу, могу, желаю, обязуюсь) учиться – Я (хочу, могу, желаю, обязуюсь) быть прилежным*. Модальные модификации предложений с именным сказуемым активизируют в значении пассивного предикативного признака сему «процессуальности» мотивационной деятельности. Обычно это предложения с одушевленным субъектом (человеком). Значения модальных глаголов сопряжены с семантикой замысла, личного интереса, осмысления возможности или необходимости признака [15]:

Значит, я все же хитрый, раз **хочу быть хитрым** (Р. Ивнев); И если я **могу быть сильным**, то зачем мне быть слабым?! (В. Ремизов).

В отличие от глагольного сказуемого именное сказуемое обладает еще одной модальной парадигмой, основанной на модификаторах другого типа – модальных связках. К модальным связкам относятся связки, с помощью которых выражается субъективность восприятия предикативного признака (*казаться, слыть, считаться, почитаться, представляться* и др.). Модальные значения связок подробно описаны в монографии Л. В. Поповой [10].

Различие в модальных значениях данных парадигм создает возможность для комбинаций модальных значений, то есть для «сложных модальных парадигм». Обращаясь к синтагматическим возможностям модальных модификаторов, отметим два интересных, на наш взгляд, момента: во-первых, сочетание в одном сказуемом двух модальных глаголов с разным значением; во-вторых, комбинации модальных глаголов и модальных связок в именном сказуемом.

Сочетаемость разных модальных модификаторов с волюнтивным значением представляет так называемые комбинированные модификаты (П. Адамец):

Я могу захотеть сказать что-то и, не сказав, умру (М. Мамардашвили); И тем не менее я **смогу**, я **должен смочь** (Р. Гуль).

Модальный глагол *могу* выражает значение возможности, глагол *захотеть* – желательности, а краткое прилагательное *должен* формирует долженствовательную семантику. Комбинирование модальных значений требует детального описания, выявления запретов на сочетаемость, обусловленных не только модальным значением модификатора, но и видо-временными характеристиками или порядком слов. Ср., например, возможность модификата *Я могу захотеть сказать* и невозможность *Я (за)хочу смочь сказать* (по данным ruscorgora.ru, нет ни одного примера такого предложения).

В именном сказуемом не наблюдается комбинирование двух и более модальных связей, что свидетельствует о том, что модальное значение связей, главным образом, выражает одно значение – субъективность восприятия предикативного признака, а именно недостоверность признака.

Комбинация двух принципиально разных модификаторов – модального глагола и модальной связи – в именном сказуемом приводит к тому, что в рамках одного предложения проявляется оценка и деятеля (субъекта действия), и говорящего (наблюдающего субъекта): в первом случае речь идет о модально-волеитивной оценке (значение желательности, долженствования, необходимости или возможности), во втором – говорящий оценивает подлинность / кажимость ситуации:

Окружена поклонников толпой // Зачем для всех **казаться хочешь милой**... (А. Пушкин); Ведь и лицо **может превратиться в маску**, и маска может стать теплой плотью (И. Эренбург); Он знал, что не вернется с войны, и не **хотел выглядеть жертвой** (Ю. Нагибин).

Сочетание модальных модификаторов усиливает активность деятеля в формировании предикативного признака.

Несмотря на возможность взаимодействия глаголов и связей, нельзя утверждать полную свободу их комбинации. Одной из причин ограничения сочетаемости являются типовое значение предложения и семантика подлежащего. Поскольку волеитивные глаголы выражают позицию активного субъекта, можно предположить невозможность их сочетаемости со связками именного сказуемого при неличном субъекте: *День казался бесконечным*. Однако такие комбинации зафиксированы в НКРЯ, причем использование модификатора *может* при неличном субъекте дает несколько иной результат, чем при личном субъекте. В частности, может проявляться значение гипотетичности, предположительности или невозможности:

И как это лицо **может казаться незначительным!** (А. Белый); На первый взгляд это обстоятельство **может казаться загадочным** (Л. Н. Толстой); Такая черта не одной нашей, но и всякой другой публике **не может не показаться странной** (Н. Г. Чернышевский).

В художественном тексте модальный глагол с волеитивным значением приписывает неличному или неодушевленному субъекту способность к мотивационной деятельности, то есть создает олицетворение:

Но кисть художника **умеет быть и злой** (С. Дангулов); Она **умеет быть кроткой**, эта песня тирольца... Она **может быть** также **грозной** (К. Бальмонт).

Комбинированная модальная парадигма предложения с именным сказуемым может осложняться количественно, но только при участии модальных модификаторов.

Он все хочет казаться. Он **не может не хотеть казаться**. И добро бы только другим (И. Анненский).

Существуют и другие ограничения, однако вопрос об условиях взаимодействия модальных глаголов и модальных связей требует отдельного рассмотрения.

Таким образом, модальные глаголы и модальные глаголы-связки, являясь служебными компонентами составного сказуемого, обнаруживают принципиальные отличия – функциональные, лексико-семантические, позиционные, парадигматические. Данные элементы можно отнести к модальным модификаторам предложения, но модальные глаголы-модификаторы являются универсальными модификаторами предложения с любым типом сказуемого, а модальные связи создают модификаты предложений только с именным сказуемым. И те, и другие являются средством выражения разных аспектов предикативной модальности.

Значения модальных глаголов сближаются со значением глагольного наклонения (желательность, необходимость, долженствование), значение модальных связей в большей степени «вещественно», оно основано на оценочном значении, включая рациональную, интеллектуальную, эмоциональную оценку. В семантическом аспекте рассматриваемые лингвистические феномены отличаются способом отражения бытия: модальные глаголы описывают событие, процесс с позиции его участника, модальные связи характеризуют отношения между субъектом и предикатом, определяя их с точки зрения подлинности-мнимости, а точкой отсчета становится позиция говорящего.

Различная природа рассматриваемых единиц дает возможность для их взаимодействия, в результате которого создается сложное комбинированное модальное значение предложения. Вопрос о соотношении значений модальных модификаторов (глагольных и неглагольных) и модальных связей, с учетом и других средств выражения модальных значений, типового значения предложения, а также аспектуальных, темпоральных характеристик предиката, несомненно, имеет и теоретическую, и практическую значимость (в частности, в практике преподавания русского языка как иностранного) и заслуживает детального изучения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ¹ Словарь лингвистических терминов [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dic.academic.ru> (дата обращения 12.11.2017).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамец П. К вопросу о модификациях (модальных трансформациях) со значением необходимости и возможности // *Ceskoslovenska rusistika*. Прага, 1968. Вып. 13. № 2. С. 88–94.
2. Антонова И. А. К вопросу о синтаксической парадигме. Парадигма предложений со значением эмоционального состояния/отношения в русском языке // *Язык. Сознание. Коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М., 2001. Вып. 19. С. 78–87.*
3. Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М.: Наука, 1975. 560 с.
4. Герасименко И. Е. Субъективная модальность и вторичные наименования // *Международный научный журнал «Инновационная наука»*. 2016. № 11. С. 93–95.
5. Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка / Под ред. Г. А. Золотовой. М., 2004. 544 с.
6. Лекант П. А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. М.: Высшая школа, 1976. 141 с.
7. Осетров И. Г. Аспекты синтаксической модальности простого предложения в современном русском языке: Монография. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 132 с.
8. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М.: Языки славянской культуры, 2001. 510 с.
9. Попова Л. В. О месте связки в грамматической системе русского языка // *Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского*. 2011. № 23. С. 215–218.
10. Попова Л. В. Связка в грамматической системе русского языка. Архангельск: КИРА, 2012. 304 с.
11. Руднев Д. В. Модальные глаголы-связки и их роль в формировании семантики опорных слов сложноподчиненного предложения // *Вестник Санкт-Петербургского университета*. 2011. Сер. 9. Вып. 1. С. 128–133.
12. Руднев Д. В. Модальные связки со значением обнаружения в истории русского языка // *Вестник Санкт-Петербургского университета*. 2014. Сер. 9. Вып. 2. С. 80–93.
13. Скиба Ю. Г. Предикативная связка как служебное слово в русском и славянском языках: Лекция по спецкурсу. Черновцы, 1970. 52 с.
14. Цейтлин С. Н. Необходимость // *Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность*. Л.: Наука, 1990. С. 142–156.
15. Чернова С. В. Модальные глаголы в современном русском языке: Семантическая модель «замысел – осуществление замысла»: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1997. 35 с.

Griva O. E., Northern (Arctic) Federal University (Arkhangelsk, Russian Federation)

MODAL VERBS VS MODAL COPULA VERBS

The article is devoted to the problem of the identity and difference of modal components of the analytical predicate: the modal verb and the modal copula-verb. The modal values of these components, their role in the organization of the predicate, as well as the compatibility of different modal values within a single predicate are analyzed. It is argued that the phenomena in question cannot be identified because they differ functionally and semantically. The novelty of the research is determined by the reference to the question of the compatibility of the modal verb and the modal copula verb. The difference of the functions implies their free combination in one nominal predicate. However, restrictions on their compatibility are conditioned by the typical value of the sentence, subject to semantics, specific modal meaning of the verb and the copula.

Key words: modality, transformations, modifications, modal verbs, modal copulas

REFERENCES

1. Adamec P. To the question about modifications (modal transformation) with the meaning of necessity and possibility. *Ceskoslovenska rusistika*. Praha, 1968. Issue 13. № 2. P. 88–94. (In Russ.)
2. Antonova I. A. The question of the syntactic paradigm. The paradigm of sentences with the value of the emotional states/relationships in the Russian language. *Yazyk. Soznanie. Kommunikatsiya*. 2001. Issue 19. P. 78–87. (In Russ.)
3. Vinogradov V. V. Selected works. Studies on Russian grammar. Moscow, 1975. 560 p. (In Russ.)
4. Gerasimenko I. E. Subjective modality and secondary names. *Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal "Innovatsionnaya nauka"*. 2016. № 11. P. 93–95. (In Russ.)
5. Zolotova G. A., Onipenko N. K., Sidorova M. Ju. Communicative grammar of the Russian language. Moscow, 2004. 544 p. (In Russ.)
6. Lekant P. A. Types and forms of the verb in modern Russian language. Moscow, 1976. 141 p. (In Russ.)
7. Osetrov I. G. Aspects of the syntactic modalities of simple sentences in the modern Russian language. Monograph. Ulyanovsk, 2013. 132 p. (In Russ.)
8. Peshkovskij A. M. Russian syntax in a scientific light. Moscow, 2001. 510 p. (In Russ.)
9. Popova L. V. About the place the copula in the grammatical system of the Russian language. *Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo*. 2011. № 23. P. 215–218. (In Russ.)
10. Popova L. V. A copula of the grammatical system of the Russian language. Arkhangelsk, 2012. 304 p. (In Russ.)
11. Rudnev D. V. Modal verbs-bundles and their role in shaping semantic reference of the words in complex sentence. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta*. 2011. Ser. 9. Issue 1. P. 128–133. (In Russ.)
12. Rudnev D. V. Modal copulas with the meaning of detection in the history of the Russian language. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta*. 2014. Ser. 9. Issue 2. P. 80–93. (In Russ.)
13. Skiba Yu. G. Predicative copula as a function word in Russian and Slavic languages: Lecture for the course. Chernovtsy, 1970. 52 p. (In Russ.)
14. Cejtin S. N. Necessity. *Teoriya funktsional'noy grammatiki. Temporal'nost'. Modal'nost'*. Leningrad, 1990. P. 142–156. (In Russ.)
15. Chernova S. V. Modal verbs in the modern Russian language: Semantic model of the “plan – implementation of plan”: Abstract of Diss. Doctor of Philology. Moscow, 1997. 35 p. (In Russ.)

Поступила в редакцию 06.02.2018

ПЭЙЦЗЮНЬ ЧЭНЬ

аспирант кафедры русского языка филологического факультета, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
liliachen@yandex.ru

ДИАЛОГИЧНОСТЬ ТЕКСТОВ В ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ТРУДАХ Н. Я. БИЧУРИНА О КИТАЕ

Становление русского научного стиля, особенно в отдельных научных сферах, исследовано недостаточно. Обращение к стилю этнографической науки XIX века объясняется двумя причинами: во-первых, автора статьи интересует идиостиль известного русского синолога Н. Я. Бичурина (1777–1853) как яркого представителя этнографической науки XIX века, во-вторых, этнографические сочинения этого времени очень популярны в России, переживающей невероятный патриотический подъем, который обеспечил развитие сопоставительных работ в исследованиях о культуре и быте разных народов. Эти обстоятельства обеспечивают актуальность темы статьи. На материале фундаментального этнографического труда Н. Я. Бичурина «Китай: его жители, нравы, обычаи, просвещение» (1840) в статье рассматриваются прежде всего языковые средства, обеспечивающие диалогичность научного текста. Подчеркивается также искреннее уважение Бичурина к Китаю и его культуре, что обеспечивает особенную эмоциональность его текстам, доказательность и аргументированность его информации о жизни и быте китайцев. В статье отмечается живая диалогичность многих работ Н. Я. Бичурина как проявление большого желания донести до русского читателя объективные факты о Китае, его социальной и культурной уникальности.

Ключевые слова: научный стиль XIX века, язык этнографических сочинений, диалогичность научного текста, диалогичность повествования, историческая стилистика

Научный стиль XIX века в России – интереснейший объект лингвистических наблюдений, поскольку, с одной стороны, он испытывал на себе колоссальное влияние стиля западноевропейской исследовательской литературы, с другой – отражал поиск молодой русской науки своего, особенного, языка научного общения.

В предлагаемой статье рассматривается диалогичность текстов этнографических трудов Н. Я. Бичурина – с одной стороны, как общая функционально-стилистическая текстовая категория научного текста XIX века, с другой – как имеющая специфические способы выражения в текстах рассматриваемого автора.

Следует заметить, что Бичурин не был ни этнографом, ни писателем, ни исследователем в строгом профессиональном смысле. Он был священником (в монашестве о. Иакинф), главой Девятой духовной миссии в Китае (1808–1821)¹, прибывшим в Пекин с миссионерскими функциями. Однако очень скоро он оставляет свои духовные дела и с головой погружается в исследование и описание культуры и быта китайцев, поразивших его своей непохожестью на все то, что было известно ему, в то время – уже архимандриту Русской православной церкви, весьма образованному и просвещенному человеку. Он азартно изучает языки народов, населяющих Китай, создает учебники китайского языка для русских, занимается переводами древнейших китайских источников, много пишет для русских журналов,

движимый желанием популяризировать свои знания об уникальной стране и ее культуре [3].

В результате обширных исследований различных сторон жизни Китая уже в 1828 году Бичурин избирается членом-корреспондентом Императорской академии наук, а с 1831 года он – почетный иностранный член Парижского Азиатского общества, первый русский синолог, широко известный в Европе [3].

Н. Я. Бичурин – автор более сотни статей и четырнадцати больших книг о Китае, причем каждая из его публикаций – образец подлинно научного взгляда на предмет описания: его стилю присущи как общие для многих этнографических штудий XIX века языковые черты (см.: [1], [2], [11]), так и уникальные, собственно «бичуринские», общее описание которых дается в наших предыдущих публикациях (см.: [17], [18]).

Итак, одна из самых заметных черт его научных трудов – открытая диалогичность научного повествования, в современном понимании характерная прежде всего для публицистических сочинений [6], когда, по мнению Л. Р. Дускаевой, с помощью различных языковых средств «даже внутренний диалог <автора> напрямую обращен к читателю» [4: 137]. Так, в рассуждении о сложности произношения звуков китайского языка Н. Я. Бичурин повествует (причем в манере «инструктивного» текста) о своем опыте постижения способов отображения китайской речи русской графикой. Ему важно не только и столько

продемонстрировать сложность китайского языка, сколько привлечь читателя к его изучению.

В подобном затруднении **надобно вслушаться** в произношение самих китайцев и по оному сделать положение для правильного выражения китайских звуков русскими буквами (3)².

Употребление конструкций (в данном случае в модальности долженствования) «модальное слово + инфинитив» создает иллюзию непосредственного контакта автора с читателем, желаящим непременно последовать его совету.

Для текстов Н. Я. Бичурина частотна, например, и конструкция сравнительной семантики «как (что и) у нас», вводимая, как кажется, для поддержания интереса русского читателя к описываемым фактам из жизни китайцев:

Какъ у насъ мушины очень занимаются головою, что видимъ въ ежедневномъ измѣненіи бакенбардъ, а особенно хохолковъ волосныхъ (414);

Выше уже было сказано, что в Китае все то же, **что и у насъ**, и все не так, **какъ у насъ** (116).

Рассмотрим разноуровневые языковые средства создания диалогичности текста, которые Н. Я. Бичурин использует в статье «Ответ на вопросы, которые г. Вирст предложил г. Крузенштерну относительно Китая» (1827), также вошедшей в рассматриваемую книгу о Китае.

Статья построена в форме заочного диалога с известным мореплавателем, который, с точки зрения Бичурина, в своих рассуждениях о далекой стране был неточен, поверхностен, необъективен. Бичурин отвечает на те же вопросы известного российского экономиста Ф. Х. Вирста [5: 43], на которые прежде него ответил И. Ф. Крузенштерн. Возникает «заочная полемика» — один из частых приемов, применяемых Бичуриным для создания иллюзии диалога с «оппонентом».

Так, например, на вопрос Вирста: *Каково учреждение почтъ? Заведены ли оныя порядочно во всемъ государствѣ, и можетъ ли всякой оными пользоваться?* — Крузенштерн отвечает:

Порядочная почта учреждена только между Пекиномъ и Кантономъ, коею всякой пользоваться можетъ; но посылаемая по оной письма распечатываются и рассматриваются. Кромѣ сей почты нынѣ другой нѣтъ во всемъ Китаѣ. Во время нужной переписки нѣтъ инаго средства, какъ только отправлять нарочнаго, или поручать профѣзжающимъ (345).

Не соглашаясь с Крузенштерном, Бичурин отвечает на тот же вопрос практически противоположной информацией:

Отъ Пекина, какъ мѣстопробыванія верховной власти, есть верховая конная почта по всѣмъ большимъ дорогамъ, ведущимъ въ главные города губерній. <...>. Повидимому неимѣніе почты долженствовало-бы замедлять и даже совершенно затруднять ходъ торговли: но изумляющая обширность оной внутри государства недопускаетъ насъ сомнѣваться въ утонченіи всѣхъ возможныхъ способовъ къ облегченію сообщенія по торговымъ связямъ <...>. Только письма, посылаемые Европейцами

изъ Пекина въ Европу и наоборотъ, представляемы бываютъ правительству и распечатываются (346).

Уже по количественной характеристике представленных контекстов видно, что ответ Бичурина более протяженный, более подробный и детализированный. Легко заметить, что Крузенштерн отвечает односложно и без уточнений, повторяя одно из ключевых слов, содержащихся в вопросе, — «порядочная почта». Бичурин же, словно желая быть в своем ответе принципиально не-Крузенштерном, выражения «порядочная почта» не употребляет вовсе, но конкретизирует вид почты — *верховая конная почта*. Он говорит о реальном положении почты в Китае, как бы оппонируя Крузенштерну, причем не упускает возможности при помощи антитезы отметить удививший его парадокс: неимение почты должно было бы замедлять торговлю, но бурное ее развитие, как оказалось, мало зависит от состояния почтовых связей.

Лексический состав текста Бичурина словно вступает в антонимические отношения с лексикой, содержащейся в ответе Крузенштерна; создается своеобразный текст-оппозит: (Крузенштерн) *Порядочная почта учреждена только между Пекиномъ и Кантономъ* ↔ (Бичурин) *Отъ Пекина <...> есть верховая конная почта по всѣмъ большимъ дорогамъ, ведущимъ въ главные города губерній* (здесь и далее выделено мною. — Ч. П.).

Ответ Бичурина представляет собой текст-рассуждение, созданный при помощи ряда языковых средств, весьма показательных для этого типа текста: а) вводных слов с семантикой предположения (*по-видимому*); б) конструкций со значением предположения с характерной частицей *бы* (*неимѣніе почты долженствовало-бы замедлять*); в) фигур усиления с повторением глагола одной семантической группы и использованием усилительной частицы *даже*: *долженствовало-бы замедлять и даже совершенно затруднять ходъ торговли*; г) мы-повествование, создающее ситуацию вовлечения читателя в живой разговор: *Повидимому неимѣніе почты долженствовало-бы замедлять и даже совершенно затруднять ходъ торговли: но изумляющая обширность оной внутри государства недопускаетъ насъ сомнѣваться <...>*.

Лексика эмоционального регистра (*изумляющая обширность, утончение способов* и др.) присутствует в ответе Бичурина с той же целью — создать воздействующий на читателя текст научного характера [12], [14]. Бичурин в своих разнообразных произведениях использует большое количество эпитетов, причем эмоциональных, оценочных и экспрессивных, что не является типичной характеристикой научного стиля, а характеризует его индивидуальное восприятие увиденного [8: 59]. Можно сказать, что он живописует Китай не как наблюдатель, но как его

полноправный житель и участник описываемых событий.

Научность этнографических текстов Н. Я. Бичурина бесспорна и подтверждена всеобщим признанием и государственными наградами. На текстовом уровне она (научность) проявляется в использовании им точных и выверенных данных по устройству жизни и быта китайцев [10]. В рассматриваемом сочинении продемонстрированы различные формы доказательности изложенной им информации этнографического толка: приведение документов, обращение к авторитетным источникам и другие общенаучные методы аргументации. Так, в статье «О шаманстве» (1839)³, изданной сначала отдельной публикацией, но затем вошедшей в книгу «Китай: его жители, нравы, обычаи, просвещение», Бичурин приводит данные из уникального источника – «Устава шаманского служения», изданного в Пекине в 1747 году, причем приводит его фрагменты в собственном переводе. По мнению ряда исследователей, «использование китайских источников в точном их переводе – новаторский подход, отличавший работы Н. Я. Бичурина от его предшественников» [10: 1104].

Однако в качестве доказательства научного повествования Бичурин часто привлекает и собственные наблюдения за тем или иным описываемым фактом. Не без основания он полагает, что, как свидетель и непосредственный житель Китая в течение многих лет, он имеет право в научном диалоге приводить свои суждения в качестве верного и надежного аргумента. В таких случаях в текстах Бичурина частотны конструкции я-повествования, что, по мнению Л. Р. Дускаевой, также способствует «сближению автора и читателя» [4: 138]:

Мнѣ самому случалось видѣть, съ какою заботливостію бѣдный тащилъ нечаянно найденную имъ на улицѣ издохшую кошку или собаку (369);

Китайцев вообще упрекают в корыстолюбии, **и я не могу не подтвердить справедливость такого замечания** (384);

Я принялъ на себя обязанность описать только мужское китайское одѣяніе – съ тою цѣлію, чтобъ подать понятие о самомъ характерѣ одѣянія. Послѣ сего описание одѣянія женскаго и дѣтскаго **считаю ненужнымъ** (412).

Такие текстовые приемы, создающие ситуацию присутствия и даже участия автора статьи в научном тексте, можно считать инструментом своеобразной «интимизации» повествования, что, в свою очередь, выполняет функцию семантической связности целого текста [7: 64]: так, в первом из приведенных примеров конструкция «(мне) самому (случалось видеть)» усиливает реалистичность описываемой ситуации, что актуализирует доверительность «научного разговора» Бичурина с читателем. Во втором – приведено «общее мнение» о корыстолюбии китайцев, к которому присоединяется и автор; и вновь исполь-

зуется конструкция с усилительной семантикой: два отрицания («не могу не подтвердить») значительно подтверждают правдивость исходного утверждения. В третьем примере Бичурин принимает весьма смелое решение управлять полнотой этнографической информации, которую предлагает своему читателю. Он использует весьма характерную для себя конструкцию «(я) принимаю на себя обязанность», не столь частотную в научной литературе XIX века. По данным основного корпуса Национального корпуса русского языка, обнаружено лишь два документа, один из которых может быть отнесен к научной сфере:

Я принял на себя обязанность в качестве неврача делать те замечания по поводу беседы о гомеопатии, какие считаю необходимыми для выяснения истины [коллективный. Прения после лекции «О гомеопатической фармакологии» // Публичная лекция, читанная в Большой аудитории Педагогического музея 10 февраля 1887 г. Гомеопатический вестник. 1887. № 12]⁴.

Н. Я. Бичурин находится в постоянном заочном диалоге с читателем, который разделяется им на несколько разрядов. Его адресат, прежде всего, – русский ученый, имеющий специальный интерес к предмету исследования, умеющий увидеть и оценить точные и выверенные замечания автора. Вторая категория читателей – это его незримые оппоненты, по мнению Бичурина, часто поверхностно и неглубоко рассуждающие о нравах и быте Китая, плохо знающие его историю и языки. С ними Бичурин вступает в спор, опровергая их мнения, эмоционально и страстно разоблачая «снобизм», с которым они порой оценивают чужую для них культуру. Еще один тип читателя, к которому обращается и которого всегда имеет в виду этнограф Бичурин, это простой российский обыватель, интересующийся дальними странами либо из простого человеческого любопытства, либо из желания узнать нечто диковинное, либо из природной любознательности и склонности к чтению.

Н. Я. Бичурин включает в свои тексты о Китае многочисленные конструкции с мыповествованием, причем как публицистические (очерки, статьи), так и собственно научные. Видимо, автор полагал, что это также способствует доверительному общению с читателем, к чему он всегда стремился:

Въ одно время съ покореніемъ сибирскихъ странъ **мы получили** первое свѣдѣніе о шаманствѣ, дотолѣ неизвѣстномъ Европѣ. <...>. И съ сего времени открылось, **что мы очень обманывались въ своихъ мнѣніяхъ** насчетъ шаманства. То, что **намъ казалось** грубымъ обманомъ въ кочевыхъ шарлатанахъ, составляетъ религію, господствующую нынѣ при Китайскомъ дворѣ и въ Маньчжуріи⁵.

В текстах Бичурина мыповествование есть универсальный способ общения с любым читателем из трех выделенных типов адресата. «Мы»

в русской научной речи, равное авторскому «я», до сих пор вызывает споры и различные решения, вплоть до предложения упразднить «устаревший академический этикет» [16], однако во времена о. Иакинфа такое научное общение считалось уместным и более чем оправданным [13]. И сам Бичурин активно использовал этот прием для создания ситуации доверительного «разговора» с читателем.

Этнография середины XIX века в России – бурно развивающееся научное направление, движимое невиданным интересом к «племенному разнообразию» мира [15: 128]. Эти сочинения часто отличались романтической экспрессивно-

стью стиля, поскольку были одним из способов выражения искренних патриотических чувств, которые переживало в то время передовое российское общество. Н. Я. Бичурин – ученый своего времени, он был одним из тех, кому предстояло выработать специфический стиль русских научных произведений в области этнографии, причем как публицистического, так и академического характера [9: 7]. В этом смысле его опыт общения с читателем и проверенные временем приемы научного изложения этнографического материала могут быть квалифицированы как образцы русского научного стиля середины XIX века.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Адоратский Н. Отец Иакинф Бичурин (Исторический этюд) // Православный собеседник. 1886. № 1. С. 164–180.
- ² Бичурин Н. Я. Китай: его жители, нравы, обычаи, просвещение. СПб., 1840. 442 с. Далее цитируется по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках.
- ³ Бичурин Н. Я. О шаманстве // Отечественные записки. 1839. Т. 6. № 11. С. 73–81.
- ⁴ Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ruscorpora.ru> (дата обращения 03.01.2018).
- ⁵ Бичурин Н. Я. О шаманстве // Отечественные записки. 1839. Т. 6. № 11. С. 73.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вомперский В. П. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. 210 с.
2. Герд А. С. Формирование терминологической структуры русского биологического текста. Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. 112 с.
3. Денисов П. В. Слово о монахе Иакинфе Бичурине. М.: Чувашское книжное издательство, 2007. 335 с.
4. Дускаева Л. Р. Категория диалогичности функциональная семантико-стилистика // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М. Н. Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2011. 696 с.
5. Корнев В. П. История статистики: Учебное пособие. Саратов: Саратовский гос. соц.-экон. ун-т, 2013. 112 с.
6. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М.: Флинта: Наука, 2008. 464 с.
7. Котюрова М. П. Эволюция выражения связности речи в научном стиле XVIII–XX вв. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1983. 96 с.
8. Котюрова М. П. Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры научного текста (функционально-стилистикальный аспект). Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. 170 с.
9. Котюрова М. П., Тихомирова Л. С., Соловьева Н. В. Идиостилика научной речи. Наши представления о речевой индивидуальности ученого. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2011. 394 с.
10. Мясников В. С., Попова И. Ф. Вклад о. Иакинфа в мировую синологию. К 225-летию со дня рождения члена-корреспондента Н. Я. Бичурина // Вестник Российской Академии наук. 2002. Т. 72. № 12. С. 1099–1106.
11. Очерки истории научного стиля русского литературного языка XVIII–XX вв.: В 3 т. / Под ред. М. Н. Кожиной. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1994. Т. I. 304 с.
12. Салимовский В. А. Семантический аспект употребления слова в функциональных стилях речи. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1991. 134 с.
13. Салимовский В. А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (научный академический текст). Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. 236 с.
14. Славгородская Л. В. Научный диалог. Л.: Наука, 1986. 168 с.
15. Токарев С. А. История русской этнографии (Дооктябрьский период). М.: Наука, 1966. 453 с.
16. Хомич А. «Я» или «Мы»? Рассуждение об академическом этикете [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://khomich.narod.ru> (дата обращения 12.12. 2017).
17. Чень Пэйцзюнь. Глоссы в сочинениях Н. Я. Бичурина как способ этнографического описания Китая // Лексикология. Лексикография: (русско-славянский цикл). Русская диалектология. Когнитивная лингвистика: Сб. статей по материалам XLVI Международной филологической конференции / Отв. ред. Т. С. Садова, О. В. Васильева, Л. Н. Донина. СПб.: БВМ, 2017. С. 66–70.
18. Чень Пэйцзюнь. Стилистические черты этнографических трудов Н. Я. Бичурина (о. Иакинфа) о Китае как выражение культуры научной речи в России XIX в. // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. Сочи: Изд-во Сочинского ун-та, 2017. (в печати)

Chen P., Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation)

DIALOGICALITY OF THE TEXTS IN ETHNOGRAPHIC WORKS ABOUT CHINA BY N. YA. BICHURIN

Formation of the Russian scientific style in separate scientific fields has not been studied enough. An appeal to the style of the ethnographic science of the XIXth century is explained by two reasons: firstly, the author of the article is interested in the idiostyle of

the famous Russian synologist N. Ya. Bichurin (1777–1853), a bright representative of the ethnographic science of the XIX century, and secondly, ethnographic works of this time are very popular in Russia. The country has experienced a high patriotic upsurge. This phenomenon has contributed to the development of comparative works in studies on different culture and every day life of various nations. The significance of the topic in focus is conditioned by the circumstances listed above. Linguistic means, ensuring dialogical nature of the scientific text, are studied on the basis of the fundamental ethnographic work by N. Ya. Bichurin “China: its residents, morals, customs, enlightenment” (1840). Bichurin’s sincere respect for China and its culture are also highlighted. The author’s respectful attitude toward Chinese culture contributes to special emotionality of his texts, to the conclusiveness and reasoning of his information on the everyday life of Chinese population. The vivid dialogicality of N. Ya. Bichurin works, as a manifestation of the author’s desire to convey to the Russian reader objective facts about China, its social and cultural uniqueness, is emphasized.

Key words: scientific style of the XIX century, the language of ethnographic works, dialogicality of scientific texts, dialogic narrative, historical stylistics

REFERENCES

1. Vomperskiy V. P. The stylistic teaching of M. V. Lomonosov and the theory of three styles. Moscow, Moscow University Publ., 1970. 210 p. (In Russ.)
2. Gerd A. S. Formation of terminological structure of Russian biological text. Leningrad, Leningrad State University Publ., 1981. 112 p. (In Russ.)
3. Denisov P. V. A word about the monk Iakinf Bichurine. Cheboksary, Chuvash book Publ., 2007. 335 p. (In Russ.)
4. Duskajeva L. R. Category of dialogic functional semantic stylistics. *Stylistic encyclopedic dictionary of the Russian language*. Ed. by M. N. Kozhina. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 2006. 696 p. (In Russ.)
5. Kornev V. P. History of Statistics: Textbook. Saratov, Saratov Socio-Economic University Publ., 2013. 112 p. (In Russ.)
6. Kozhina M. N. Stylistics of the Russian language. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 2008. 464 p. (In Russ.)
7. Kotjurova M. P. Evolution of the expression of the coherence of speech in the scientific style of the XVIII–XX centuries. Perm, Perm State University Publ., 1983. 96 p. (In Russ.)
8. Kotjurova M. P. On the extralinguistic basis of the scientific text national structure (functional-stylistic aspect). Krasnoyarsk, Krasnoyarsk State University Publ., 1988. 170 p. (In Russ.)
9. Kotjurova M. P., Tichomirova L. S., Solovjeva N. V. Idiostylistics of scientific speech. Our ideas about verbal individuality of the scientist. Perm, Perm State University Publ., 2011. 394 p. (In Russ.)
10. Myasnikov V. S., Popova I. F. Contribution of F. Iakinf into the world sinology. To the 225-th anniversary of N. Ya. Bichurin birth, the Corresponding Member of the RAS. *Bulletin of the Russian Academy of Sciences*. 2002. Vol. 72. No 12. P. 1099–1106. (In Russ.)
11. Essays on the history of the scientific style of the Russian literary language of the XVIII–XX centuries. Ed. by M. N. Kozhina. In 3 vols. Perm, Perm State University Publ., 1994. Vol. 1. 304 p. (In Russ.)
12. Salimovskij V. A. Semantic aspect of the use of the word in functional speech styles. Irkutsk, Irkutsk State University Publ., 1991. 134 p. (In Russ.)
13. Salimovskij V. A. Genres of speech in functional-stylistic lighting (scientific academic text). Perm, Perm State University Publ., 2002. 236 p. (In Russ.)
14. Slavgorodskaja L. V. Scientific dialogue. Leningrad, Nauka Publ., 1986. 168 p. (In Russ.)
15. Tokarev S. A. The history of Russian ethnography (pre-October period). Moscow, Nauka Publ., 1966. 453 p. (In Russ.)
16. Khomich A. “I” or “We”? Discourse on academic etiquette. Available at: <http://khomich.narod.ru> (accessed 12.12.2017). (In Russ.)
17. Chen P. Glosses in writings of N. Ya. Bichurin as a method of ethnographic description of China. *Lexicology. Lexicography: (Russian-Slavic cycle). Russian dialectology. Cognitive Linguistics: Collection of articles on the materials of the XLVI International Philological Conference*. Ed. by T. S. Sadova, O. V. Vasiljeva, L. N. Donina. St. Petersburg, VVM Publ., 2017. P. 66–70. (In Russ.)
18. Chen P. Stylistic features of the ethnographic works of N. Ya. Bichurin (Father Iakinf) about China as an expression of the culture of scientific speech in Russia in the XIX century. *Lingua-rhetorical paradigm: Theoretical and applied aspects*. Sochi, Sochi State University Publ., 2017. (submitted for printing). (In Russ.)

Поступила в редакцию 20.12.2017

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА БОБУНОВА

доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета, Курский государственный университет (Курск, Российская Федерация)
bobunova61@mail.ru

Ф. И. БУСЛАЕВ И ФОЛЬКЛОРНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Говорится о роли Ф. И. Буслаева в становлении фольклорной лексикографии, чьи работы стали источником целого ряда идей для лингвофольклористики и вдохновили курских исследователей на создание словаря языка русского фольклора. Описываются выдвинутые принципы лексикографического описания народно-песенного слова. Это опора на жанровую дифференциацию материала и учет территориальной и временной однородности источников. Особое внимание уделено роли конкордансов фольклорных текстов, которые становятся надежной базой для создания словарей разного типа. Подробно описывается микроструктура словаря эпитетов и характеризуются разные зоны словарной статьи: статистическая, иллюстративная, синтагматическая, дополнительно-информационная. Доказывается, что одножанровый словарь имеет самостоятельную ценность, поскольку дает достаточно полное представление о конкретном фрагменте языковой картины мира. Кроме того, высказывается мысль о создании серии словарей эпитетов, составленных по одному образцу, но на материале разных фольклорных жанров, с целью выявления общесловарных тенденций и специфически жанровых черт. Проводится сопоставительный анализ одной словарной статьи с заголовочным словом *Теплый* из словаря эпитетов былин и необрядовой лирики. Делается вывод об информативности словаря эпитетов, который может иметь разные лексикографические формы, и намечаются дальнейшие аспекты исследования.

Ключевые слова: фольклорная лексикография, словарь, конкорданс, язык фольклора, лингвофольклористика

Лексикографический «бум» конца XX – начала XXI века ознаменовался созданием большого числа словарей разных типов и жанров. Наряду с традиционными справочниками появляются экспериментальные, предметом лексикографирования которых становятся «языковые единицы или аспекты характеристики языковых единиц, ранее не подвергавшиеся лексикографической обработке» [1: 6]. К числу экспериментальных словарей можно отнести словарь языка русского фольклора, первый опыт которого увидел свет лишь в начале нынешнего столетия.

Как оказалось, такая своеобразная форма национального языка, как язык устного народного творчества, долгое время не становилась объектом систематического словарного описания, хотя исследователи не раз говорили о целесообразности и значимости подобного лексикографического труда. Особую роль в становлении фольклорной лексикографии сыграли наблюдения и замечания Федора Ивановича Буслаева, чей классический труд «О преподавании отечественного языка» стал источником целого ряда идей для лингвофольклористики – комплексной дисциплины, изучающей язык фольклора. Ф. И. Буслаев, рассуждая о ценности народного языка, писал: «Полезно бы собрать все постоянные эпитеты для того, чтобы определить, в какие предметы преимущественно вдумывался русский человек и какие понятия присоединял к оним» [3: 286]. Эта фраза выдающегося русского филолога

в свое время стала вдохновляющей для создателей первого опыта словаря языка фольклора [2].

Нами было сформулировано несколько принципов словарного описания. Это, прежде всего, опора на жанровую дифференциацию материала. Идея жанрового своеобразия народно-песенной речи неоднократно высказывалась исследователями русского фольклора, которые на многочисленных примерах не только продемонстрировали наличие специфически жанровых наименований, но и убедительно доказали, что даже у одних и тех же слов в разных жанрах свое неповторимое лицо [4]. Другой принцип касается территориально-временной однородности источников. Несмотря на внутреннее жанровое единство русского фольклора, определенные тенденции территориальной дифференциации языкового материала существуют, что подтверждается работами в этом направлении [5]. Вспомним замечание академика Н. И. Толстого, который говорил о зависимости языка устного народного творчества от территории его бытования: «Диалект не только язык, но и народная культура, и фольклор, и этих два последних явления существуют и функционируют исключительно в диалектной форме, в форме местных, узколокальных вариантов» [6: 13]. То же можно сказать и о времени записи разных источников, язык которых эволюционирует в процессе бытования фольклорной традиции. С опорой на указанные принципы нами создается целый ряд одножанровых словарей конкретного региона определенного исторического периода.

Поскольку объектом описания оказывается особая форма национального языка, требующая неординарного подхода к формированию словника, повышенное внимание уделяется заголовочным единицам словаря. В большинстве случаев в качестве заголовка выступает лексема – слово в совокупности словоформ, обладающих тождественным лексическим значением. Однако на статус самостоятельной словарной единицы претендуют и специфические для языка фольклора формы причастий, деепричастий, компаративов (например, *дожидаяочи, живучи, призаблкнувши*), широко используемые в русском народном творчестве слова с суффиксами субъективной оценки, значительная часть которых является диалектными или собственно фольклорными наименованиями (например, *домичек, копытчко, кудерцы, муженишечка, походушка*). Заметим, что такой дифференциальный подход оказался возможным благодаря использованию новых информационных технологий. В первом опыте словаря, картотека для которого составлялась вручную, акцентологические и морфологические варианты, а также диминутивы отдельно не выделялись, а были представлены в зоне вариантов. Например: в словарной статье с заголовком *Крыло* зона вариантов имеет следующий вид: *крыло, крылушки, крылышки, крыльица*, в словарной статье *Перо*: *перушко, перышко, перьё, перыце*, в словарной статье *Рыба* – *рыбка, рыбушка* [2].

В роли заголовочных единиц могут выступать не только отдельные лексемы, но и конструкции, отличающиеся семантической цельностью, функциональной значимостью и являющиеся яркой приметой русского фольклорного текста: синонимические сближения (*кричать-вопить, огонь-поломя, тоска-кручина*), репрезентативные пары (*брат-сестра, отец-мать, хлеб-соль*), повторы разных типов (*ныть-занывать, слушать-выслушивать, тонуть-потопать*).

В течение двух десятилетий нами было апробировано несколько вариантов словаря языка фольклора, различающихся по цели лексикографического описания, по степени охвата материала, по расположению заголовочных единиц и др. В последнее время наше внимание сосредоточилось на создании конкордансов, отличительной особенностью которых является регистрация всех

случаев использования того или иного наименования с обязательной паспортизацией примеров.

В качестве источника на первом этапе работы был выбран семитомный свод «Великорусские народные песни», изданный А. И. Соболевским (Соб.), как наиболее полное авторитетное собрание необрядовых народных песен, записанных в XIX веке и систематизированных по жанрово-тематическому принципу с указанием места их записи. На данный момент подготовлено четыре печатных и шесть электронных (виртуальных) конкордансов, охватывающих песенный фольклор десяти губерний: Архангельской, Олонецкой, Вологодской, Вятской, Курской, Саратовской, Самарской, Казанской, Пермской и необрядовой лирики Сибири.

Придерживаясь мнения, что наиболее информативным является полный словарь, создатели конкордансов учитывают все встретившиеся наименования (знаменательные и служебные, собственные и нарицательные, узусальные и окказиональные). Такой подход, на наш взгляд, удовлетворяет любым запросам справочного и исследовательского характера.

Полный конкорданс, в котором собран и систематизирован весь фактический материал, становится надежной базой для создания справочников разного типа. Одним из таких словарей может оказаться словарь эпитетов, о котором мечтал Ф. И. Буслаев.

В свое время, анализируя язык «Древних российских стихотворений», он выделил четыре группы эпитетов, выраженных (1) именами прилагательными (*стоны дубовые*); (2) именами существительными «в одинаковом падеже со словом, при коем они эпитетом» (*удача добрый молодец*); (3) именами существительными с прилагательными (в именительном падеже), не согласующимися с определяемым словом (*около чебота зелен сафьян*); (4) родительным определением (*кровать слоновых костей*) [3: 286]. Мы же пока ограничиваемся первой группой. Сначала создаем конкордансы эпитетов конкретного жанра с учетом территории его бытования, которые впоследствии можно объединить. Приведем пример одной словарной статьи из конкордансов необрядовых песен Курской и Архангельской губерний. В цитируемых текстах сохраняется оригинальная орфография и пунктуация источника.

КУРСК

Теплый 5. Ой ты, белая лебедушка! Да и где ж твое *теплое* гнездушко? <2,58>; Спи, старый, не дрожи: Постелюшка – мягкая, Одеяльце – *теплое*, Взголовье высокое! <2,338>; Я дождусь, младешенька, поры-время, Поры-время – *теплого* лета, Я сама к милому загуляю... <5,396>; Я выберу, молоденька, поры-время, Поры-время – *теплого* лета, Темной ночи, белой зорьки <5,398>; На том узголовьице одеяльце *теплое* <5,498>.

АРХАНГЕЛЬСК

Теплый 8. Не во пору дарил, не во время – На проходе-то дарил весны красныя, На пролете-то дарил лета *теплого*, На зачиные дарил осень грязныя... <2,184>; По весне по красной, По лету по *теплому*, На тихой на заводе, На тихой лебединой, Тут плывет-то сизый селезень <4,71>; Не во времячко белы снежки выпали – По весне по красной, по лету по *теплому*, По *теплому*, на наше гуляньице <4,615>; Зайду в *теплу* спаленку, лягу в-нищ я на кровать; <5,89>; Наступает летико *теплое*, – с миленьким в саду гулять <5,145>; *Тепло* летечко на проходе, – Ко мне милый в гости не побывал <5,302>; Не ясен-то сокол со *тепла* гнезда солетает, – Со фатерушки добрый молодец долой съезжает <6,134>.

Конкорданс позволяет исследователю выявить семантику слова, его синтагматические и парадигматические связи, участие в устойчивых поэтических приемах. Так, прилагательное *теплый* в фольклорном тексте, как свидетельствуют контексты, полисеманлично, поскольку реализует несколько значений: 'дающий, источающий тепло', 'хорошо защищающий тело от холода', 'хорошо сохраняющий тепло (о помещении)' (МАС: 4: 356).

Словарь эпитетов, представляющий собой «выжимку» из конкорданса, будет иметь несколько зон. Статистическая зона, в которой указывается количество словоупотреблений данного слова, отражает языковые приоритеты того или иного жанра устного народного творчества. Зона иллюстративного материала должна продемонстрировать наиболее типичные связи заголовочных единиц.

Поскольку для эпитета важна его сочетаемость с определяемыми словами, важно составить перечень существительных, которые получают атрибутивную характеристику (зона S:). Для удобства пользования словарем список лексем (с учетом вариантов наименований) представим в алфавитном порядке с указанием частоты употребления эпитетосочетания. В словарной статье отмечаются и цепочки определений – связь с другими прилагательными (зона A:). В факультативной дополнительно-информационной части словарной статьи (зона +:) может присутствовать указание на связь эпитетосочетания с территорией записи песни, на принадлежность речи одного исполнителя, на связь с сюжетом и др.

Таким образом, словарная статья словаря эпитетов необрядовой лирики XIX столетия (на материале 10 конкордансов) может иметь следующий вид.

Теплый (44) С кем прикажешь лето *теплое* гулять? (Соб., 5, 485); Прилетит на кустышек соловьишко, Уж он совет ли на кустышке *тепло* гнездышко, Он повыведет, да соловьишко, малых детушек (Соб., 6, 116)

S: ветер 2

гнездо 17 (гнездо 13, гнездушко 1, гнездышко 3)

день 2

лето 17 (летечко 1, летико 1, лето 15)

одеяло 4 (одеялице 1, одеяло 2, одеяльце 1)

спальня 2 (спаленка 1, спальня 1)

A: весенний теплый [ветер] 1

совитое теплое <разоренное> [гнездо] 2

+: теплая спальня (Архангельск, Вологда); теплый ветер (Сибирь); теплый день (Олонец)

Безусловно, одножанровый словарь имеет самостоятельную ценность, поскольку дает достаточно полное представление о конкретном фрагменте языковой картины мира. Однако значимость словаря увеличивается, если он используется для сопоставительных наблюдений. Полагая, что серия словарей эпитетов, составленных по одному образцу, но на материале разных фольклорных жанров, будет полезной для обнаружения жанровой специфики языкового материала.

Сравниваться могут словники целиком, что позволит выявить общежанровые и специфически жанровые наименования, и отдельные словарные статьи, содержащие важную информацию о связях слов и их количественных параметрах.

Продemonстрируем сказанное на одном примере. Нами была составлена словарная статья на материале конкорданса онежских былин, записанных А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года (Гильф).

Теплый (53) Шел же он во ложни да во *тепльи* (Гильф., 1, № 5); Проходили во спальню во *теплую*, А сажались на кроваточку тесовую (Гильф., 2, № 75)

S: баенка 4

вода 1

горница 1

ложня(и) 27

ночлег 1

одеяло 4 (одеяло 2, одеялышко 2)

солнышко 3

спальня 12 (спаленка 2, спальня 2, спальня 6, спальня 2)

A: тепла(я) парна(я) [баенка] 4

тепло(е) красно(е) [солнышко] 2

сугревное меженное теплое красное [солнышко] 1

теплое соболиное [одеяло] 2

+: теплая горница (Киж. Аксенов); теплая вода (Кенозеро. Третьяков); теплый ночлег (Киж. Сарафанов)

Как видим, в онежских былинах, в отличие от необрядовой лирики, эпитет *теплый*, как правило, используется для характеристики помещений: *Привела она во спальню во теплую...* (Гильф., 3, № 275); — *А пожалуй-ко ты в теплу парну баенку* (Гильф., 1, № 5). Заметим, что из атрибутивной цепочки *тепла(я) парна(я)* [баенка] образовалось сложное прилагательное *теплопарный* 'Фольк. Эпитет бани' (СРНГ: 44: 56), трижды зафиксированное в лексиконе сказителя Петра Калинина:

Ах ты молодой Василий да Никулич ли Ты пройди в палаты белокаменны, Там ты хлеба соли да откушаешь, А отдохнешь после теплопарной баенки (Гильф., 1, № 7).

Наиболее частотно (50 % словоупотреблений) эпитетосочетание с существительным *ложня(и)*, которое в былинном тексте используется в значении 'спальня' (СРНГ: 17: 110):

Сходи-ко во свою во теплую во ложню-ту, А спит-то там Чурилушка, он не прохватится (Гильф., 1, № 35); *Да где-ка твои ложни теплые, Да и где твои кровати тесовые, Где-ка мягкие перины пуховые?* (Гильф., 3, № 221).

Указанное значение в диалектном словаре сопровождается территориальными пометами: *Олон., Арх., Север.*

Реже теплым в былине представляется одеяло и солнце:

Приказала-то на погреб на холодный Да снести перины да подушечки пуховы, Одеяла приказала снести теплыи, Ена ествишку поставить да хорошую... (Гильф., 2, № 75); *Да ставае по утру он ранёшенько, До восходу тёпла краснаго солнышка...* (Гильф., 3, № 239).

К идиолектным эпитетосочетаниям, зафиксированным в лексиконе одного сказителя, можно отнести конструкции *теплая вода*, *теплая горница* и *теплый ночлег*:

А тут услыхала девка поваренка, Проходит в эту теплую горницу (Гильф., 2, № 132); *И отдал благодарность солнышку князю Владимиру На теплом ночлеге, на мягкой постеле...* (Гильф., 2, № 109).

Сопоставление приведенных выше словарных статей позволяет задуматься о жанровой дифференциации синтагматических связей эпитета *теплый*. В необрядовой лирике самыми употребительными атрибутивными парами оказались *теплое лето* и *теплое гнездо*, не зафиксированные в онежском эпосе:

Наступает лето теплое, — Со миленьким во саду гулять (Соб., 5, 146); *Не ясен сокол со тепла гнезда солетает, — Добрый молодец со квартирушки долой соезжает* (Соб., 6, 138).

В отличие от отмеченных повсеместно сочетаний с существительными *лето* и *гнездо*, атрибутивные пары *теплые дни* и *теплый ветер* проявляют пространственную закреплённость (Олонец и Сибирь соответственно):

Теплых дней дождусь, — в казаки наймусь (Соб., 2, 423); *Ой вы, ветры, ветры теплые, Ветры теплые, вы, весенние, Вы не дуйте здесь, вас не надобно!* (Соб., 5, 721).

Безусловно, говорить о жанровой маркированности того или иного эпитетосочетания нельзя, опираясь на один сборник, каким бы авторитетным он ни был. Отсутствие той или иной конструкции в олонецком «фольклорном диалекте» может быть свидетельством не жанровой, а территориальной дифференциации языка фольклора. В частности, обращение к другим былинным сборникам не выявило сочетаний с наименованиями времен года, в то время как пара *теплое гнездо* была зафиксирована один раз в западносибирских эпических песнях (XVIII в.): *Молоды Касьян сын Михайлович Выскакивал из сырой земли, Как есён сокол из тепла гнезда* (К. Д., 126).

Пространственно не ограниченное эпитетосочетание *теплое одеяло* можно отнести к разряду общежанровых. В лирических и эпических песнях рисуется идеальная постель с мягкой периной, высоким изголовьем и теплым одеялом. Ср.:

Да ложился спать бы на кроваточку, На тую кроваточку на кисовую, Да на эту он перину на пуховую, Да на тое на круто складно на зголовицу Да под тое теплое ты одеялышко под соболиное (Гильф., 1, № 35) и *Постелюшку стлала, Зголовище клала, Клала зголове высоко, Одеяло тепло...* (Соб., 3, 103).

Другое общежанровое сочетание *теплая спальня* в необрядовой лирике встречается реже и, как правило, в песнях северных губерний (Архангельск, Вологда):

Отворись, отворись, тепла спальня, Пробудись, моя милая лада! (Соб., 2, 484).

Таким образом, пробные словарные статьи словаря эпитетов оказываются весьма информативными для исследователя. Они показывают, как на фоне постоянных эпитетов, речения с которыми, по мысли Ф. И. Буслаева, «можно уподобить типам греческих божеств, которые, однажды создавшись, никогда не изменялись» [3: 286], выступают переменные определения, одни из которых являются свидетельством индивидуального начала (идиолектной дифференциации народно-песенного языка), другие связаны с местом фиксации фольклорных текстов. Привлечение материалов разных жанров позволит выявить как общефольклорный фонд атрибутивных сочетаний, так и жанровые различия, определяемые не только качественным составом эпитетов и эпитетосочетаний, но и их количественными характеристиками. Полагаем, что перечень аспектов исследования в будущем будет расширен за счет внутрижанрового (например, семейные, любовные, солдатские, сатирические песни), временного (песни XVIII, XIX, XX веков), кросскультурного (русский фольклор и фольклор других этносов). В целом же дифференциальный словарь в сочетании с конкордансом обеспечивают

получение объективных характеристик конкретного языкового материала.

В заключение хочется выразить уверенность в том, что рассуждение Ф. И. Буслаева о пользе словаря фольклорных эпитетов, приведенное

в начале нашей статьи, станет отправной точкой для рождения разных лексикографических проектов, которые в свою очередь будут способствовать формулировке новых идей и исследовательских перспектив.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Гильф. – Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года: В 3 т. Изд. 2-е. СПб.: Типография Императорской АН, 1894–1900. Т. 1–3. (В скобках указывается номер тома и номер былины.)

К. Д. – Древние русские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Подгот. А. П. Евгеньевой и Б. П. Путиловым. М.: Наука, 1977. 88 с.

МАС – Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Рус. яз., 1981–1984. Т. 1–4.

Соб. – Великорусские народные песни: В 7 т. / Изд. проф. А. И. Соболевским. СПб.: Гос. типография, 1895–1902. Т. 2–6. (В скобках указывается номер тома и номер песни.)

СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л.; СПб.: Наука, 1965–2014. Вып. 1–47.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алешина Л. В. Словари авторских новообразований в контексте современной отечественной лексикографии. Орел: Изд-во ОГУ, 2001. 172 с.
2. Бобунова М. А., Хроленко А. Т. Словарь языка русского фольклора: Лексика былины. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2006. Ч. 1–2.
3. Буслаев Ф. И. Преподавание отечественного языка. М.: Просвещение, 1992. 512 с.
4. Никитина С. Е., Кукушкина Е. Ю. Дом в свадебных причитаниях и духовных стихах (опыт тезаурусного описания). М.: ИЯЗ. РАН, 2000. 216 с.
5. Праведников С. П. Основы фольклорной диалектологии. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2010. 231 с.
6. Толстой Н. И. Этнокультурное и лингвистическое изучение Полесья (1984–1994) // Славянский и балканский фольклор / этнолингвистическое изучение Полесья. М.: Индрик, 1995. С. 5–18.

Bobunova M. A., Kursk State University (Kursk, Russian Federation)

F. I. BUSLAEV AND FOLKLORE LEXICOGRAPHY

The article tells about the role of F. I. Buslayev in the development of folklore lexicography. His works as a source of multiple ideas for lingvofolkloristics inspired researchers from Kursk to create a dictionary of the Russian folklore language. The established principles of lexicographic folk songs' description were analyzed: genre differentiation of the material, territorial and temporal homogeneity of sources. Special attention is paid to the role of concordances of folklore texts in compiling dictionaries of different types. A detailed description of the microstructure of the epithet dictionary is given. The following characteristics of the zones (statistical, illustrative, syntagmatic and additional info) of the dictionary article are studied. The author provides arguments in favor of the high value of single-genre dictionaries and demonstrates that they present a certain fragment of the linguistic picture of the world. In addition, the idea of a series of epithet dictionaries compiled on the same model, but on the materials of different folk genres is expressed. This could reveal common folklore tendencies as well as specific genre traits. The author conducted a comparative analysis of dictionary entries with the headword *Теплый* "warm" in epithet dictionaries of epic poems and non-ritual lyrics. Our studies brought us to the conclusion of high informative potential of epithet dictionaries.

Key words: folklore lexicography, dictionary, concordance, folklore language, lingvofolkloristics

REFERENCES

1. Aleshina L. V. Dictionaries of the author's occasionalisms in the context of contemporary Russian lexicography. Orel, 2001. 172 p. (In Russ.)
2. Bobunova M. A., Hrolenko A. T. The dictionary of the Russian folklore language: Bylina lexics. Kursk, 2006. Part 1–2. (In Russ.)
3. Buslaev F. I. Teaching the native language. Moscow, 1992. 512 p. (In Russ.)
4. Nikitina S. E., Kukushkina E. Ju. House/home in the wedding laments and spiritual poetry (the experience of thesaurus description). Moscow, 2000. 216 p. (In Russ.)
5. Pravednikov S. P. Basics of folklore dialectology. Kursk, 2010. 231 p. (In Russ.)
6. Tolstoj N. I. Ethnocultural and linguistic study of Polesye region (1984–1994). *Slavyanskiy i balkanskiy fol'klor / etnolingvisticheskoe izuchenie Poles'ya*. Moscow, 1995. P. 5–18. (In Russ.)

Поступила в редакцию 26.03.2018

ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ НИКИТИН

доктор филологических наук, профессор кафедры истории русского языка и общего языкознания факультета русской филологии Историко-филологического института, Московский государственный областной университет (Москва, Российская Федерация)
olnikitin@yandex.ru

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРИСТОМАТИЯ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОГО И ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКОВ» Ф. И. БУСЛАЕВА КАК ПАМЯТНИК ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ XIX ВЕКА

Предлагается аналитический обзор знаменитого труда Ф. И. Буслаева «Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков». Приводятся факты его создания. Рассматриваются структура и содержание работы. Отмечаются ее роль в формировании профессиональной культуры филолога и влияние на последующую традицию подготовки историко-лингвистических хрестоматий. Особый акцент делается на научной ценности первой полной хрестоматии исторических памятников и той традиции, которая получила развитие после публикации Ф. И. Буслаева.

Ключевые слова: история языкознания, славистика, памятники письменности, народная словесность, учебная литература

Имя Ф. И. Буслаева, знатока и радателя традиционной народной культуры, педагога-новатора (см. [1], [2], [3]), вдохновлявшего своим живым примером и любовью к словесности не одно поколение учителей, уже давно вписано в историю отечественного языкознания как первопроходца компаративистики.

Среди его трудов особое место занимает «Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков»¹, которая была выпущена как раз в период становления национальной системы филологического образования, все больше обращавшего внимание на пользу изучения источников русской письменной и устной культуры, ее подлинных шедевров. Многие из них хранились долгие годы под спудом архивов и библиотечных собраний. Ф. И. Буслаев словно подхватил призыв академика А. Х. Востокова издавать памятники старины, открывать уникальные собрания древностей, сделать их достоянием общественности, включить эти факты в контекст научных дискуссий и позволить прикоснуться к редким документам и произведениям народного творчества широкой аудитории читателей, воспитывать их в новых просветительских традициях и прививать им любовь к Отечеству².

В начале 1850-х годов Ф. И. Буслаев задумал подготовить «на основании наставления для образования воспитанников военно-учебных заведений, высочайше утвержденного 24-го декабря 1848 года» два больших труда: первый впоследствии получил название «Опыт исторической грамматики русского языка» (1858), а второй – «Историческая хрестоматия...» (1861). Это требовало от ученого не только основательных знаний по «памятниковедению», но и поисков редких источников, их отбора и расшифровки, систематиза-

ции материала. Такая кропотливая работа продолжалась около десяти лет. К середине 1850-х годов в целом была готова концепция «русской грамматики сравнительно со словенскою», как называл ее Ф. И. Буслаев в письме к В. И. Григоровичу от 8 марта 1855 года. С душевным волнением он сообщал о невероятных трудностях в подготовке этого издания:

«...» однако скажу Вам, что были у меня такие времена, что не только не мог писать писем, но мало говорил, и это случалось по несколько месяцев. Года два тому назад я чувствовал себя в страшной пытке, когда, изготовив 1-ю часть русской Грамматики, сравнительно со словенскою, я почувствовал живо, сколько еще нужно приуготовить работ для того, чтобы составить учебник, на основании современных требований науки, в том идеальном совершенстве, которое чувствуется, но которого привести в исполнение нет возможности (ОР РГБ. Ф. 28. Картон 4. Ед. хр. № 28. Л. 5 об.–6).

Из письма Ф. И. Буслаева В. И. Григоровичу понятно, что эта работа растянулась на несколько лет: в начале ее ученый готовил первую часть «Опыта исторической грамматики», которая была задумана в русле новых компаративистских тенденций в науке тех лет, – то, чем он «заразился» еще в молодости от своих учителей И. И. Давыдова, М. П. Погодина и др., открывая для себя труды основоположников сравнительного изучения языков – В. фон Гумбольдта, Я. Гримма, Ф. Боппа.

Затем Ф. И. Буслаев разрабатывал вторую часть – синтаксис. Вот как он писал об этом В. И. Григоровичу в том же послании:

Гораздо легче было мне работать над 2-ю частью, т. е. над Синтаксисом, хотя и приходилось почти на каждом шагу прорубать новый путь в темном лесу страшной груды выписок, начиная от рукописей XI в. и до Жуковского и Пушкина включительно (Там же. Л. 6).

Потом Ф. И. Буслаев принялся за работу над собранием текстов памятников церковной, деловой и народной словесности, имея уже значительный практический опыт использования рукописного материала и изданных документов для учебных и научных целей. Он поделился своими сокровенными мыслями с близким по духу соратником – славистом В. И. Григоровичем:

<...> вслед за Грамматикой, тружусь для военно-учебных [заведений] (взятое в квадратные скобки слово восстанавливается нами предположительно, в тексте письма оно замазано кляксой. – О. Н.) над составлением Хрестоматии церковно-славянского и древнерусского языка. У меня накопился богатый запас статей по рукописям (Там же. Л. 6 об.).

Это действительно так: Ф. И. Буслаев отлично знал особенно московские библиотеки и хранилища и находился в кругу просвещенных филологов, историков, архивистов, которые в той или иной мере помогали ученому и направляли его исследовательские интересы. В их числе в «Предисловии» к «Исторической хрестоматии» он с благодарностью упоминал О. М. Бодянского, А. Ф. Бычкова, А. Е. Викторова, А. В. Горского, В. И. Григоровича, И. Е. Забелина, князя М. А. Оболенского, А. Н. Пыпина, синодального ризничего архимандрита Савву, графа С. Г. Строганова и Н. С. Тихонравова.

Итак, в 1861 году была напечатана внушительная в 1632 столбца «Историческая хрестоматия» Ф. И. Буслаева. В «Предисловии» к своему труду ученый писал:

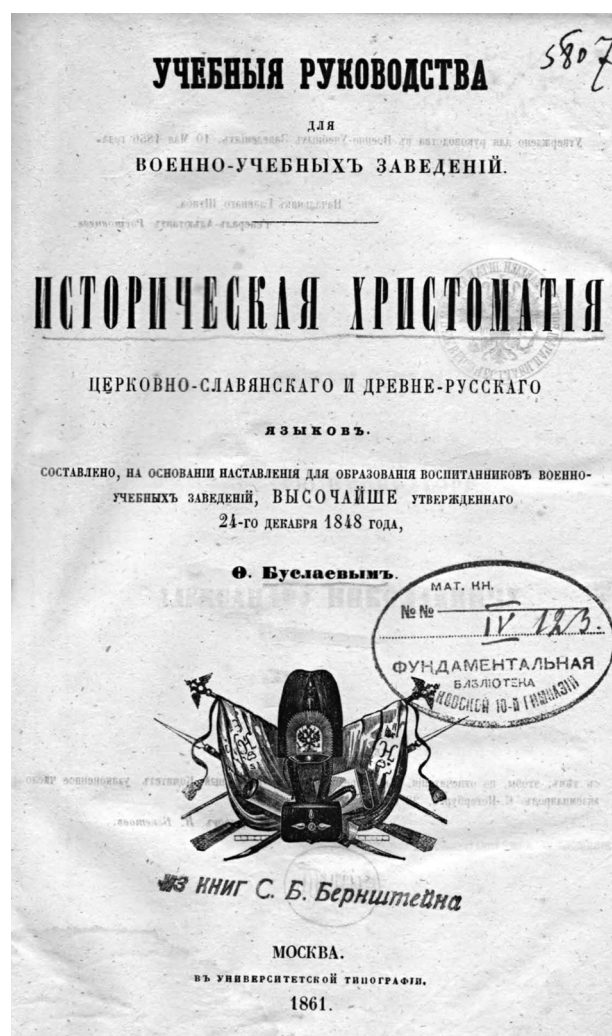
Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков имеет двоякое назначение: во-первых[,] служит руководством к изучению этих языков и, во-вторых, предлагает образцы для древнего периода истории нашей словесности. В первом отношении эта Хрестоматия состоит в связи с Опытном исторической грамматики русского языка, во втором с Историею русской литературы г. Галахова, принятою в числе учебных руководств для военно-учебных заведений³.

Книга состояла из двух больших разделов – «отделений». В первом Ф. И. Буслаев поместил отрывки из Священного Писания и богослужебных книг, «начиная с древнейших письменных памятников до исправленного текста Библии»⁴. Во втором содержались другие произведения церковно-славянской и древнерусской литературы. Все памятники Ф. И. Буслаев расположил в хронологическом порядке: с XI по XVI век – в «Отделе первом», с XI по XVII век – в «Отделе втором».

Большой интерес представляют также два приложения к «Исторической хрестоматии»: «Памятники народной словесности XVIII в.» и «Образцы современной народной словесности».

Важной особенностью этой энциклопедии письменной культуры является публикация новых текстов, которые значительно обогатили свод уже имеющихся изданий и в таком объеме

в книге учебного характера выпускались впервые. Для Ф. И. Буслаева было важно не только показать определенный стандарт жанра, так сказать, канонический стиль эпохи, но и дать своим читателям представление о богатстве словесно-изобразительных красок, расширяющих сведения о языке древних памятников. Потому, например, в «Отделе первом», наряду с восточковским изданием «Остромирова Евангелия» он поместил отобранные специально для своей «Исторической хрестоматии» тексты толковой Псалтири, галицкого списка Евангелия, служебников Антония Римлянина, Варлаама Хутынского и митрополита Киприана, разные списки библейских книг и сборников религиозного содержания. Этот «Отдел» по преимуществу и составили новые тексты, изданные автором впервые.



Титульный лист «Исторической хрестоматии» Ф. И. Буслаева

Ф. И. Буслаев снабжал свои публикации качественным и весьма подробным палеографическим, историческим, лингвистическим комментарием, указывая разночтения, нюансы графического орнамента, передачу звуков на

письме, особенности использования грамматических форм и т. д. Ученый также давал общую лингвокультурную оценку памятнику и разъяснял элементы его структуры и текстологии. Например, комментарий к публикации глав из «Остромирова Евангелия» открывается такой фразой:

Остромиров список Евангелия из всех памятников русской письменности в наибольшей чистоте удержал особенности древнейшего болгарского текста, с которого был списан. <...>

Русских особенностей встречается больше в Послословии и в Синаксарии, нежели в самом тексте Евангелия.

Это Евангелие *Недельное* (Апракос), то есть расположенное не по евангелистам в последовательном порядке глав, а по неделям, начиная с Пасхи. Между текстами Евангелия помещен Синаксарий, то есть краткое извещение о праздниках и святых, расположенное по неделям и месяцам⁵.

Издавая текст из сборника, принадлежавшего Императорскому московскому обществу истории и древностей российских («Притчи Соломоновы»), ученый замечал, что

он отличается признаками глубокой древности, как это явствует из сличения его с исправленным. Правописание отличается особенностями болгарского оригинала, с которого списывал русский писец. Употребляются юсы, хотя и не всегда правильно⁶.

«Отдел второй» – лебединая песня вдохновенной буслаевской стихии слова, в которой он смог выразить лучшие свои идеи, дать полноценную панораму древней и новой «физиологии» текстов. Эта часть, на наш взгляд, наиболее интересна и оригинальна, так как впервые представляет всю палитру художественных орнаментов и стилистических рисунков древнерусских памятников, как известных – «Изборника Святослава», «Супрасльской рукописи», «Синайского патерика», списков «Кормчей книги», «Златой Цепи», «Пчелы», «Златоструя», но представленных часто в рукописных подлинниках, так и редких, только входивших в филологическую культуру того времени. К последним можно отнести корпус текстов делового содержания, начиная с «Грамоты великого князя Мстислава Володимировича и сына его Всеволода Мстиславовича» XII века и завершая судебными «смехотворными» повестями и шутивной челобитной XVII века. В «Исторической хрестоматии» впервые в таком объеме даются образцы приказной литературы, которая в начале XIX века в историко-лингвистических целях была изучена слабо и не входила в культурный слой источников (см.: [4]). Ф. И. Буслаев же, напротив, показал богатство ее жанров и трансформаций, влияние на формирование стилей литературного языка. К числу таких памятников отнесены публикации текстов «Судебника» 1550 года, отчета посла времени Ивана Грозного, духовные грамоты, «Уложение» царя Алексея Михайловича и др. Даже период включительно по XV век, где не было такого

разнообразия литературных жанров, освещен Ф. И. Буслаевым очень подробно и познавательно: от летописей и монастырских сборников до «Слова о полку Игореве», «Моления» Даниила Заточника, «Хронографа» 1494 года, хождений и сочинений по физике Земли и телесным наукам.

Полагаем, что исследователям и студентам-филологам XXI века здесь будут полезны прежде всего комментарии ученого к изданным текстам, показывающие живой интерес Ф. И. Буслаева к каждому памятнику, его внимание к деталям, недюжинное филологическое чутье и талант самобытного ученого и педагога. Фрагмент Волынской летописи по Ипатьевскому списку сопровождался таким пояснением:

Волынская летопись отличается от прочих поэтическим изложением и украшенным слогом.

Правописание Ипатьевского списка русское. Местные особенности выговора обозначались в обоюдном переходе звуков *ц* и *ч*, *у* и *в*, *ѣ* и *и*⁷.

Далее автор «Исторической хрестоматии» разъяснял отдельные слова и выражения, например:

Самодержьца всея Руси: любопытное выражение, важное для истории царского титула. *Самодрьжьць* есть перевод греческого *αὐτοκράτωρ*; встречается уже в древнейших славянских памятниках⁸.

В другом месте Ф. И. Буслаев почти восклицал:

Замечательно, что для переговоров посылается певец (*судьць* – музыкант). Он должен петь песни половецкие, имеющие чарующую силу убеждения. Если же не подействуют песни, подействует зелье *евшиань*⁹.

За публикацией фрагмента «Слова о полку Игореве» следовала целая статья ученого, рассказывавшая об истории нахождения этого уникального памятника и его судьбе, об общих языковых особенностях, о сюжете. Между прочим, он замечал:

...соединение древнейших признаков языка и правописания с позднейшими свидетельствует ясно, что этот памятник дошел до нас в позднейшем списке (XIV–XV в.), переписанном с древнейшего оригинала¹⁰.

Высокий исследовательский пафос содержат слова Ф. И. Буслаева о Бояне, о художественных достоинствах текста. Он словно проникал в душу неведомого автора:

Поэтическая часть Слова о полку Игореве имеет значительное сходство с многими произведениями народной фантазии, особенно с южнорусскими. Трудно сказать, кому принадлежит мифическая часть Слова, самому ли сочинителю или Бояну; во всяком случае для нас важно то, что сочинитель XII в. был только проникнут преданиями мифической старины, что по своему произведению распространил суеверное убеждение не только в сочувствии всей природы человеку, но и в чудесной силе и в особенном значении каких-то мифических существ¹¹.

Особенно подробно в «Исторической хрестоматии» представлены произведения XVI

и XVII веков – самый пестрый период в истории русского литературного языка допетровского времени, вобравший в себя и черты церковной книжности, и живые образцы народного творчества, и грамматические сочинения, и публицистику. Вызывает безмерное уважение и сейчас внимание Ф. И. Буслаева к «историческим хроникам» языка, запечатленного сразу в нескольких пространствах культуры. Он как будто находился, выражаясь словами Ю. М. Лотмана, «внутри мыслящих миров» – жил со своими героями, сочувствовал им или порицал их, молился за них и ликовал вместе с ними, когда искал «ключ разумения». Ф. И. Буслаев привлекает своих читателей в словесный лимонарь неизведанной поэтики старинных житий, посланий и путешествий.

Наряду с жанрами религиозного характера вроде Четых Миней здесь представлены такие интересные с точки зрения культуры языка того времени произведения, как «Домострой», сочинения князя Курбского, великорусские песни в записях Ричарда Джемса, «Лексикон» Памвы Беринды, «Грамматика» Мелетия Смотрицкого и азбуковник, письмо патриарха Никона и «Куранты», «Космография» и сочинения Симеона Полоцкого, «Урядник сокольников пути» и «Букварь» Кариона Истомина, повести, лечебники, сказания и притчи, апокрифическая литература, получившие распространение в этот период.

По сути дела перед нами целая славянская энциклопедия филологической культуры Отечества в ее лучших образцах. Каждый из них в изображении Ф. И. Буслаева получил живые черты узорчатого текста, в котором переплетались разные традиции, практические навыки и духовные чаяния русского народа.

Вот, например, что ученый написал в сопроводительной статье об одном примечательном памятнике деловой литературы XVII века:

Урядник сокольников пути есть нечто (так в тексте. – О. Н.) иное, как устав соколиной охоты и всего, что к ней относится. Для истории языка и слога этот памятник предлагает много любопытных подробностей в описании быта охотничьего и обрядов или церемоний, сопровождавших охоту. Обрядом определялись не только действия охотников, но и слова их. Слог отличается удивительною наивно-стью, особенно там, где составитель Урядника выражает, так сказать, свои эстетические воззрения на красоту охотничьих птиц и на тонкое умение и ловкость охотника¹².

Говоря о сочинениях Иоанникия и Софрония Лихудиев (так у Ф. И. Буслаева), автор «Исторической хрестоматии» указал и на особенности стилистики текста:

В слоге их господствует принятая в то время напыщенность, явствующая уже в самых заглавиях сочинений: *Мечець духовный*, *Манна* и пр. Слич. *щить*, *мечь*, *стрѣла*, *праца*. Язык искусственный, исполненный гречизмов¹³.

Ф. И. Буслаев еще в ранних своих сочинениях «О преподавании отечественного языка» (1844)

и «О влиянии христианства на славянский язык. Опыт истории языка по Остромирову Евангелию» (1848) не раз говорил о той высокой духовной силе, о разуме народном, скрывавшихся в таких «безыскусственных» текстах. Для него песни, «всенародные пословицы», древние стихотворения, былины и другие образцы «простой» словесности всегда были теми источниками, с помощью которых он проникал в мифологическое сознание предков, улавливал их душевные переживания, нравственные поиски, видел образы давно ушедших времен, из чего и постепенно слагался, выражаясь словами В. фон Гумбольдта, дух народа. Поэтому и в такой, казалось бы, официальной «Исторической хрестоматии» он остался верен своему филологическому вкусу и творческому вдохновению певца народной культуры.

В «Приложение I» Ф. И. Буслаев включил фрагменты пословиц 1714 года по рукописи М. П. Погодина и сборнику 1746 года, отрывки из «Древних российских стихотворений» по изданию Калайдовича 1818 года, наговор, некоторые сказки из авторитетных собраний и изданий Забелина и Сахарова, подблюдные песни и русские стихотворения 1790–1791 годов, хранившиеся в Румянцевском музее. Показательны стихи о Соловее Будимировиче, Дюке Степановиче, Василии Буслаеве, о Садко в поэтическом изложении неизвестных сочинителей, собранные Киршей Даниловым и прокомментированные Ф. И. Буслаевым.

В «Приложение II» вошли образцы великорусского наречия Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Ярославской и Нижегородской губерний, хороводная песня «закамского наречия», говоры Южной Сибири, духовные стихи. Заключительные страницы издания посвящены краткому обзору элементов белорусского и малорусского (Ф. И. Буслаев употреблял такой термин, принятый в его время) наречий. Интересно, что в этой части он также помещал необходимые комментарии к текстам. Так, например, после публикации сказки, представлявшей собой образец вытегорского наречия Олонецкой губернии, Ф. И. Буслаев заметил:

Особенности этого наречия: 1) *ц* вм. *ч*; 2) *и* вм. *ѣ*, особенно в слове *вси*; 3) *миня*, *сиби* вм. *меня*, *себѣ*; 4) *си* и *се* вм. *ся*; 5) *іонѣ*, *іоны* вм. *онѣ*, *они*; 6) *ярда* вм. *арда*, т. е. орда (в смысле земли, страны); 7) *мáтышка* вм. *мáтушка*; 8) в род. пад. ед. ч. *-ого* вм. *-аго*¹⁴.

В качестве хрестоматийных материалов для изучения истории русского языка такие тексты исключительно ценны как фрагменты языковой картины мира народа в его бытовом и этнографическом выражении.

XVIII век в основную часть «Исторической хрестоматии» не вошел. Отдельные образцы текстов в небольшом количестве помещены автором в приложениях. Видимо, для середины XIX столетия, когда создавался этот труд, сочинения

А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, В. Е. Адоурова (см. о нем, напр., [5]), М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова и других филологов и грамматистов не воспринимались как проповедники и слагатели старинной литературы. Это была уже *новая* традиция, реформировавшая древнюю словесность и вводившая другие правила.

Е. Ф. Будде в памятной речи «О заслугах Ф. И. Буслаева как ученого лингвиста и преподавателя» сочувственно замечал:

Эта Христоматия представляет из себя такой громадный и крупный по своему значению *ученый* труд, что уже вскоре не могли без него обходиться ученые специалисты, жившие вдали от главных книгохранилищ и рукописных собраний России. В этой Христоматии помещены отрывки рукописных и старопечатных сочинений и редких изданий из разных книгохранилищ России и расположены в хронологическом порядке так, что всякий занимающийся языком и литературой может следить по этой Христоматии за развитием и изменением русского литературного языка на всем пространстве России, где только была в древности литературная деятельность... В этой Христоматии многие памятники изданы *впервые* в России, и мы по ней можем следить за областными изменениями языка, поскольку последние отражались в письменности. Кроме того, каждый отрывок снабжен в *Христоматии* Буслаева его примечаниями лингвистическими и историко-литературными¹⁵.

Действительно, работа, проделанная ученым в одиночку, была бы по силам нескольким работникам. Но Ф. И. Буслаев взялся сам за такой колоссальный труд, потребовавший от него энциклопедических познаний практически во всех отраслях гуманитарных наук: древней истории и религиозоведения, палеографии и археологии, этнографии и диалектологии, эстетики, филологии, психологии народного творчества, не говоря уж собственно о филологических методах, которые получили блестящее исполнение под талантливым пером Ф. И. Буслаева (см. также: [9: 53–54]).

Академик А. А. Шахматов в статье «Буслаев как основатель исторического изучения русского языка» с большим уважением отозвался об этой работе ученого:

Особенно ярко обнаружится значение Исторической грамматики Буслаева, если мы взглянем на изданную им в 1861 году Историческую христоматию церковно-славянского и древнерусского языков. По мысли автора, христоматия эта должна была служить между прочим руководством при изучении этих *языков*: для этого она поставлена в связь с Опытной исторической грамматикой. Христоматия содержит в себе тексты, взятые большей частью прямо из рукописей и напечатанные с удержанием всех особенностей древнего правописания, тексты эти относятся к XI–XVII веку. Таким образом, по христоматии можно наглядно изучать все те изменения, которым подвергалась в течение веков наша письменность. В приложениях приведены в высшей степени важные по своему научному значению памятники народной литературы XVIII в., а также образцы современной устной народной словесности. В примечаниях

к каждому изданному тексту находим указание на все важнейшее в историческом изучении языка и литературы. «Таким образом, — говорит Буслаев, — совокупность всех примечаний, расположенных в хронологическом порядке памятников, составляет как бы *историю языка и письменности в практическом изложении* (здесь и далее полужирный курсив наш. — О. Н.)». В этих примечаниях Буслаев не был стеснен школьными рубриками и на живых примерах, действительных фактах, извлеченных из первоисточников, показал, **что дает древний текст или современная разговорная речь для научной грамматики языка**, Буслаев научил вместе с тем будущих исследователей, **как следует оживить мертвую букву, как заставить старинную хартию или полуистлевший пергамен давать свидетельские показания о живом произношении минувших веков, о звуковом и грамматическом строе древнего языка**. На изданных и разобранных текстах Буслаев показал, что изучение русского языка должно быть основано на исследовании древних и современных образцов языка, что **грамматика не предписывает законов словоупотребления, а что она прежде всего регистрирует факты языка и затем дает им сравнительно-историческое освещение**. Таким образом, Буслаев дал нам два издания русской исторической грамматики: в одном из них видим школьное, теоретическое изложение особенностей русской речи, в другом — практическое и научное переложение того же предмета¹⁶.

«Историческая христоматия» Ф. И. Буслаева — целая вежа в лингвистическом «памятниковедении» России. Среди достоинств этой книги, отмеченных современниками и учениками Федора Ивановича, было высказано и такое мнение:

Множество неизданных раньше памятников вошло и в его известную *Историческую христоматию* (так у Миллера, правильно: христоматию. — О. Н.) *церковно-славянского и древнерусского языков* (М., 1861), с многочисленными примечаниями историко-литературными и лингвистическими, что делает эту обширную и давно вышедшую из продажи книгу до сих пор незаменимым пособием для изучения образцов языка¹⁷.

Но и после такого успеха, когда тщанием Ф. И. Буслаева были опубликованы, прокомментированы и введены в учебную практику изданные ранее и оригинальные тексты всего исторического периода развития письменной культуры, работа в этом направлении не прекращалась. Ясно было, что «Историческая христоматия» как учебное руководство — вершина лингвистического источниковедения тех лет, по сути дела разработанный ученым новый жанр пособий по методике изучения церковно-славянского и древнерусского языков, причем не упрощенного, так сказать, адаптированного свойства, а имеющего высокий научно-исследовательский потенциал. Но как быть с теми, кто только начинает обучаться основам исторической грамматики? Для этой цели Ф. И. Буслаев принимается за новый труд, который, хотя и в сокращенном виде, давал ясное представление об эволюционном характере словесности, показывал развитие ее форм и жанров духовного и светского содержания. Он издал «Русскую христоматию» с подзаголовком «Памятники древней русской литературы

и народной словесности с историческими, литературными и грамматическими объяснениями и с словарем»¹⁸, предназначавшуюся для «средних учебных заведений» и выдержавшую более десяти изданий.

Таким образом, классическая «Историческая хрестоматия» Ф. И. Буслаева, изданная только в 1861 году, продолжила свой путь и послужила верным ориентиром не одному поколению гимназистов, студентов и учителей, познававших мир древнерусской письменной культуры и национальной словесности в ее становлении и развитии такой, какой это представлял себе создатель отечественной филологии Ф. И. Буслаев.

Во всей нашей лингвистической практике мы не знаем ничего более интересного, полного, богатого по жанрам и историко-художественным достоинствам собрания текстов для учебной работы, чем «Историческая хрестоматия» Ф. И. Буслаева. Лишь только в конце 1930–1940-х годов этот опыт в какой-то мере был использован С. П. Обнорским и С. Г. Бархударовым ([6], [7], [8]) при подготовке «Хрестоматии по истории русского языка», которая заменила дореволюционную книгу Ф. И. Буслаева, ставшую библиографической редкостью и не использовавшуюся скорее

по идеологическим причинам. Не переиздана она и до сих пор, хотя, по нашему мнению, этот колоссальный труд ученого – не только памятник лингвистической мысли, а историко-культурный феномен, который нисколько не устарел.

Внимание к филологическому прошлому русского народа, глубокая природная связь с ним и отличное знание древних законов, обычаев и обрядов – «юридического и семейного быта», как говорили раньше, позволили Ф. И. Буслаеву, наряду с его талантливыми учителями и современниками А. Х. Востоковым, М. П. Погодиным, И. И. Срезневским и другими учеными, заложить основы *исторического* изучения славяно-русской филологии, сделать эту науку главным звеном в светском и духовном образовании. Многие замечательные ученики Ф. И. Буслаева: Н. С. Тихонравов, М. Н. Сперанский, В. О. Ключевский – продолжили эту традицию, воздавая должное тому, кто первым вступил на широкую дорогу научного изучения памятников словесной культуры, раскрыл их глубокий художественный смысл, заглянул в душу древнерусского автора, расшифровал причудливый слог и сделал его понятным и близким каждому человеку. Этот подвиг Ф. И. Буслаева не забыт и поныне.

СОКРАЩЕНИЕ

ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См.: [Буслаев Ф. И.] Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. Составлено, на основании наставления для образования воспитанников военно-учебных заведений, высочайше утвержденного 24-го декабря 1848 года, Ф. Буслаевым. М., 1861.
- ² До Ф. И. Буслаева известностью пользовались хрестоматии А. Д. Галахова. См., например: [Галахов А. Д.] Полная русская хрестоматия / Сост. А. Галахов. 3-е изд., доп. Ч. 1–3. М., 1846–1849; [Галахов А. Д.] Историческая хрестоматия церковно-славянского и русского языка / Сост. А. Галахов. Т. 1. М., 1848. Тот же автор издавал свои работы и по поручению военного ведомства. Об этом есть упоминание у Федора Ивановича, см.: Буслаев Ф. И. Опыт исторической грамматики русского языка. Учебное пособие для преподавателей. Ч. I. Этимология. М., 1858.
- ³ [Буслаев Ф. И.] Историческая хрестоматия... С. I.
- ⁴ Там же.
- ⁵ Там же. Стлб. 12–13.
- ⁶ Там же. Стлб. 158–159.
- ⁷ Там же. Стлб. 577.
- ⁸ Там же.
- ⁹ Там же. Стлб. 578.
- ¹⁰ Там же. Стлб. 596.
- ¹¹ Там же. Стлб. 598.
- ¹² Там же. Стлб. 1275.
- ¹³ Там же. Стлб. 1287.
- ¹⁴ Там же. Стлб. 1586.
- ¹⁵ См.: Будде Е. [Ф.] О заслугах Ф. И. Буслаева как ученого лингвиста и преподавателя. Речь, читанная в торжественном заседании Казанского общества археологии, истории и этнографии 28 сентября 1897 года. Казань, 1898. С. 21.
- ¹⁶ Шахматов А. А. Буслаев как основатель исторического изучения русского языка // Четыре речи о Ф. И. Буслаеве, читанные в заседании Отдела Коменского 21-го января 1898 года... СПб., 1898. С. 15–16.
- ¹⁷ Миллер В. Ф. Памяти Федора Ивановича Буслаева // Памяти Федора Ивановича Буслаева. М., 1898. С. 28.
- ¹⁸ См., например: [Буслаев Ф. И.] Русская хрестоматия. Памятники древней и новой литературы и народной словесности с историческими, литературными и грамматическими объяснениями и с словарем. Для средних учебных заведений / Составил Федор Буслаев. Издание одиннадцатое. М., 1909.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондаренко М. А. Методическое наследие Федора Ивановича Буслаева (К 200-летию со дня рождения) // Русский язык в школе. 2018. № 4. С. 42–47.
2. Злобина Н. Ф. Концепция историзма в филологическом наследии Ф. И. Буслаева: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2010. 50 с.

3. Кызласова И. Л. История изучения византийского и древнерусского искусства в России (Ф. И. Буслаев, Н. П. Кондаков: методы, идеи, теории). М., 1985. 181 с.
4. Никитин О. В. Русская деловая письменность как этнолингвистический источник (на материале памятников севернорусских монастырей XVIII века): Дис. ... канд. филол. наук. М., 2000. 455 с.
5. Никитин О. В. Василий Евдокимович Адодуров (К 300-летию со дня рождения) // Русский язык в школе. 2009. № 5. С. 104–110.
6. Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка: Пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. Часть первая. Л.; М., 1938. 320 с.
7. Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. Часть вторая. Выпуск первый. М., 1949. 292 с.
8. Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. Часть вторая. Выпуск второй. М., 1948. 342 с.
9. Смирнов С. В. Ф. И. Буслаев. М., 1978. 96 с.

Nikitin O. V., Moscow State Region University (Moscow, Russian Federation)

**“HISTORICAL ANTHOLOGY OF CHURCH SLAVONIC
AND OLD RUSSIAN LANGUAGES” BY F. I. BUSLAEV AS A MONUMENT
TO THE PHILOLOGICAL CULTURE OF THE XIXth CENTURY**

An analytical overview of the famous work by F. I. Buslaev “Historical Anthology of the Church Slavonic and Old Russian Languages” is offered. The facts of its creation are given. The structure and content of the work are considered. Its role in the formation of professional culture of the philologist and its influence on the subsequent tradition of preparation of historical and linguistic textbook is noted. Special emphasis is placed on the scientific value of the first complete textbook of historical monuments and the tradition that was developed after Buslaev’s publication.

Key words: history of linguistics, Slavistics, literary texts, folk literature, educational literature

REFERENCES

1. Bondarenko M. A. Methodological legacy of Fedor Ivanovich Buslaev (the 200th birthday anniversary). *Russkiy yazyk v shkole*. 2018. № 4. P. 42–47. (In Russ.)
2. Zlobina N. F. The concept of historicism in the philological heritage of F. I. Buslaev. The author’s abstract dis. ... Doctor of Philology. Moscow, 2010. 50 p. (In Russ.)
3. Kyzlasova I. L. History of studying Byzantine and Old Russian art in Russia (F. I. Buslaev, N. P. Kondakov: methods, ideas, theories). Moscow, 1985. 181 p. (In Russ.)
4. Nikitin O. V. Russian business writing as an ethnolinguistic source (on the material of monuments of North Russian monasteries of the XVIIIth century). Thesis for the degree of candidate of philological sciences. Moscow, 2000. 455 p. (In Russ.)
5. Nikitin O. V. Vasilij Evdokimovich Adodurov (To the 300th birthday anniversary). *Russkiy yazyk v shkole*. 2009. No 5. P. 104–110. (In Russ.)
6. Obnorsky S. P., Barkhudarov S. G. Anthology on the history of the Russian language: a guide for students of higher educational institutions. Part one. Leningrad, Moscow, 1938. 320 p. (In Russ.)
7. Obnorsky S. P., Barkhudarov S. G. Anthology on the history of the Russian language. Part two. Issue one. Moscow, 1949. 292 p. (In Russ.)
8. Obnorsky S. P., Barkhudarov S. G. Anthology on the history of the Russian language. Part two. Issue second. Moscow, 1948. 342 p. (In Russ.)
9. Smirnov S. V. F. I. Buslaev. Moscow, 1978. 96 p. (In Russ.)

Поступила в редакцию 16.04.2018

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ ХРОЛЕНКО

доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета, Курский государственный университет (Курск, Российская Федерация)
khrolenko1938@gmail.com

САМОРОДНОЕ СЛОВО В ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Ф. И. БУСЛАЕВА

В работах Ф. И. Буслаева активно используется понятие «самородность», выступающее в форме прилагательного *самородный* в значении ‘природный’ (*самородные поэмы, самородная поэзия*). Естественным образом самородно и народное слово. Самородность Буслаев связывает с независимостью от личного произвола. Базовым признаком самородности является ее морально-этическое содержание. Единство народа и личности в творческом акте объясняет парадокс – «беспримерную ровность русского языка в его местных применениях». Самородность народного языка обнаруживает неоднослойность слова и текста, а также наличие смысловой аккумуляции в языковых единицах. Аккумуляция объясняет свойство языка быть основным этническим признаком, является базой эвристики и креативности слова, источником познания. Так, изучение истории народа невозможно без обращения к языку, в котором отразился пройденный народом путь. Идеи Буслаева о самородности народнопоэтического слова легли в основу будущей лингвофольклористики, которая у филолога началась с наблюдений над именами собственными в фольклорных текстах и анализа постоянных эпитетов как результата лаконизма традиционной культуры. Буслаеву принадлежит мысль о целесообразности словаря постоянных эпитетов, посредством которого можно достоверно определить, во что вдумывался русский человек. Он первым оценил познавательную и инструментальную пользу лексикографизации лингвистических методов. Исследуя самородное слово, Буслаев фактически стал первым отечественным филологом в самом современном смысле этого слова.

Ключевые слова: Ф. И. Буслаев, самородное слово, неоднослойность текста, аккумуляция культурных смыслов, лингвофольклористика, постоянный эпитет

В дни юбилея Федора Ивановича Буслаева (1818–1897) вспомним, что языкознание – это «наука возвратов» (О. Н. Трубачёв), и вновь откроем книги замечательного русского ученого – «О преподавании отечественного языка» (1844), «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (1861), а также итоговый мемуарный труд «Мои досуги» (1886) и попытаемся еще раз представить себе научную картину мира выдающегося филолога, увидеть, как разнообразие исследовательских интересов и гуманитарный энциклопедизм складывались в ту концепцию, которая определила вклад ученого в отечественную культуру.

Важно подчеркнуть, что Ф. И. Буслаев родился и формировался в то время, когда в Европе, включая Россию, господствовал романтизм, когда усилиями Ф. Вольфа и А. Бёка складывалась новоевропейская филология, ориентированная на живые языки, когда В. фон Гумбольдт размышлял над философскими вопросами языка и когда Р. Раск, Ф. Бопп, Я. Гримм и А. Х. Востоков создавали самый мощный в истории гуманитаристики сравнительно-исторический метод. Однако для формирования концепции важны не только время и личная талантливость ученого, важна та идея, «изюминка», которая способствует кристаллизации массы наблюдений, выводов и предположений автора концепции. Заметим,

что в научной картине мира Ф. И. Буслаева центральное место заняло понятие «самородность», вербализованное словом *самородный*. На страницах «Исторических очерков» не раз встретятся *самородные поэмы*, а также *самородная поэзия*. В годы, когда писались «Исторические очерки» Буслаева, другой ревнитель русского языка – Даль готовил к изданию свой великий Словарь, в четвертом томе которого истолковывалось прилагательное *самородный* как ‘природный’, противоположный *искусственному, деланному*¹.

Перечитывая I том «Исторических очерков русской народной словесности», постепенно приходишь в содержание прилагательного, ставшего в концепции Ф. И. Буслаева базовым термином. Самородный – в своем происхождении независимый от личного произвола. В слове, полагал ученый, народ видит не произвольную мысль отдельных лиц, а мыслительность целых поколений, никому неведомо – когда и как образовавшуюся. В силу этого самородное принадлежит всем.

Как самородная эпическая поэзия есть произведение всей массы народа, получившее начало неизвестно когда, слагавшееся и изменявшееся в течение многих веков и переходившее из рода в род по преданию, так и язык есть общее достояние всего народа, объемлющее в себе деятельность многих поколений. Как сказка, как

предание, язык принадлежит всем, а потому, замечает Ф. И. Буслаев, кто поет песню или рассказывает сказку, тому она и принадлежит как его литературная собственность. Фундаментальным признаком самородности является ее морально-этическое содержание.

...Едва ли можно допустить в эпической самородной поэзии не только решительное оскорбление нравственного чувства, но даже и малейшее намеренное уклонение от добра и правды².

Естественным следствием кооперации народа и личности в творческом акте становится диалектность языка и традиционной культуры. Ф. И. Буслаев отмечает как парадокс беспримерную ровность русского языка в его местных применениях. Провинциальные говоры не искажают первоначального организма русского языка, а только развивают его богатства и потому все вместе составляют величественное целое, которое мы называем народным языком русским. Чтобы понять основные свойства русского языка, надо обратиться к изучению областных наречий.

Благодаря самородности народный язык, по оценке Ф. И. Буслаева, свободен в производстве и образовании слов, необыкновенно чувствителен в сочетании звуков для выражения непосредственных впечатлений, прост и ясен в синтаксическом сложении. Эти свойства делают язык до бесконечности разнообразным в его местных видоизменениях и выгодно отличают его от литературного или делового языка (см., напр., [5]) с его «стеснительными границами».

Размышления о самородности слова ведут к предположению о наличии такого свойства, как неоднослойность.

В свое время М. М. Бахтин говорил о двух полюсах текста. С одной стороны, за каждым текстом стоит система языка, которой в тексте соответствует все повторимое и воспроизводимое, все, что может быть дано вне данного текста. С другой – каждый текст как высказывание является чем-то индивидуальным, единственным и неповторимым. Об этом же на примере живописного полотна рассуждал испанский философ Х. Ортега-и-Гассет. Первое, с чем мы сталкиваемся, – мазки на холсте, складывающиеся в картину внешнего мира. Второе – внутренняя жизнь картины, мир идеальных смыслов, пропитывающих каждый отдельный мазок. Эта скрытая картина не привносится извне, она зарождается в картине и только в ней живет. Аналогичная мысль уже на примере художественного текста высказывалась Д. С. Лихачевым. Над текстом, писал замечательный филолог, витает еще некий метасмысл, который и превращает текст из простой знаковой системы в систему художественную.

Второй «слой», вне всякого сомнения, отличается сложностью. Это то, что недифференцированно относят к смысловому пространству тек-

ста. На этом уровне базируется так называемая память языка, осуществляется аккумулирующее свойство слова, возникает предположение о «невной» культуре, которую называют «скрытой», «имплицитной» и которая проступает как тончайший намек, непонятный даже самим ее носителям, как легкие «дуновения», самые невероятные «бормотания» культуры, основополагающие ее самобытность как своеобразное «поле культурного подразумеваемого». В лекции по истории отечественной литературы, прочитанной наследнику престола, которого он обучал, Ф. И. Буслаев заметил, что под легкою игрою словесного произведения кроется нечто более существенное, нечто необходимое для нравственного бытия и отдельного человека, и целого народа [2: 420].

Напрямую о неоднослойности Ф. И. Буслаев не писал, однако косвенное признание неоднослойности слова и текста в концепции филолога видится прежде всего в смысловой аккумуляции, о которой он заговорил одним из первых. Слово не только практическое устройство передачи информации, но и инструмент мысли и аккумулятор культуры. Ф. И. Буслаев процесс аккумуляции представлял себе следующим образом: один и тот же герой в продолжение столетий действует в различных событиях народных и тем определяет свой национальный характер. Так и язык, многие века применяясь к самым разнообразным потребностям, становится сокровищницей всей нашей прошедшей жизни [3: 271]. Великий Пушкин обобщил это в своей формуле: «Москва... как много в этом звуке для сердца русского слылось! Как много в нем отозвалось!» (Евгений Онегин, XXXVI). Способность аккумулировать в себе культурные смыслы – свойство живого языка. Смысловая аккумуляция слова объясняет, почему при изучении иностранного языка нужны так называемые фоновые знания, что затрудняет перевод текстов, и почему так своевольна коннотация, а также многое другое.

Слово для Буслаева – «вернейшее хранилище предания». И в силу этого язык – самый важный этнический признак. Свою национальность народ определил языком, и по этой причине слово *язык* используется в значении 'народ'. Современные авторы философских работ с удовольствием вспоминают тезис немецкого мыслителя М. Хайдеггера – «Язык есть дом бытия», сформулированный философом в XX веке. Веком ранее Ф. И. Буслаев написал о слове: «Оно исключительно принадлежит народу, как *родной дом*... (выделено нами. – А. Х.)»³. Весьма назидательно для нас звучит вывод великого предшественника: аккумулированное в слове – неисчерпаемый источник познания. Ф. И. Буслаев признавался, что ему гораздо интереснее было анализировать только терминологию семейных отношений, именно самые слова: отец, мать, сын, дочь, брат,

сестра, свекровь, сноха, и на основании законов сравнительной грамматики возводить их к санскритскому языку для очевидного доказательства, что наши предки в незапамятные времена вместе с собою вынесли из своей азиатской прародины уже вполне благоустроенную семью [1: 300].

Опыт гуманитаристики показывает, что изучение истории невозможно без обращения к языку, в котором чрезвычайно достоверно и образно отразился весь пройденный народом исторический путь [6]. Об этом писал выдающийся русский языковед И. И. Срезневский:

Каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа, тем более важный, чем важнее понятие, им выражаемое. Дополняя одно другим, они все вместе представляют систему понятий народа, передают быль о жизни народа [7: 103].

Учеником Ф. И. Буслаева был замечательный русский историк В. О. Ключевский, оставивший свои воспоминания «Ф. И. Буслаев как преподаватель и исследователь». Историк обязан филологу тем, что тот растолковал значение языка как исторического источника [1: 529]. Вот впечатление Ключевского от статьи Ф. И. Буслаева «Эпическая поэзия»:

Заглавие вызвало во мне привычные представления об эпосе, «Магабхарате», «Илиаде», «Одиссее», о русских богатырских былинах. Читаю и нахожу нечто совсем другое. Вместо героических подвигов и мифологических приключений я прочитал в статье лексикографический разбор, вскрывший в простейших русских словах вроде *думать, говорить, делать* сложную сеть первичных житейских впечатлений, воспринятых человеком, и основных народных представлений о божестве, мире и человеке, какие отложились от этих впечатлений [1: 529].

Будущий историк понял, что первое и главное произведение народной словесности есть самое *слово*, язык народа. Слово не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения мысли, а творческое дело народного духа, плод его поэтического творчества. Это художественный образ, в котором запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над окружающим миром. В первых своих очертаниях этот образ заключился в корне слова. Язык всегда растет вместе с народной жизнью, и его история есть летопись этой жизни и летопись художественная, своего рода эпоса, в поэтических образах отразившая народные верования, понятия, убеждения, обычаи и нравы в темную эпоху их зарождения [1: 529–530]. Вот почему будущий историк с благодарностью вспоминал уроки и советы Буслаева, которые касаются строения языка и его связи с народным бытом, учил своих учеников читать древние памятники, разбирать значение, какое имели слова на языке известного времени, сопоставлять изучаемый памятник с другими одновременными и посредством этого разбора и сопоставления приводить его в связь со всем складом жизни и мысли того времени [1: 530].

Именно в силу аккумулятивности, явной неоднослойности слово для Буслаева было самым любимым предметом исследования. Удивительно слышать от профессионального лингвиста признания в том, что ему были нужны не сухие, бессодержательные окончания склонений и спряжений, а самые слова, как выражения впечатлений, понятий и всего мирозерцания народа в неразрывной связи с его религией и с условиями быта семейного и гражданского [1: 308]. Согласимся, что с этого тезиса начинается отечественная лингвокультурология.

Учение Буслаева о самородном слове способствовало возникновению идей, которые дали начало новым областям гуманитарного познания. Имеем в виду создание основ будущей научной дисциплины – лингвофольклористики, которая окончательно сформируется в последней трети XX столетия. Зерна этой дисциплины мы замечаем на страницах всех книг Буслаева, которые только что перечитывали и цитировали.

Само время, когда формировалась личность и творческие устремления будущего ученого, было тесно связано с общественным интересом к устному народному творчеству, вызванным европейским романтизмом. Результативной оказалась собирательская деятельность А. Х. Востокова в России, который обращается к народным стихам и задумывает издать свод фольклора «Цвет русской поэзии», а в 1810 году предлагает программу собирания народных песен. Собственноручную запись народной песни «Отдавала меня матушка» он передает собирателю народной лирики П. В. Киреевскому. Немецкие поэты-романтики Ахим фон Арним и Клеменс Брентано в 1805 году начали публиковать собрание немецких песен «Волшебный рог мальчика». Их младшие друзья Якоб и Вильгельм Гримм приступили к составлению и публикации сборника «Детские и домашние сказки». И. И. Срезневский три года путешествует по славянским землям, изучая говоры, собирая песни, пословицы и другие памятники народной словесности. Внимание к фольклору – это погружение в особый мир языка. Романтический интерес к слову неизбежно приводит к глубокому постижению языка, реализуемого в лексикографических и грамматических трудах.

Ф. И. Буслаев наметил контуры синтетической дисциплины о народной культуре, которая включает в себя элементы фольклористики, лингвистики, этнографии, науки о славянских древностях, сравнительной мифологии, искусствознания. В центре его исследовательского внимания всегда оставалась «сама духовная жизнь народа, перелитая в гармонические звуки родного слова» [2: 428–429].

Ф. И. Буслаев с самого начала был убежден в ценности устного народного творчества, которое является духовной собственностью «всех

и каждого». На нем складываются «первые основы его нравственной физиономии». Песня, сказка, поэтическое предание старины дороги народу не как способ заполнить досужее время, не только своими эстетическими стремлениями и поэзиями. Эти произведения служат дополнением к нравственному существу. В них находится уже готовое выражение тех сокровенных духовных начал, которые ему самому становятся доступны и ясны только в этой внешней, уже установившейся, окрепшей форме.

В фольклоре отчетливее всего проступает фундаментальное свойство «самородности» — способность поэтического творчества целых масс или поколений и творчества отдельной личности слиться во всеохватывающем широком потоке народной поэзии (см. подробнее [4]).

Интерес Ф. И. Буслаева к фольклорному слову пробудился на студенческой скамье под влиянием критика, историка литературы, поэта и академика С. П. Шевырѣва. Лекции профессора дали студенту, по его словам, «доступ в неисчерпаемые сокровища разнообразных форм и оборотов нашего великого и могучего языка». Будущий филолог впервые почувствовал тогда всю его красоту и сознательно полюбил его [1: 134]. Буслаев вспоминал, что лекции Степана Петровича об «Илиаде» и «Одиссее», об истории русской литературы пробуждали мысль о русских былинах, что эти лекции основывались не только на русских рукописях и старинных печатных книгах, но и на народных песнях и преданиях. Студенту запомнилось, что его педагог пользовался знаменитым собранием русских песен, которое принадлежало П. В. Киреевскому.

...Тогда я живо почувствовал и оценил великое значение народного быта, на разработку которого в преданиях русской земли я посвятил большую часть моих ученых работ [1: 136–137].

Неоднослойность самородного слова определила методологию исследований Ф. И. Буслаева, которую он проверил в своей педагогической деятельности: «Я соединил вместе уроки истории с изучением языка, слога и литературы».

Ф. И. Буслаев обратил внимание на такую особенность фольклорного текста, как повышенный удельный вес имен собственных, поскольку в сказке каждый персонаж наделяется собственным именем, а народная пословица умеет олицетворять свои сатирические намеки во всевозможных собственных именах. Явление это в известной мере парадоксальное. Имя собственное в принципе призвано индивидуализировать обозначаемое, но речь идет о фольклорном контексте, который отличается анонимностью, массовостью, стремлением к обобщению. Ф. И. Буслаев объяснил парадокс стремлением исполнителя добиться «живости повествования». Однако при этом ученый отметил наличие в имени собственном тенденции к обобщению.

Так, *Дунай*, кроме собственного имени, имеет нарицательное значение всякой реки и потому употребляется во множественном числе *Дунаи*: «за реками за Дунаеми» (как тавтологическое выражение). Собственное имя *Ильмень* имеет нарицательное значение широкого разлива реки, похожего на озеро, в астраханском наречии, и озера, обросшего камышом, в донском⁴.

В ряде случаев затруднительно интерпретировать причину использования и семантику имени собственного, как, например, в пословице из Словаря Даля: «Не у всякого жена Марья, кому Бог даст»⁵.

Полтора столетия спустя в монографии «Семантика фольклорного слова» [8] мы попытались ответить на вопросы, которые задал великий предшественник.

Приметной особенностью текстов традиционной культуры является постоянный эпитет.

В речи народной мысль, однажды приняв на себя приличное выражение, никогда уже его не меняет: отсюда точность и простота. Выражение, как заветная икона, повторяется всеми, кто хочет сказать ту мысль, для коей составилось первобытно. На этом основывается употребление постоянных эпитетов, в которых особенно очевидно постоянство и единообразие выражений народной речи [3: 285].

Постоянный эпитет — яркое проявление лаконизма русской традиционной культуры. В «Летописях русской литературы и древности» (1859, кн. 1) Ф. И. Буслаев заметил, сколько глубины мысли и верования, сколько жизненности народного быта заключается иногда в кратком сравнении, даже одном эпитете, которым народный певец определяет предмет речи⁶. И совсем не случайно в книге «Преподавание отечественного языка» автор мечтательно заметил, что полезно бы собрать все постоянные эпитеты для того, чтобы определить, в какие предметы преимущественно вдумывался русский человек и какие понятия присоединял к оным.

170 лет спустя курские лингвофольклористы М. А. Бобунова и А. Т. Хроленко осуществили эту мечту великого филолога, опубликовав первые выпуски словаря русского фольклора, а также конкордансы к текстам русских народных песен, в которых нашли свое место и постоянные эпитеты.

В разработке теории постоянного эпитета Ф. И. Буслаев воспользовался понятием «икона». Это не случайно. Еще в 1842 году в журнале «Москвитянин» молодой ученый публикует статью «Храм Св. Петра в Риме», а в 1851 году составляет небольшую монографию об античном поэтическом стиле и типах греческих божеств. Одновременно в поле его заинтересованного внимания вошла русская иконопись. Вот эта искусствоведческая подпитка языковедческих выводов обеспечила ценность исследовательского вклада ученого, который признавался в том, что открыл

в себе жизненную, потаенную связь между двумя такими противоположными областями своих научных интересов, как история искусства с классическими древностями и грамматика русского языка.

Суждение Ф. И. Буслаева о целесообразности словаря эпитетов – одно из первых в российской гуманитаристике размышлений о возможности лексикографизации методов филологического исследования. Ученый вспоминает, как на заре своей научной карьеры, возвращаясь в Россию из зарубежной академической командировки, в Варшаве посетил известного лексикографа С. Б. Линде, автора словаря польского языка. Двухчасовая беседа с опытным лексикографом и знакомство с его технологией словарного дела запомнились

на всю жизнь, и впоследствии он с благодарностью вспоминал о варшавском Линде, когда в пятидесятых годах, следуя его примеру, собирал разнокалиберный материал для своей большой грамматики, изданной в двух частях.

Смутное, еще не установившееся брожение идей, намерений и планов в раздвоении ученых интересов и досужих мечтаний между такими противоположными крайностями, как искусство и филология с лингвистикой, по признанию Буслаева, – объяснение феномена ученого, разгадавшего секрет русского самородного слова, что обеспечило расцвет отечественной филологии, единственной науки, интересы которой совпадают с интересами России.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1978–1980. Т. 4. С. 135.

² Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности. Т. 1. Русская народная поэзия. М., 1861. С. 63.

³ Там же. С. 25.

⁴ Там же. С. 183.

⁵ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. С. 533.

⁶ Язык фольклора: Хрестоматия / Сост. А. Т. Хроленко. Изд. 2. М.: Флинта: Наука, 2006. С. 28.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буслаев Ф. И. Мои досуги. Воспоминания. Статьи. Размышления. М.: Русская книга, 2003. 608 с.
2. Буслаев Ф. И. О литературе. М.: Художественная литература, 1990. 512 с.
3. Буслаев Ф. И. Преподавание отечественного языка: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 1992. 512 с.
4. Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура. М.: Институт русской цивилизации, 2015. 1008 с.
5. Никитин О. В. Деловой язык русской дипломатии XVI–XVII вв. (формальные и стилиобразующие средства) // Филологические науки. 2005. № 1. С. 81–89.
6. Никитин О. В. Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв. // Русский язык в школе. 2005. № 5. С. 100–103.
7. Срезневский И. И. Мысли об истории русского языка. М.: Учпедгиз, 1959. 135 с.
8. Хроленко А. Т. Семантика фольклорного слова. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. 140 с.

Khrolenko A. T., Kursk State University (Kursk, Russian Federation)

THE NATIVE WORD IN PHILOLOGICAL CONCEPTION OF F. I. BUSLAEV

In F. I. Buslayev's works, the conception of "nativity" is often referred to when one means native verses, native poetry. Naturally, the original word can also be called a "native word". The phenomenon of nativity is connected, according to Buslayev, with the independent existence from the arbitrary rule. The basic feature of nativity is its moral and ethical contents. The unity of the people and of the personality in their active work explains the paradox of the "unprecedented evenness of the Russian language in its local usage". The nativity of the language displays the absence of the word "nativity" in the text and its conceptual accumulation in language units. The accumulation accounts for the language ability to be the basic ethnic feature. It serves as a basis for heuristic processes and word formation and also acts as an instrument of cognition. Therefore, the study of peoples' history is impossible without the study of their languages, in which the history of the people is reflected. F. I. Buslayev's ideas, concerning the nativity of poetic words, became the basis of the future linguafolklore and of the analysis of regular epithets that displayed laconic brevity in traditional culture. The development of these ideas started with the observation of proper nouns in folklore texts. F. I. Buslayev put forward the idea of composing a dictionary of constant epithets that can help to determine the Russian people's thinking. F. I. Buslayev appreciated the value of lexicography and linguistic methods in lexicography. While studying the native word, Buslayev in fact became the first Russian philologist in the modern understanding of this term.

Key words: F. I. Buslayev, native word, texts heterogeneity, accumulation of cultural meanings, linguafolklore, constant epithets

REFERENCES

1. Buslayev F. I. My Leisure-time. Reminiscences. Articles. Meditations. Moscow, Russkaya kniga Publ., 2003. 608 p. (In Russ.)
2. Buslayev F. I. About Literature. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1990. 512 p. (In Russ.)
3. Buslayev F. I. The native Language Teaching: Educational textbook. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1992. 512 p. (In Russ.)
4. Buslayev F. I. Russian life and spiritual culture. Moscow, Institut russkoy tsivilizatsii Publ., 2015. 1008 p. (In Russ.)
5. Nikitin O. V. The business language of the Russian diplomacy of the XVI–XVII centuries (the formal and stylistic means). *Filologicheskie nauki*. 2005. № 1. P. 81–89. (In Russ.)
6. Nikitin O. V. Dictionary of the colloquial Russian language of the Moscow Russia of the XVI–XVII centuries. *Russkiy yazyk v shkole*. 2005. No 5. P. 100–103. (In Russ.)
7. Sreznevskiy I. I. Thoughts about the History of the Russian Language. Moscow, Uchpedgiz Publ., 1959. 135 p. (In Russ.)
8. Khrolenko A. T. Semantics of Folklore. Voronezh, Izd-vo VGU, 1992. 140 p. (In Russ.)

Поступила в редакцию 08.05.2018

ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА ВОЛОШИНА

кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация)

oxanav2005@mail.ru

**«СИСТЕМА ЭТИМОЛОГИИ» Ф. И. БУСЛАЕВА, ИЛИ О СРАВНЕНИИ
РУССКИХ СЛОВ С САНСКРИТСКИМИ**

В рамках критического анализа сочинения А. С. Хомякова о сопоставлении русских слов с санскритскими Ф. И. Буслаев четко формулирует принципы научного этимологического анализа, разработанные выдающимися компаративистами первой половины XIX века. На примере сочинения А. С. Хомякова Ф. И. Буслаев исследует причины появления ошибочных этимологий: отказ от учета исторической изменчивости слов, свободная трактовка звуковых соответствий, вольное использование графики одного языка для записи слов другого языка, произвольное членение слова на морфемы и выстраивание субъективных семантических связей между словами. Как убедительно показывает Буслаев, подобного рода ошибки лишают исследование научной ценности, уводя в сферу любительской лингвистики, получившей широкое распространение в наши дни. В статье анализируются причины появления подобного рода любительских этимологий, популярность которых возрастает. В этом смысле работа Буслаева звучит особенно актуально, так как важной задачей современной лингвистики оказывается разоблачение ошибочных поверхностных соответствий, на базе которых выстраиваются выводы культурологического, социального и даже политического характера.

Ключевые слова: принципы этимологического анализа, звуковые соответствия, морфемное членение слова, любительская лингвистика

В опубликованной в 1855 году рецензии на работу Алексея Степановича Хомякова «Сравнение русских слов с санскритскими» Федор Иванович Буслаев на основе критического анализа сопоставлений слов двух языков четко сформулировал принципы научного этимологического анализа¹. Немного ранее, в том же 1855 году, в журнале «Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности» был опубликован своеобразный словарь, составленный известным религиозным мыслителем А. С. Хомяковым, – перечень русских слов (около 1000 единиц) с санскритскими параллелями. А. С. Хомяков не предложил четкой теоретической основы предпринятого сопоставления, однако заявил, что разрабатывает принципы новой этимологической науки, которая не должна основываться только на сходстве звуковой формы и семантики исследуемых слов, но, будучи наукой исторической, должна помочь исследователю воссоздать духовный мир говорящего на языке народа. Буслаев горячо поддержал такую постановку вопроса, ведь в выдающихся лингвистических сочинениях знаменитых ученых первой половины XIX века такая задача успешно решалась. Буслаев с восхищением говорит об образцовых работах Якоба Гримма², который,

не ограничиваясь исследованием букв, приставок, окончаний, стремится в изучении языка исследовать духовную жизнь самого народа; когда в слове видит не случайное сочетание звуков, сгруппированных по законам благозвучия, но живой отголосок ощущений, воззрений и нравственных, умственных или религиозных убеждений народа (Буслаев: 37)³.

В работе А. С. Хомякова Ф. И. Буслаев также отмечает любопытные

намекы на мифический быт славян в сравнении с бытом индусов, сближение языка русского с санскритским, направленное к уразумению внутренней, так сказать, физиологической связи между ними, состоящей в родстве не только звуков, но и самого духа, проникающего весь организм и того, и другого (Буслаев: 39).

Однако такие исследования должны, по убеждению Ф. И. Буслаева, опираться на научный метод анализа языкового материала, на внимание к тонкостям этимологического анализа, на учет всех достижений современной им лингвистической науки. Буслаев с сожалением убеждается, что пренебрежение к деталям мешает Хомякову достичь благородной цели

по недостатку лингвистических средств, по незнанию или несоблюдению лингвистических законов, на основании которых каждый язык составляет свой собственный организм звуков (Буслаев: 37).

Он критикует пренебрежение к методике исторической реконструкции, страстное желание подчинить санскрит русскому языку и вывести санскритские формы из русских. Закладывая основы будущих сопоставительных исследований, Буслаев четко формулирует принципы этимологического анализа слов, основанные на достижениях сравнительно-исторического языкознания середины XIX века.

Во-первых, критике подвергается **выбор языков**, ведь А. С. Хомяков сопоставляет русский и санскрит, то есть современный славянский язык и древний индоевропейский. Очевидно, что в сопоставительных исследованиях выбор сравниваемых языков должен иметь разумное объяснение, автор выбирает языки, сравнение которых могло бы обогатить науку новыми фактами доказательства языкового развития и языкового родства. В данном случае, как говорит сам Буслаев, родство русского с санскритом к середине XIX века было уже признанным фактом и в доказательстве не нуждалось. Может быть, сравнение русского с санскритом поможет пролить свет на некоторые моменты исторического развития выбранных языков? Известно, что еще А. Х. Востоков отстаивал не только возможность, но и необходимость привлечения для компаративистских исследований материала современных языков (в частности, сам Востоков благодаря сопоставлению старославянского языка с современным польским языком «разгадал» тайну юсов – особых букв кириллической письменности)⁴. Однако Востоков предлагал прибегать к современным языкам и диалектам только тогда, когда факты современных языков оказываются особенно архаичными и подтверждают гипотезы, сформулированные на материале древних языков, а не противоречат фактам. Сравнение древнейшего языка с языком современным без учета изменений языка во времени возвращает лингвистику середины XIX столетия почти на полвека назад, лишая компаративистику исторической перспективы. Современникам Буслаева и Хомякова было хорошо известно, что сравнивать языки, принадлежащие к разным историческим слоям, ошибочно. Попытка компаративного исследования русского, хинди и английского языков мало даст компаративистике (если вообще что-то даст), тогда как сопоставление старославянского, санскрита и готского (или англосаксонского) раскроет широкую перспективу диахронического развития родственных языков. Кроме того, каждый язык сохранил в своем строе ограниченное количество архаичных черт, поэтому сопоставление **разных** родственных языков и диалектов поможет восстановить полную картину древнейшего языкового состояния. Ф. И. Буслаев пишет:

Сравнение с санскритом языка только русского единственно тогда будет ясно, определено и законно, когда каждое русское слово будет возведено к первоначальной, правильной этимологической форме. Для определения этой правильной формы служат пособием все прочие славянские наречия и преимущественно язык церковнославянский в памятниках древнейшей редакции (Буслаев: 39).

А. С. Хомяков, таким образом, избрал для своих исследований путь чисто сравнительный, пренебрегая **историческим методом**, так блестяще разработанным Якобом Гриммом. Буслаев настаивает на необходимости учета факта исторической изменчивости любого языка при сопоставлении языков (особенно при сравнении древних языков с современными).

Многие формы русского языка значительно изменились и даже исказились против первоначального их вида, в наибольшей сохранности удержанного в древнейшей церковнославянской письменности, то, само собой разумеется, с такими искаженными формами нельзя сравнивать первоначальные формы какого-либо другого из коренных индоевропейских языков (Буслаев: 41).

Во-вторых, А. С. Хомяков передает санскритские слова русскими буквами с использованием нескольких диакритических значков, что приводит к большому количеству искажений санскритских слов, ведь особенности звучания слов древнеиндийского языка, отраженные в системе деванагари, теряются при использовании кириллицы. Объясняя избранный способ записи слов, сам Хомяков ссылается на словарь К. А. Коссовича, в котором такая система обозначений используется. Однако в словаре Коссовича, отрывок из которого был напечатан в том же томе журнала (стр. 354–384)⁵, санскритские слова приводятся шрифтом деванагари и только потом дублируются транслитерацией кириллическим шрифтом с упомянутыми диакритиками, очевидно, что в словаре Коссовича использование шрифта деванагари исключает ошибки в восприятии санскритских слов. Запись санскритских слов русскими буквами приводит к большому количеству ошибок. Кроме того, русские слова, как уже было сказано, не возводятся последовательно к старославянским; автор не опирается на древнейшую кириллическую письменность при исследовании исторической изменчивости русских слов, в результате чего также возникают ошибки.

В частности, автор не придает никакого значения носовым звукам, которые в древнейшей славянской письменности передавались особыми буквами – юсами. Чередования носовых гласных звуков с сочетаниями гласного с согласным – общая древнейшая черта индоевропейских языков, отразившаяся и в старославянском, и в санскрите.

Следы исчезнувших носовых сохранились как в самих славянских языках, так и в древнейших индоевропейских языках, в том числе и в санскрите. Например, носовой звук *е* (обозначающий в старославянском буквой юс малый – **ѣ**) был в старославянском **дѣсѣтъ**, которое после утраты носового превратилось в **десять**. Сравнивая русское слово **десять** с санскритским **дасан** (**dasan**)⁶, Хомяков ищет в санскрите ближайшую к русской форму и находит ее в предполагаемом **дасам** (**dasat**). Буслаев пишет:

Но что же из того? Эта форма дальше от нашей, нежели **дасан**, потому что в нашей удержано носовое произношение (разумеется, по древнейшей письменности) (Буслаев: 42).

Не обращая никакого внимания на носовой звук в старославянском языке, Хомяков соотносит русское слово **мясо** (с носовым в старославянском – **мѣсо**) со словом **масло** (с простым гласным **а** – **масло**), слова **блюду** и **мудрый**, тогда как в слове **блюду** – **у** простой (б л ю с т и), а в слове **мудрый** – носовой (**мѣдрѣ**), о чем свидетельствует древнейшая письменность (Хомяков: 386)⁷.

Отвергая принципы научной этимологии, Хомяков предлагает несколько равно возможных этимологий для одного и того же слова:

Русское слово **клясть** г. Хомяков сближает с санскритским **клес** (**kleṣ** – *говорить, огорчать*), забыв, что русская форма – позднейшее, неорганическое видоизменение древнейшей **клять** (с носовым **ѣ**), откуда, с разложением **я** на **ѣн**: **кльнеть**, наше **кленеть** (или **клянеть**). Наше неопределенное наклонение происходит уже от отглагольной формы **клят**, откуда с изменением **т** на **с**: **клясти** или **клясть**; корень же этого слова есть **кля** (с носовым звуком – **ѣ**) или **кльн** (с разложением носового **я** на **ѣн**). Чтобы еще более ввести читателя в недоумение, автор разбираемой нами статьи, кроме санскритского **клес**, приводит еще другое санскритское слово **клинд**, имеющее при себе и носовую форму **клинд** (**klind** – *сетовать, плакать*) (Буслаев: 43).

Согласные звуки также для Хомякова не представляют никакой проблемы, он произвольно сопоставляет похожие русские и санскритские звуки, не обращая внимания на различное их происхождение. Например, русское **мочь** он сближает с санскритским **мач** (**maḥ** – *быть высоким, сильным*). Однако сходство здесь случайное, ведь русскому **мочь** соответствует в церковнославянском **мошти** или **мощи**, в чешском **моць** и т. п., а корень этих слов – **мог** (откуда **мог-у**). Изменения же звуков не случайны, но зависят от «организма конкретного наречия» (Буслаев: 43–44).

В-третьих, важным принципом этимологического анализа был сформулированный в первой

половине XIX века **морфемный анализ** и по-морфемное сопоставление сравниваемых слов. А. С. Хомяков также пытается использовать этот принцип в своей работе, предлагая, однако, произвольное членение слова на морфемы. Например, в слове **клевета** он предлагает выделить корень **вѣт**, сближая со словами **навѣт**, **завѣт** и т. п., причем предлагаемый корень у Хомякова имеет огласовку с гласным **я**ть (**ѣ**), хотя в рукописях слово **клевета** ни разу не встречается с **ѣ**. Хомяков делит слово **клевета** на **кле-вѣт-а** и производит сегмент **кле-** от **клясть**, сближая с санскритским **клес** (**kleṣ** – *говорить*). Однако в лингвистической литературе для этого слова принято другое морфемное членение: в корнеслове Ф. Миклошича слово **клевета** предложено разлагать на **кле-** (**клю-**) и **-ета** (**суета, нищета** и т. п.)⁸. Хомяков не спорит с ранее предложенным морфемным членением, не опровергает мнение предшественников, совершенно игнорируя принятые в науке этимологии (Хомяков: 398–399).

Произвольное членение слова на части (морфемы или слоги) приводит автора к совершенно фантастическим этимологиям. Вот что пишет А. С. Хомяков о сопоставлении русского слова **ночь** и санскритского **nakta**:

Настоящая же этимология указывает на коренную идею **ока** в смысле органа зрения и самого зрения. Русские называют **ночь** *временем невидущим*. Рус. **н-очь**; лат. **п-ос-с**; санскрит **н-акта** (от **акши**), все представляют идею зрения с отрицательным **н**, которого древность тем самым доказывается. Древнейшая форма санскритская была **накша**, а не **накта**: **звезда** – **накшатра** (от **накша** *ночь* и **трак** *ходить* или **трѣ** – *охранять; ночеходная и ночехранительная*). Этому слову дают санскритские лексикографы три разные этимологии, из которых ни одна никуда не годится (Хомяков: 407).

Очевидно, Хомяков критикует произвольные этимологии индийских грамматистов (представленные, например, в этимологическом трактате Нирукта древнеиндийского грамматиста Яски), однако сам также произвольно членит слово и сопоставляет части слов, выстраивая причудливые семантические связи.

Иногда А. С. Хомяков приводит верные соотношения санскритских и русских слов (явные параллели в санскрите находятся для русских слов **десять**, **зима**, **мать**, **небо**, **день**, **дуть** и др.), но эти соответствия, основанные на строгих звуковых законах, уже давно приняты лингвистикой. Когда же Хомяков приводит собственные схождения, то читатель встречает

рядом с совершенно правильными сближениями Ф. Боппа, какие-то мечтательные и бессознательные гадания, шатко зыблущиеся на самом случайном созвучии (Буслаев: 50).

Выводы Хомякова о живой связи двух языков на каждом шагу противоречат скучной, сухой, безжизненной, но все-таки основательной и разумной анатомии языка. Буслаев уверен, что в науке техническая часть имеет огромное значение:

Кто хочет стать выше всех мелочей науки, тот должен победить их изучением; в противном случае, эти мнимые мелочи всегда будут камнями преткновения для возвышенных общих воззрений. Нельзя спокойно созерцать небо, когда спотыкаешься, идя по земле! (Буслаев: 45).

Ф. И. Буслаев отмечает в работе Хомякова стандартные ошибки, свойственные всем лингвистам-любителям. Это опора на случайное фонетическое сходство слов разных языков при полном невнимании к лингвистическим законам, согласно которым происходят регулярные изменения звуков языка в определенных условиях в конкретный исторический период. Многие законы изменения звуков в родственных языках уже были сформулированы к середине XIX века (например, закон первого германского передвижения согласных Я. Гримма), однако авторы-любители или не знакомы с подобными законами, или не умеют ими пользоваться при установлении собственных этимологий. Кроме того, как уже было сказано, лингвисты-любители не учитывают исторического изменения сопоставляемых языков, устанавливаемого при помощи регулярных соответствий звуков, морфем и лексем сравниваемых языков. Часто автор подобных сопоставлений разных языков не отличает исконные слова от заимствований, приводит несколько этимологий для одного слова, «тем самым выражает свое колебание во мнениях, происходящее от недостатка убеждения в истине того, а чем он говорит» (Буслаев: 56). Однако множественные этимологии, предлагаемые лингвистами-любителями, могут объясняться не столько сомнением, сколько слабой доказательной базой всех предлагаемых соответствий, из-за чего авторам трудно предпочесть один вариант другому.

Как известно, любительская этимология, в основе которой лежит попытка выявления семантической связи разных слов на основе сходства их звучания, всегда привлекала внимание людей. Лингвистам этот феномен хорошо известен под названием «народная этимология». В конце XIX века Николай Крушевский утверждал, что народная этимология – универсальный, то есть наблюдаемый во всех языках, процесс, основанный на аналогии, на «приурочении» непонятного или малопонятного слова к известному корню, в результате чего

человек пытается образовать для непонятного или малопонятного слова новые фонетические и/или семантические связи. Крушевский замечает: «...случаев “народной этимологии” в словах, морфологический состав которых способен чувствоваться, гораздо меньше» [2: 204], поэтому при осмыслении слова с точки зрения народной этимологии лингвист-любитель предлагает неверное морфемное членение слова. Выделение в слове новых морфем, слогов или других сегментов основывается на способности носителей языка соотнести выделенную часть по звучанию и значению с хорошо известным словом. Особенно часто с позиций народной этимологии переосмысляются слова иностранного языка, поскольку они не выстраиваются в сознании говорящего в фонетические, морфемные и семантические ряды, эти связи нужно искусственно создать, пытаясь «прочитать» иностранные слова по-русски, то есть с опорой на звуки, морфемы и слова русского языка.

Народная этимология пытается объяснить не только малознакомые слова, но выстраивает семантические связи и для общеупотребительных слов (например, *спина* называется так якобы потому, что не ней удобно *спать* – *спи-на* (*спине*)). Подобные связи очень активны в сознании носителей языка, они регулярно образуются в самых разных комбинациях, что подтверждается популярностью публикуемого в 1972 году в «Литературной газете» шутливого «Этимологического словаря», согласно которому *нудист* толковался как *скучный докладчик*, *свищ* – *автоинспектор* и т. п. Интерес к такому «этимологизированию» объясняется стремлением людей

семантически сблизить изначально не связанные, но сходные по форме лексемы, создать новые, вторичные мотивационные отношения [3: 83].

Носитель языка интуитивно старается объединить слова в семантические группы, выстроить для слов новые связи, благодаря чему появляется новое осмысление старых понятий, создается своеобразная наивная языковая картина мира.

Более 150 лет прошло со времени выхода работы Ф. И. Буслаева, но его слова звучат удивительно современно, он говорит о той же «любительской лингвистике», которую обличал в начале XXI века Андрей Анатольевич Зализняк. Лингвисты-любители, не обращая никакого внимания на историческое развитие языков, предлагают читать древние санскритские или этрусские тексты «по-русски», пытаясь выявить в древних словах отголоски хорошо знакомых им русских слов. А. А. Зализняк пишет:

...человек нередко переосмысляет непонятное слово (например, иностранное), «подправляя» его так, что в нем начинают звучать понятные ему морфемы и тем самым слово приобретает для него (хотя бы частично) некоторую внутреннюю мотивированность [1: 30].

Санскрит особенно привлекает внимание лингвистов-любителей, так как отыскание истинно арийских корней собственной нации посредством обнаружения языковых параллелей остается любимым развлечением авторов подобных сочинений. Профессиональные лингвисты никогда не вступают в полемику, для них очевиден произвол подобных сопоставлений, поэтому опровергать нелепые фантазии и доказывать очевидную истину не возникает желания. Редкими исключениями подобного рода являются рецензия Буслаева, критикующего сравнительный словарь А. С. Хомякова за пренебрежение к точному научному методу лингвистического анализа. Или работа А. А. Зализняка, вызванная, вероятно, широким распространением в наши дни этимологических изысканий некоторых лингвистов-любителей в средствах массовой информации.

Игнорируя разработанные лингвистические методы этимологического анализа, лингвисты-любители основываются лишь на фонетическом сходстве сравниваемых слов. А. А. Зализняк отмечает:

Созвучия слов обладают могучей силой эмоционального и эстетического воздействия. Это один из строевых элементов поэзии. Если два слова по звучанию похожи, значит, между ними должна быть какая-то связь – это наивно-поэтическое ощущение бывает у каждого ребенка, а многие сохраняют его и во взрослом возрасте [1: 73].

Опираясь лишь на внешнее сходство слов, А. С. Хомяков пытается установить семантическую параллель между словами Индра и вёдро: «предполагаю отзвук имени *Индра* в нашем *вёдро*», ведь Индра – имя божества неба (Хомяков: 388). Совершенно в духе Хомякова современные любители обнаружения этимологических связей предлагают трактовать слова *радуга* (*ра-дуга*) как *лук* (оружие) древнеегипетского бога солнца *Ра*, *радость* (*ра-дось*) как *достать* бога солнца *Ра*, в результате чего можно обрести *радость* и т. п. Пространство Интернета позволяет авторам подобных сопоставлений знакомить широкую публику со своими совершенно произвольными соответствиями, основанными на фантазии автора, а не на методах сравнительно-исторического анализа, не на лингвистических законах, выведенных из закономерностей развития родственных языков и т. п. Эта своеобразная наивная этимология с сочувствием восприни-

мается слушателями и читателями. Многочисленные сопоставительные словари русского и санскрита пестрят диковинными сходжениями. Например, санскритское слово *карма* оказывается сближенным с русским словом *карман*, ведь *карма* – то, что вы приобрели, заработали...

Теоретическая база подобных соответствий весьма туманна (если вообще существует) – авторы утверждают, например, что

линейно-формальные приемы так называемого «академического» сравнительного языкознания здесь если и сработают, то только на начальном этапе, на периферийном уровне. Если же мы хотим раскопать настоящее сокровище, мы должны будем докапываться до значительно более глубоких языковых пластов, соприкасающихся уже не столько с поверхностным сознанием, сколько с подсознанием, с тем, что скрыто глубоко под землей слов и понятий, под грудой терминов, эпитетов и определений [4].

Любопытно, что цитируемая работа называется «О связи санскрита и русского языка. Древний санскрит – это русский язык». Подобные псевдолингвистические опусы претендуют на обнаружение новых фантастических языковых связей и новых путей исторического развития языков, в результате чего молодые современные языки провозглашаются древнейшими праязыками человечества. Буслаев отмечал, что и Хомяков

многими сближениями довольно ясно выразил желание подчинить санскритский язык русскому (Буслаев: 52).

Достижения лингвистической науки XIX века позволили языкознанию обособиться от филологии и превратиться благодаря новым методам работы с языковым материалом в передовую науку. Представители наук антропоцентрического цикла отныне не могут проводить лингвистические исследования без учета достижений современного языкознания, опора исключительно на интуицию и фантазию автора неизбежно приведет лингвистов-любителей к грубым ошибкам. Даже такой выдающийся философ, религиозный мыслитель, как А. С. Хомяков, попал в плен заманчивых фонетических и семантических соответствий, что лишило его работу по сопоставлению русских слов с санскритскими научной ценности. Пренебрежение достижениями современной лингвистической науки, невнимание к языковым фактам и стремление утвердить превосходство одного языка над другими путем домыслов и фантастических реконструкций – вот отличительные черты лженауки, против которой выступал еще в середине XIX века отечественный ученый – филолог и языковед Федор Иванович Буслаев.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Впервые рецензия была опубликована в периодическом издании «Отечественные записки». Т. 102. № 9. Отд. IV. СПб., 1855. С. 36–57.
- ² Grimm, J. *Deutsche Grammatik*. Bd. 1. Göttingen, 1822.
- ³ Буслаев Ф. И. «Сравнение русских слов с санскритскими» А. С. Хомякова // *Отечественные записки*. Т. 102. № 9. Отд. IV. СПб., 1855. С. 36–57. Цитируется в круглых скобках с указанием страницы.
- ⁴ Остромирово Евангелие 1056–57 года с приложением греческого текста евангелий и с грамматическими объяснениями, изданное А. Востоковым. СПб., 1845.
- ⁵ Коссович К. А. *Санскрито-русский словарь* // *Известия Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности*. Т. 4. Вып. 3. СПб., 1855. С. 354–384.
- ⁶ В нашей работе мы оставляем авторскую транслитерацию санскритских слов русскими буквами, используемую в работе Хомякова, но в скобках помещаем латинскую транслитерацию санскритских слов.
- ⁷ Хомяков А. С. Сравнение русских слов с санскритскими // *Известия Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности*. Т. 4. Вып. 3. СПб., 1855. С. 385–429. Цитируется в круглых скобках с указанием страницы.
- ⁸ Miklosich F. *Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen*. Wien, 1886.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зализняк А. А. Из заметок о любительской лингвистике. М., 2010. 243 с.
2. Крушевский Н. В. Очерк науки о языке // *Избранные работы по языкознанию*. М.: Наследие, 1998. С. 96–222.
3. Норман Б. Ю. Грамматика говорящего. От замысла к высказыванию. Изд. 2-е. М.: УРСС, 2011. 232 с.
4. О связи санскрита и русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://sputnikbig.ru/mezhdunarodnoe-obozrenie/item/6930-o-svyazi-sanskrita-i-russkogo-yazyka-drevnij-sanskrit-eto-russkij-yazyk> (дата обращения 20.04.2018).

Voloshina O. A., Moscow State University (Moscow, Russian Federation)

**“A SYSTEM OF ETYMOLOGY” BY F. I. BUSLAEV OR ON THE COMPARISON
OF RUSSIAN WORDS WITH SANSKRIT**

The present article deals with the critical analysis of works by A. S. Chomyakov on the comparison of Russian words with Sanskrit, in which F. I. Buslaev formulates the principles of scientific etymological analysis. This scientific method was developed in the works of famous linguists in the first half of the nineteenth century. On the example of the works by A. S. Chomyakov, F. I. Buslaev examines the causes of erroneous etymologies: the rejection of the study of historical variability of languages, the wrong interpretation of sound and semantic correspondences, the false morphological analysis of the words and the construction of wrong semantic relations between words. As F. I. Buslaev shows that such errors deprive the research of its scientific value and lead to the sphere of unprofessional linguistics, which has become wide spread in our days.

Key words: principles of etymological analysis, sound correspondences, morphemic word membership, unprofessional linguistics

REFERENCES

1. Zaliznyak A. A. From the notes on amateur linguistics. Moscow, 2010. 243 p. (In Russ.)
2. Krushevskij N. V. Essay on the science of the language. *Izbrannye raboty po yazykoznaniiu*. Moscow, Nasledie Publ., 1998. P. 96–222. (In Russ.)
3. Norman B. Yu. Grammar of the speaker. From design to utterance. Moscow, URSS Publ., 2011. 232 p. (In Russ.)
4. On the connection of Sanskrit and the Russian language. Available at: <http://sputnikbig.ru/mezhdunarodnoe-obozrenie/item/6930-o-svyazi-sanskrita-i-russkogo-yazyka-drevnij-sanskrit-eto-russkij-yazyk> (accessed 20.04.2018) (In Russ.)

Поступила в редакцию 08.05.2018

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ПАТРОЕВА

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка Института филологии, Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Российская Федерация)
nvpatr@list.ru

ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Я. И. ГИНА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЭТИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА*

Освещаются основные проблемы поэтики грамматических категорий в рамках концепции, разработанной Я. И. Гином, ярким представителем Петрозаводской школы исследователей поэтической грамматики. Его творческое наследие рассматривается в аспекте релевантности его научных идей для плодотворного развития актуальных для современной филологии штудий в сфере поэтического синтаксиса и грамматики стихотворного текста. Главное место в исследованиях Я. И. Гина занимали вопросы поэтики морфологических категорий (рода, одушевленности / неодушевленности), однако разработанная ученым методика анализа лирической коммуникации с точки зрения смены лиц и проблемы адресата, диалогических контекстов, падежных форм позволяет экстраполировать эту методологию на область поэтического синтаксиса с целью изучения структуры, семантики и функционального потенциала синтаксических конструкций. Включение в предмет поэтического синтаксиса как функционального (вслед за И. И. Ковтуновой), так и формального аспектов исследования синтаксического уровня лирического текста в их взаимовлиянии и взаимодействии представляется автору статьи очень плодотворной идеей Я. И. Гина: тот или иной тип конструкции не только участвует в формировании архитектоники, структуры, грамматической семантики и общего содержания текста, в создании приемов смыслового подчеркивания, «выдвижения» (тропов и фигур речи), но оказывается тесно связанным с метром, строфикой и жанром поэтического произведения, как это подтверждают данные недавно увидевшего свет «Синтаксического словаря русской поэзии».

Ключевые слова: Я. И. Гин, поэтика грамматических категорий, поэтический синтаксис, поэтическая грамматика, синтаксис художественного текста

Типология и эволюция синтаксиса поэтического текста – по-прежнему одно из мало разработанных направлений лингвистилистики и лингвистической поэтики. Трудности выяснения роли грамматических форм в художественном произведении связаны прежде всего с тем, что грамматические краски и оттенки в языковой палитре писателя гораздо менее заметны, чем слова и обороты в необычных значениях. Кроме того, грамматические нормы в большинстве случаев не факультативны, жестки, а там, где нет свободы выбора, возможностей селекции языковых элементов, мало возможностей и для их экспрессивно-образного использования, переосмысления, трансформации:

Лексическое и грамматическое значения противопоставлены как «свободное / обязательное», «индивидуальное / категориальное», «главное (в слове) / дополнительное». В сфере лексической полнее и ярче всего выражается авторская индивидуальность, его «насилие» над языком, «преодоление» им материала: лексическая поэтика – поэтика свободы. Грамматическое же значение в большей мере отражает диктат самой языковой системы, «насилие» языка над художественной конструкцией [3: 189–190].

Вместе с тем именно синтаксис таит в себе большой экспрессивный и функциональный по-

тенциал, что объясняется чрезвычайным разнообразием синтаксических структур и важностью выполняемых ими функций: структурно-композиционной (текстообразующей), интонационной и ритмообразующей, изобразительно-выразительной (образной, экспрессивной). Грамматическая форма, ее значение актуализируются в художественном тексте (качественно и количественно) в соответствии с авторским замыслом, эстетическими задачами; отбор и использование тех или иных грамматических элементов, длина и расположение конструкций, приемы выдвижения (подчеркивания) синтагм, создания тропов и фигур речи, особенности формообразования и формотворчества составляют характерные черты (доминанты) идиостиля.

Начало исследованию экспрессивного потенциала грамматических единиц было положено Л. В. Щербой в знаменитых «Опытах лингвистического толкования стихотворений» и в статье «Литературный язык и пути его развития», где впервые используется выражение «грамматика поэзии» [14: 132] в связи с анализом стихотворения В. Брюсова «Родной язык». Дальнейшая разработка «грамматики поэзии» осуществлялась в трудах Г. О. Винокура, В. В. Виноградова, Н. С. Поспелова, Р. О. Якобсона, И. И. Ковтуновой,

Г. Н. Акимовой, И. А. Ионовой и др. (обзор истории «грамматики поэзии» представлен, например, в статьях [6], [7], [9], [10], [13]).

В этом ряду особое место занимают работы Якова Иосифовича Гина (1958–1991), недолгая, но очень плодотворная деятельность которого пришлась на 1980-е годы. Не столь важно в конечном итоге, вероятно, сколько трудов успел написать ученый: несомненная теоретическая ценность, новизна и непреходящее значение исследований Я. И. Гина, по мнению В. Н. Топорова, определяются тем, «*что и как было сделано и какие перспективы в результате этого открываются...*» [12: 10].

Проблемы поэтического синтаксиса не были предметом специального исследования в работах Я. И. Гина, в получивших мировую известность трудах петрозаводского ученого в поле зрения гораздо чаще оказывались вопросы лингвопоэтического анализа морфологических категорий имени, местоимения и глагола (рода, одушевленности / неодушевленности, лица). Между тем представленные Я. И. Гином, например, в статье об О. Мандельштаме наблюдения над поэтикой личных форм местоимений, над так называемой сменой, или переключением, лиц подчеркивают особенную значимость для лирики проблемы соотношения фигур субъекта и адресата, диалога их сознаний как ведущего принципа композиционного построения стихотворного текста. Анализ перехода от одного лица к другому в стихотворениях Мандельштама показал наиболее активную для лирики модель архитектоники субъектно-объектных отношений – переход от 2-го лица к 3-му и наоборот. При этом исследователь связывает воедино функционирование падежных форм имени и личных форм местоимений: как выяснил Я. И. Гин, прямому (именительному) падежу заглавной номинации в большинстве случаев в следующей за заглавием части текста соответствует 3-е морфологическое и синтаксическое лицо; «направленный» (в терминах Р. О. Якобсона) дательный заглавия или подзаголовка, используемый в функции посвящения и обращения, вводит либо трансцедентного, либо имманентного тексту адресата.

Когда будут описаны общие лингвопоэтические нормы употребления лица и падежа, тогда на этом фоне станет очевидным вклад каждого поэта, его идиолектные грамматические характеристики [1: 213]

– эта финальная фраза статьи Я. И. Гина о поэтике О. Мандельштама оказалась путеводной нитью для создателей «Синтаксического словаря русской поэзии» (первый том уже вышел из печати [11]), который, представляя общую картину формирования синтаксических норм русской силлабической и силлабо-тонической поэзии малых и средних жанров в аспекте их становления, изменчивости либо преемственности и в тесной связи с динамикой норм жанрово-сти-

листических и ритмо-метрических, демонстрирует репертуар синтаксических конструкций, используемых русскими поэтами, и позволяет выявить основные закономерности в эволюции синтаксических доминант русской поэтической речи, отдельных поэтических идиостилей, а также в развитии русского литературного языка ломоносовской и карамзинской поры в целом (поскольку преобладающими для данного периода были именно поэтические жанры).

В качестве единицы описания (словарной единицы) в словаре выступает простое и сложное предложение, анализируемое с точки зрения разнообразных параметров: а) по структурной схеме или типологической рубрике; б) по типу синтаксических связей и количеству частей (для полипредикативных конструкций); в) по грамматическому значению, то есть типу синтаксических отношений, выявляемых между частями сложных предложений; г) по модальной характеристике (утвердительное, общее или частично отрицательное); д) по полноте / недостаточности состава (полное, неполное, эллиптическое); е) по принадлежности к так называемым элементам текста (синтаксически не членимым, выраженным частицами, междометиями, модальными словами синтагмам, обращениям, сегментам типа именительного или инфинитива темы, парцеллам, парантезам, представляющим собой автономные синтаксемы); ж) по типу осложняющих конструкций; з) по длине (количеству слов, строк-стихов, строф, составляющих конструкцию); и) по соотносительности с жанром, видом строфы или астрофической композицией, метрической схемой; к) по риторическому приему (фигуре речи); л) с точки зрения наличия / отсутствия анжамбемана. Словарь, кроме того, помогает выяснить активность в поэзии разных типов так называемых сильных позиций текста (заглавия, эпиграфа, посвящения), конструкций с прямой речью как особых синтаксических феноменов. Подобное комплексное описание уже позволило выявить целый ряд тенденций, доказывающих вполне очевидную и тесную связь синтаксиса, метрики, строфики и жанра произведения (см. подробнее [8]).

Важнейшим условием создания синтаксического словаря для его авторов стала постоянно фиксируемая, наряду со структурным типом высказывания, метрическая и строфическая (либовольная, либо астрофическая) композиционная организация стиха. Я. И. Гин в своих работах неоднократно подчеркивал необходимость комплексного подхода к изучению художественного текста, использования достижений собственно теории литературы, поэтики стиха и прозы, стиховедения, лингвистики – это и есть, в конечном итоге, цель лингвопоэтического анализа.

«Нелексический» сводный писательский словарь рассматривает синтаксическое устройство

стихотворных текстов с учетом трех типов норм, на которые специально обращал внимание Я. И. Гин, рассуждая о перспективах построения грамматической поэтики:

Общая лингвопоэтическая норма (ОЛПН) может представлять собой как формальное отклонение от нормы литературного языка (НЛЯ), так и совпадение с ней; индивидуальная же лингвопоэтическая норма (ИЛПН) может представлять собой как результат следования общей норме, так и ее нарушения... [3: 195–196].

Добавим только, что создание синтаксических словарей прозы и драматургии классического периода в развитии русской литературы в более или менее отдаленной перспективе позволило бы выяснить синтаксическую лингвопоэтическую норму литературного рода и жанра и существенно дополнило бы современные филологические представления о различии грамматического устройства стиха и прозы, о корреляции жанрово-родовой лингвопоэтической нормы и нормы общелитературной.

Еще одним достижением Я. И. Гина и вкладом в разработку проблем синтаксической организации художественного текста стала небольшая статья, посвященная фрагменту «Слова о полку Игореве»: ученый предложил собственную интерпретацию финальной фразы плача Ярославны «Въ полѣ безводнѣ жажду имъ лучи съпряже, тугою имъ тулии затче?» – одного из «темных мест» памятника, грамматически неоднозначной конструкции, вызвавшей целую дискуссию в научной литературе [2]. В этом контексте из «Слова» присутствует семантическая амфиболия: контаминируются, нейтрализуются значения вторичного падежа (субъектное или орудийное?) и потому структуры определенно-личного и безличного предложений. Тесная связь морфологических и синтаксических категорий, в процессе формирования поэтического высказывания проявляющаяся особенно явно в позиции семантических сдвигов и «приращений» (термин Б. А. Ларина) смысла, вольных, кажущихся читателю случайными, или невольных, заранее прогнозируемых автором, – еще одна актуальная научная проблема, требующая дальнейшей разработки на материале памятников разных эпох и жанров.

Специально посвящена проблемам описания поэтического синтаксиса рецензия, написанная в соавторстве с известным карельским стихове-

дом П. А. Рудневым, в которой авторы подчеркивают «первостепенное значение синтаксической проблематики и для стиха, и для прозы» и сожалеют, что пока «в нашей науке нет фундаментальных трудов о синтаксисе поэтической речи». По мнению рецензентов монографии, посвященной синтаксической типологии русской лирики [5], И. И. Ковтунова в своей серьезной, глубокой, новаторской книге «избрала функциональный и текстовый подходы к анализу стихотворного синтаксиса, которые позволяют раскрыть специфику синтаксического строя стихотворной речи», добавляя (и к этому замечанию заочно присоединяется автор настоящей статьи):

Напрасно только, на наш взгляд, исследователь так категорично противопоставляет эти подходы подходу формальному: последний достаточно результативен и плодотворен, ибо помогает решить важнейшую для поэтики и стиховедения проблему соотношения ритма и синтаксиса. Разве подход самой И. И. Ковтуновой в ее предыдущей книге «Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения» (М., 1976), где она детально исследует нормы порядка слов в стихе (см. страницы 195–235), не формален в самом высоком смысле этого термина? [4: 283]

Примечательно, что в заключение обстоятельного разбора Я. И. Гин и П. А. Руднев подчеркивают, что созданное И. И. Ковтуновой функциональное направление в изучении поэтического синтаксиса «открывает широкие перспективы дальнейших исследований в этой области», а ряд поставленных московским ученым «проблем требует специального и более углубленного рассмотрения (быть может, с использованием количественных методик)» [4: 285].

Последнее пожелание уже в той или иной мере осуществляется в течение ряда лет Петрозаводской школой «нелексической» писательской лексикографии, преемницей перспективных и по-прежнему актуальных в научном отношении идей «поэтической филологии». Автору статьи остается высказать глубокое сожаление, что замечательный исследователь стиха П. А. Руднев и первооткрыватель поэтики грамматических категорий Я. И. Гин рано покинули жизненное и творческое поприще – это утрата невосполнимая: как не хватает их филологического опыта и чутья, обширных познаний, советов, вопросов, замечаний нам, сегодняшним карельским лингвистам.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект «Синтаксический словарь русской поэзии XIX века», № 17-04-00168).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гин Я. И. Из «поэзии грамматики» у Мандельштама: проблема обращенности // О поэтике грамматических категорий. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. С. 200–214.
2. Гин Я. И. К истолкованию финала плача Ярославны // Исследования «Слова о полку Игореве»: Сборник статей / Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1986. С. 81–86.
3. Гин Я. И. О построении поэтики грамматических категорий // О поэтике грамматических категорий. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. С. 189–199.
4. Гин Я. И., Руднев П. А. Рец. на кн.: Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. М., 1986 // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1987. Т. 46. № 3. С. 283–285.
5. Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. М.: Наука, 1986. 206 с.

6. Лойтер С. М. Поэтика грамматики в работах Я. И. Гина // Грамматические исследования поэтического текста: Материалы международной научной конференции (7–10 сентября 2017 года, г. Петрозаводск) / Отв. ред. Л. Л. Шестакова, Н. В. Патроева. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2017. С. 17–20.
7. Патроева Н. В., Шестакова Л. Л. Поэтический синтаксис как предмет лингвистической поэтики: вклад И. И. Ковтуновой в разработку идей «грамматики поэзии» // Грамматические исследования поэтического текста: Материалы международной научной конференции (7–10 сентября 2017 года, г. Петрозаводск) / Отв. ред. Л. Л. Шестакова, Н. В. Патроева. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2017. С. 8–10.
8. Патроева Н. В. Синтаксис русской поэзии XVIII века в связи с метрикой, строфикой, жанром стихотворения // Вопросы языкознания. 2017. № 6. С. 20–41.
9. Руднев Д. В. Слово об учителе: Галина Николаевна Акимова как исследователь «грамматики поэзии» // Грамматические исследования поэтического текста: Материалы международной научной конференции (7–10 сентября 2017 года, г. Петрозаводск) / Отв. ред. Л. Л. Шестакова, Н. В. Патроева. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2017. С. 14–17.
10. Савельева Л. В. Проблемы лингвопоэтики в работах Я. И. Гина // Проблемы поэтики языка и литературы: Материалы межвуз. науч. конф. памяти Я. И. Гина. 22–24 мая 1996 г. Петрозаводск, 1996. С. 3–7.
11. Синтаксический словарь русской поэзии XVIII века: В 4 т. / Под ред. Н. В. Патроевой. Т. 1: Кантемир, Тредиаковский. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017. 578 с.
12. Топоров В. Н. О «драматическом» начале и формах его выражения в архаических текстах // Проблемы поэтики языка и литературы: Материалы межвуз. науч. конф. 22–24 мая 1996 года. Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 1996. С. 10–15.
13. Шапир М. И. «Грамматика поэзии» и ее создатели (Теория «поэтического языка» у Г. О. Винокура и Р. О. Якобсона) // Известия АН СССР. ОЛЯ. 1987. Т. 46. № 2. С. 221–236.
14. Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957. 188 с.

Patroeva N. V., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)

THE IMPORTANCE OF Ya. I. GIN'S WORKS FOR THE STUDY OF POETIC SYNTAX

The article shows the main problems of poetics of grammatical categories within the framework of the concept developed by Ya. I. Gin, a vivid representative of Petrozavodsk school of poetic grammar researchers. The creative legacy of Ya. I. Gin is shown in reference to his academic ideas pertaining to the productive development of significant for modern philology studies in the field of poetic syntax and grammar of the poetic text. Although, the question of morphological categories' poetics (genus, animate / inanimate) took the main place in the research of Ya. I. Gin, the method, developed by the scholar, is of no less significance for the following study. The method, elaborated for the analysis of lyrical communication from the viewpoint of changing personalities and the addressee's problems, dialogical contexts, and case forms makes it possible to extrapolate this methodology into the field of poetic syntax with the aim of studying the structure, semantics and functional potential of syntactic constructions. The author of the article thinks that it is a very productive idea of Ya. I. Gin to include into the subject of poetic syntax both functional (following I. I. Kovtunova) and formal aspects of the study of syntactic levels of the lyrical text, namely their inter-influence and interaction: a certain type of the construction not only participates in the formation of architectonics, structure, grammatical semantics and the general content of the text, in the creation of techniques of semantic emphasis, and "foregrounding" (tropes and speech figures), but is also closely related to the meter, stanza and genre of poetic works, as is confirmed by the data of the recently published "Syntactic Dictionary of Russian Poetry".

Key words: Ya. I. Gin, poetics of grammatical categories, poetic syntax, poetic grammar, syntax of a literary text

* The study was carried out with the financial support of the Russian Fundamental Research Fund (project "Syntactic dictionary of Russian poetry of the XIX century", № 17-04-00168).

REFERENCES

1. Gin Ya. I. From Mandelstam's "grammar poetry": the problem of reversibility. *On the poetics of grammatical categories*. Petrozavodsk, 2006. P. 200–214. (In Russ.)
2. Gin Ya. I. To the interpretation of the final crying of Yaroslavna. *Research of "The Lay of Igor's Warfare": Collection of articles*. Editor-in-chief D. S. Likhachev. Leningrad, 1986. P. 81–86. (In Russ.)
3. Gin Ya. I. On the construction of poetics of grammatical categories. *On the poetics of grammatical categories*. Petrozavodsk, 2006. P. 189–199. (In Russ.)
4. Gin Ya. I., Rudnev P. A. Reference for the book: Kovtunova I. I. Poetic Syntax. M., 1986. *Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Series of literature and language*. 1987. Vol. 46. No 3. P. 283–285. (In Russ.)
5. Kovtunova I. I. Poetic syntax. Moscow, 1986. 206 p. (In Russ.)
6. Loiter S. M. The Poetics of Grammar in the Works of Y. I. Gin. *Grammatical studies of the poetic text: materials of the international academic conference (September 7–10, 2017, Petrozavodsk)*. Editor-in-chief L. L. Shestakova, N. V. Patroeveva. Petrozavodsk, 2017. P. 17–20. (In Russ.)
7. Patroeveva N. V., Shestakova L. L. Poetic syntax as the subject of linguistic poetics: I. Kovtunova's contribution to the development of the "grammar of poetry". *Grammatical studies of the poetic text: materials of the international academic conference (September 7–10, 2017, Petrozavodsk)*. Editor-in-chief L. L. Shestakova, N. V. Patroeveva. Petrozavodsk, 2017. P. 8–10. (In Russ.)
8. Patroeveva N. V. The syntax of Russian poetry of the 18th century in connection with metrics, strophic organization, and genre. *Questions of Linguistics*. 2017. No 6. P. 20–41. (In Russ.)
9. Rudnev D. V. Speech about the Teacher: Galina Nikolaevna Akimova as a researcher of the "Grammar of Poetry". *Grammatical studies of the poetic text: materials of the international academic conference (September 7–10, 2017, Petrozavodsk)*. Editor-in-chief L. L. Shestakova, N. V. Patroeveva. Petrozavodsk, 2017. P. 14–17. (In Russ.)
10. Savelieva L. V. The problems of linguopoetics in the works of Ya. I. Gin. *Problems of poetics of language and literature. Materials of inter-university academic conference to the memory of Ya. I. Gin*. 22–24 May, 1996. Petrozavodsk, 1996. P. 3–7. (In Russ.)
11. Syntactic dictionary of Russian poetry of the XVIII century: In 4 volumes. Editor N. V. Patroeveva. Vol. 1: Cantemir, Trediakovsky. St. Petersburg, 2017. 578 p. (In Russ.)
12. Toporov V. N. On the "dramatic" beginning and forms of its expression in the archaic texts. *Problems of poetics of language and literature: materials of inter-university academic conference*. 22–24 May, 1996. Petrozavodsk, 1996. P. 10–15. (In Russ.)
13. Shapir M. I. "Grammar of poetry" and its creators (Theory of "poetic language" by G. O. Vinokur and R. O. Jakobson). *Izvestiya AN SSSR. OLYa*. 1987. Vol. 46. No 2. P. 221–236. (In Russ.)
14. Shcherba L. V. Selected works on the Russian language. Moscow, 1957. 188 p. (In Russ.)

Поступила в редакцию 20.04.2018

ЗОЯ ЮРЬЕВНА ПЕТРОВА

кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики, Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН (Москва, Российская Федерация)
zoypar@mail.ru

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ФАТЕЕВА

доктор филологических наук, главный научный сотрудник Отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики, Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН (Москва, Российская Федерация)
nafata@rambler.ru

КАТЕГОРИЯ РОДА ПРИ ОЛИЦЕТВОРЕНИИ: ОБРАЗНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СМЕРТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В статье развиваются идеи, заложенные в новаторской статье Я. И. Гина «Поэтика грамматического рода», а именно анализируется совпадение и несовпадение грамматического рода и пола персонифицируемой сущности и персонификатора. В этом отношении исследуются случаи олицетворения «смерти» в русской прозе и поэзии XIX–XX веков и выделяются семантические группы персонификаторов «смерти». Рассмотрение основных семантических групп показывает, что соотношение в них слов женского и мужского рода различно. Хотя в целом можно заключить, что персонифицированная *смерть* предстает в литературе в женском образе, некоторые группы содержат довольно значительное число наименований мужского рода. Это группы, включающие в себя обозначения, связанные с мужскими ролями в обществе – наименования «воинственных» ролей: *витязь, стрелок, солдат*; профессий, связанных с охотой и убийством: *ловец, мясник, палач*; наименование *всадник*, связанное с библейским контекстом. В тех классах, где преобладают обозначения, относящиеся к женскому роду, также встречаются единичные наименования мужского рода, например *мужчина, старик, отец*. Их употребление маркировано и ощущается как контрастное по отношению к традиционному. На протяжении рассмотренного временного периода наблюдается эволюция класса персонификаторов смерти: если в начале XIX века он включал ограниченный круг наименований: *тать, вор, ловец, витязь, стрелок*, то в XX веке он пополняется значительным количеством обозначений различных профессий, занятий и ролей: *кузнец, рабочий, трубач, крупье, землемерша, подрядчица* и др. В поэзии конца XX века образ смерти приобретает все более современные черты. При сборе материала использовался Национальный корпус русского языка, его основной и поэтический подкорпусы.

Ключевые слова: олицетворение, грамматический род, признак пола, смерть, семантические группы, персонификатор, русская литература

Указанная в заглавии тема является развитием идей, изложенных в новаторской работе Я. И. Гина «Поэтика грамматического рода» [3]. В этой работе исследователь устанавливает корреляцию между грамматическим олицетворением и антропоморфной метафорой. В процессе метафоризации у олицетворяемой сущности признаки рода и пола могут как совпадать, так и вступать в отношения контраста. Поскольку семантический признак пола выражается родом образа сравнения, то такое совпадение / несовпадение можно анализировать, сопоставляя род персонифицируемой сущности и персонификатора¹. Я. И. Гин, в частности, приводит пример варьирования рода в образных обозначениях смерти в «Плаче по мужу» И. А. Федосовой, где смерть называется то «злодейкой», то «злодеем» [3: 30].

Образ смерти, имеющий глубокие корни в мифологии и культуре разных стран, привлек наше внимание из-за тенденции к родовой вариативно-

сти образных обозначений, что было подтверждено собранным в ходе исследования материалом русской художественной литературы. При сборе материала использовался Национальный корпус русского языка (НКРЯ)², как его основной (художественная проза), так и поэтический подкорпус. Из всех персонификаторов смерти исследовались только имена существительные, являющиеся ее непосредственными обозначениями в конструкциях приложения, перифразы, идентификации, сравнительных оборотах и др. Мы разделили все образные обозначения смерти на несколько семантических классов, в которых категория рода имеет различное выражение.

1. Наименования сверхъестественных существ. В этом классе уже в ранний период русской литературы в обозначениях смерти наблюдается родовая вариативность. Смерть представлена как божество, чаще всего крылатое, чудище, скелет, снабженное атрибутами – косой,

серпом и др. Такой образ опирается на мифологические представления [1: 43].

Наиболее характерно обозначение женского рода – *богиня*:

[о смерти] *Богиня!* – пагубен твой смертным вид кровавый, Но пагубней еще им образ твой лукавый (С. Бобров, 1789),

но встречаются и обозначения мужского рода:

гений: И тих мой будет поздний час; И смерти добрый *гений* Шепнет, у двери постучась: «Пора в жилище твоей!» (Пушкин, 1815)

и среднего:

чудовище: Смерть лютая, скелет, *чудовище* ужасно Со алчной челюстью, с губящею косою Предстала Правому (Вышеславцев, 1801); *страшилище*: Распался Он за мир – и мир Его крестом, Над смертью хищною, *страшилищем* вселенной, Победой хвалится в веселии святом (Ширинский-Шихматов, 1823).

Подобные обозначения встречаются в литературе и в более поздние периоды:

ангел: Ангел смерти (Некрасов, 1839), Жизнь страшна, жизнь свирепа, а смерть ласковый *ангел* (Амфитеатров, 1891–1896); *демон*: Где смерть, точно *демон*, хохочет: «Не скрыться, не скрыться тебе!» (Фофанов, 1893); *призрак*: Смерть, как *призрак* белой дамы, Встретилась с тобой (Черубина де Габриак, 1909–1913); *исполин*: Потом пришли к дверям старинной кельи, Предстала Смерть, как бледный *исполин* (Бальмонт, 1903).

Иногда названия сверхъестественных существ конкретизированы именами собственными:

ср. *Вельзевул*: Смерть прошла, как черный *Вельзевул*, – Всё смолкло; дрогнул мир и вечным сном заснул... (Голохвастов, 1903–1952), *Мельпомена*: Как памятник-статуя, / надвинулась смерть-*Мельпомена*, / вас вечности святая, / стоит тяжело и надменно (С. Петров, 1957).

Представление смерти в образе скелета (см. выше пример Вышеславцева) влечет за собой постоянный эпитет *костлявая*: «*Костлявой* смерти на беду Я нить звенящую пряду» (Клюев, 1929–1934). Этот эпитет может субстантивироваться и употребляться самостоятельно как перифраза смерти:

– Дай хоть что-то сделать, хоть самую малость, а тогда бей, *костлявая!*.. «Это он – смерти!» – догадалась Валя (Нагибин, 1979).

Образ смерти как крылатого божества позволяет Ф. Сологубу употребить субстантивированное прилагательное *крылатая* в обращении к смерти:

Я жизни не хочу, – уйди, уйди Ты, бабища проклятая. *Крылатая*, меня освободи, *Крылатая*, *крылатая* (1922).

2. Слова, в семантике которых род заложен как основной дифференциальный признак: *женщина*, *мужчина*, *старуха*, *старик*, *дева*, *девочка*,

ка, *девушка*, *мальчик* и др. В русской культуре преобладают обозначения женского рода [1], [7], в то время как в других, прежде всего в немецкой и английской, – мужского (ср., в частности, работу об англоязычной поэзии [6]). В русской литературе смерть чаще всего предстает в образе *старухи*, которая также иногда именуется *карга*:

Амур, Гимен со Смертью строгой Когда-то шли одной дорогой Из света по своим домам, И вздумалось молодцам Втащить *старуху* в разговоры (Дмитриев, 1805); но, общий враг, Стоит *старуха*-смерть у каждого угла (Брюсов, 1912); *Старуха*-смерть, ты мне поведай: Сама ты можешь сосчитать Свои жестокие победы? (Шершеневич, 1928); Смерть, *старуха*, здесь не жди Ни любви, ни просветленья (Липкин, 1933); Свистит ли чертик в бабью щель, Или бормочет смерть-*старуха*» (Ю. Кузнецов, 1999); глядеть обидно: С ликом жуткого врага Смерть там видится, *карга* (Кропивницкий, 1952).

В поэзии более поздних лет смерть – *пожилая особа женского пола*, *старая дева*, образ ее конкретизируется деталями современного русского быта:

Смерть представляется в одушевленном виде, то есть живую, паче же – *особой женского пола*.

Старой девой или вдовой военного; так вполне *пожилою*, разгадывательницей кроссвордов в журнале «Семья и школа». Непременной общественницей, активисткой в ЖЭКе.

Может быть, даже работницей городского собеса или профсоюза, шарящей по картотеке подслеповато, с кариесом во рту (О. Николаева, 1995).

Реже смерть характеризуется метафорами, обозначающими противоположный возрастной полюс: *девочка*, *девушка*, *девица*:

Сияньем и сном растревожен вдвойне, Я сонные глазки открыл, И *девочка*-смерть наклонилась ко мне, Как розовый ангел без крыл (Цветаева, 1906–1912); Смерть – это *девушка* в одежде светлой, бальной, Но у нее простой и добрый вид (Лозина-Лозинский, 1912); Если ж смерть к нам постучится, Вспомним, что она – *девица!* (Агнивцев, 1915–1921).

К смерти применяются и обозначения без уточнения возраста: *женщина*, *дама*, *дамочка*:

Ты – Смерть, *женщина* с умным взглядом, Ты не жишь свое дитя? (Лозина-Лозинский, (1916); Пока на грудь, и холодно и душно, Не ляжет смерть, как *женщина* в пальто, И не раздавит розовым авто Шофер-архангел гада равнодушно (Поплавский, 1923–1930); Отыгрался червонный закат / и, на черную ночь посмотрев, / видит: высунулась из-за карт / смерть-лукавица, *дама* треп (С. Петров, 1943); Это понимаешь только вот накануне конца, когда подкрадывается тихонько какая-то болезнь и нашептывает по ночам, как сводня: «Ах, Захар, с какой я тебя *дамочкой* хочу познакомить!» Это она – про смерть... (М. Горький, 1928–1935).

На фоне этих многочисленных употреблений слов, в значение которых вписан признак «женский пол», особенно контрастно выглядят полемизирующие с ними единичные образные характеристики смерти с семантическим признаком «мужской пол» (возможно, в таких контекстах проявляется влияние германской традиции,

персонифицирующей смерть в мужском образе): *старик* (vs. *старуха*):

Ты умрешь бесславно иль со славой, Но придет и властно глянет в очи Смерть, *старик* угрюмый и костлявый, Нудный и медлительный рабочий (Гумилев 1908),

мужчина (vs. *женщина*):

Смерть, погибель, кончина...
Но меня не обманешь родом,
я знаю: смерть – *мужчина*,
щеголь рыжебородый,
надушенный, статный, еле
заметно кривящий губы...
И так он меня полюбит,
что больше не встану с постели (В. Павлова, 1997).

(в последнем примере присутствует метаязыковая рефлексия по поводу рода / пола смерти).

3. Обозначения лиц, наносящих вред человеку. Эта группа словоупотреблений соотносится с представлениями древних славян, о которых пишет А. Афанасьев:

Смерть то жадно пожирает людской род своими многоядными зубами, то похищает души, как вор, схватывая их острыми когтями, то, подобно охотнику, ловит их в расставленную сеть, то наконец, как беспощадный воин, поражает людей стрелами или другим убийственным оружием [1: 43–44].

Соответственно этому в русской литературе характерны обозначения мужского рода *тать*, *вор*, *ловец*:

Приходит смерть к нему [смертному], как *тать*, И жизнь внезапно похищает (Державин, 1779); Да, это было всё: горел твой ясный взор, Звенел твой юный смех, задорный и беспечный, И смерть всё отняла, подкравшись к нам, как *вор*. Всё уничтожила с враждой бесчеловечной (Надсон 1883); Сердце навсегда утихнет, Смерть придет – полночный *вор* (Клычков, 1934); «Одни другим корысть, гонящи и гонимы, Как лисы хитроствы, как львы неукротимы, Доколе всех их Смерть, могущий сей *ловец*. В железу сеть свою загонит наконец (Ширинский-Шихматов, 1812).

В эту же группу входят названия профессий и занятий, связанных с убийством, – *палач*, *мясник*:

Отчаянье окрест и лютый плач: И «Смерть» звался неведомый *палач* (Вяч. Иванов, 1909); И к юду, в фартуке кровавом, Не раз подходит смерть-*мясник*, Но спит душа под салыным сплавом – Геенских лакомок балык (Клюев, 1916–1918),

с преступлением – *гангстер*:

Ты – *гангстер*, сволочь, смерть, попутчик хилый (Луговской, 1943–1956).

Воинственность смерти выражается в словах-персонификаторах *витязь*, *стрелок*, *солдат*:

Как яркий *витязь* смерть нашла, Меня как хищник низложила, Свой зев разинула могила И всё житейское взяла (А. К. Толстой, 1858); Но смерть-*стрелок* напрасно целится, Я странной обречен судьбе (Кузмин, 1916); И когда улыбка дитяти Расплещет губ черноту, Смерть-*стрелок* в бедуинском плато Роковую ставит мету (Клюев, 1921); Мимо смерть пройдет с пустым мешком, как *солдат*, контуженный в бою... (С. Петров, 1940).

Среди этих образных обозначений смерти, подчеркивающих ее зловещий характер, ее губительную для человека роль, преобладают слова мужского рода, исключения составляют слова *злодейка*, *лиходейка*, *разбойница*, *душегубка*:

смерть-*злодейку* Он считает за пустяк (Вяземский, 1853); Смерть, хоть *лиходейка*, А приносит людям пропасть барыша (Л. Трефолов, 1866–1889); *разбойница* и грешница – / смирительница Смерть (С. Петров, 1940); Дай подольше посидеть у края бережка, Злая Смертушка презлая, *Душегубушка!* (Чиннов, 1984),

а также слово общего рода *убийца* (хотя его род может уточняться определением):

Если у дерева тень зацветет, то засохнет / дерево тут же, а тень уподобится язве, / почву бесплодьем отравит и даже не охнет – / сделает смерть откровенной *убийцей* (Жданов, 1978–1991).

4. Обозначение *всадник* и более редкое *седок*, связанные с библейским образом смерти – всадника Апокалипсиса:

я, как страшный *всадник* – смерть – На бледном поскакал коне (Жуковский, 1851–1852); Когда же Агнцем Снята была четвертая печать: Конь бледный выбежал, и был ужасный На нем *седок*, и тот седок был – смерть! (Жуковский, 1852); И я взглянул: конь бледен. На оном *всадник* – Смерть. И целый ад За нею шел (Майков, 1868); И я взглянул: конь бледен, На нем же мощный *всадник* – Смерть (Бунин, 1903–1905); Испуская смрад и дым, *Всадник*-Смерть гнался за мною (Клюев, 1911).

Как мы видим, в контекстах с метафорическим наименованием *всадник* род сочетающихся с ним глаголов и местоимений может варьироваться: ср. глаголы в прошедшем времени мужского рода: *поскакал*, *гнался*, *был* – и местоимение (за) *нею* женского.

5. Обозначения лиц, выполняющих караульную функцию, – *страж*, *сторож*, *часовой*:

Подобно как овец в затворы, Их в преисподней заключат, Где света их не узрят взоры, Где *стражем* смерть стоит у врат! (М. Дмитриев, 1830–1865); Все земное Смерть, как *страж*, обходит в тишине (Бунин, 1901); Смерть, – это так, добродушный *сторож* в парке, который сгоняет со скамеек засидевшихся влюбленных (Радзинский, 1964); здесь бродит Смерть неумолимым шагом, / как *часовой* среди беззвучных плит (Эллис, 1911).

6. Образные обозначения смерти, связанные с древними представлениями, дают начало самой большой и разветвленной группе образов сравнения компаративных тропов, развивающих идею о функциях смерти. Эту группу можно условно назвать «Профессии, занятия, социальные роли, функции» (примеры обозначений мы располагаем по хронологическому принципу). В этой группе обозначений персонификаторов мужского и женского рода примерно поровну.

К мужскому роду относятся образные наименования, представляющие, во-первых, созидательные роли смерти – *строитель*, *кузнец*:

То, что за бредом в сознании осталось – Ключья какие-то чувств и ума, – В новый, неведомый мир в нем

слагалось, – Смерть тут *строителем* стала сама! (Случевский, 1880); Прекрасен и прочен героя венец – Ты, смерть, – для бессмертья кующий *кузнец*! (Якубович, 1901),

во-вторых, наименования, не маркированные по оси «созидание / разрушение», – *трубач, машинист, кладоискатель, ключарь, секретарь*:

А вдали, вдали, вдали, Между небом и землей Веселится смерть. И в полях гуляет смерть – Снеговой *трубач*... (Блок, 1907); Краток путь от люльки до погоста! Служит Смерть для жизни *машинистом*! (М. Горький, 1912); И с киркою Смерть-*кладоискатель* Из сраженных души исторгает (Клюев, 1915); Они живой зарок, что мира пышный склеп Раскраден будет весь и без замков и скреп Лишь смерти-*ключарю* достанется в удел (Клюев, 1916–1918); В скорбной бричке по неделям смерть, безносый *секретарь*, еле тащится с портфелем (С. Петров, 1936),

в-третьих, роли, по своей семантике соотносящиеся со сферой надувательства и обмана, негативно воспринимаемых финансовых операций, – *крупье, спекулянт, торгош, заимодавец, шулер*:

Светлый гость, игрок зазорный, Разоряется до нитки; Ставка чести погибает, Проигрыш *крупье* проворный – Смерть – лопаткою сгребает (В. Иванов, 1917); Стой, *спекулянт*-смерть, хриплый твой вой лжив, нашего дня не смей трогать: он весь жив! (Асеев, 1924); И смерть над ними, как *торгош*, Поводит бронзовой острогой (Заболоцкий, 1928); Тебе, пока под солнцем *Заимодавец*-смерть удерживает нас, За часом час мы шлем, червонец за червонцем, И превращается в расписку каждый час (Садовской, 1929–1935); Но, Боже, страсти знают лишь живые смерть, как *шулер*, всё возьмет к утру! (Амари, 1939).

Обозначения профессий и занятий, относящиеся к женскому роду, не имеют четкой классификации. Это *ветошница, лекариша, садовница, сводня, подрядчица, калика перехожая, паломница, землемерша, сестра милосердия, мотоциклстка*:

Смерть для нее [Мысли] *ветошнице* подобна, – ветошнице, что ходит по задворкам и собирает в грязный свой мешок отжившее, гнилое, ненужные отбросы, но порою – ворует нагло здоровое и крепкое (М. Горький, 1903); За перегородкой аптекарша, Сухощава: сплошная кость – Смерть – безживотая *лекариша*, Палец – ржавый гвоздь (Д. Бурлюк, 1916); Где отступается Любовь, Там подступает Смерть-*садовница*. Само – что дерево трести! – В срок яблоко спадает спелое... (Цветаева, 1920); Придет ли смерть, загадочная *сводня*, И лезвием по горлу зашекочет, Я все приму сегодня, Чего смерть ни захочет (Хлебников, 1921); Заря от Вас ли не прячется, иль сны еще Вас бодрят, когда уже Смерть-подрядчица взяла на Вас подряд? (С. Петров, 1939); *калика перехожая* / с поломанною палочкой, / ко всем местам *паломница*, / <...> смирительница Смерть (С. Петров, 1940); В лесу казенной *землемершею* Стояла смерть среди погоста, Смотри в лицо мое умершее, Чтоб вырыть яму мне по росту (Пастернак, 1953); И смерть, как *сестра милосердная*, / в косынке красной и сером халате, / как привыкла бывать у себя в палате, / на помощь тихохонько подошла (С. Петров, 1965); смерть лошадка смерть *мотоциклстка* / смерть Орфея / в крагах и в очках летающая низко / над землею (В. Кривулин, 1997).

Эти обозначения различаются по своим коннотациям. Так, например, скорее положительные коннотации присущи словам *строитель, кузнец, сестра милосердия*, в то время как *торгош, спекулянт, сводня* имеют отчетливые негативные коннотации. Среди названий профессий, относящихся к женскому роду, довольно много слов, образованных суффиксальным способом от названий мужского рода, с суффиксами *-ш(а): лекариша, землемерша; -иц(а): ветошница, садовница, подрядчица, паломница; -к(а): мотоциклстка*.

7. Обозначения людей, выполняющих властные функции. Представление о господстве смерти над человеком дает начало таким образным ее наименованиям, как, с одной стороны, слова женского рода *царица, владычица, государыня*:

Пусть, поцелуй на мне оснуж, Склонится смерть, *царица* жен (Хлебников, 1911–1912); Присутствуешь ты сам при их беседе с Богом, Ничтожное презрев, *царицу*-смерть поправ (Д. Андреев, 1955); То Смерть-*владычица* была, Она явилась на мгновенье, Дала мне жизни откровенье И прочь – до времени – ушла (Бальмонт); А как музыка зазвучала И очнулась вокруг зима, Стало ясно, что у причала *Государыня*-смерть сама (Ахматова, 1965–1966),

а с другой – мужского рода *хозяин, начальник, командир*:

Смерть – наш *хозяин*; кровь – утучнение полей; стон – песня (Зайцев, 1921); Великим *начальником*, не знающим ослушания, была смерть: она поравняла всех перед собой, она научила всех своему языку (Кузьмина-Караваева, 1924); Когда шесть круглых дул нацелено, Чтоб знак дала Смерть-*командир*, – Не стусклена, не обесценена Твоя дневная прелесть, мир! (Брюсов, 1923).

8. Наименования *гость / гостья, пришлец*, выражающие идею о том, что смерть посещает человека часто неожиданно. В этой группе частота употреблений соотносенных слов мужского / женского рода приблизительно одинакова – *гость*:

...Когда бы смерть клюкой Ко мне в окно стучалась, Тогда б я счастлив стал, И весел, и покоен: Ее, как *гостя*, б ждал (Аргмаков, 1794); Скоро минуло отрадное время; Смерть всё пресекла, наш незванный *гость*; Пала на сердце кручина как бремя: Может ли буре противиться трость? (Катенин, 1814); Первый – белый, имя – Смерть; Глаз открыт, и зуб оскален, милый *гость* (Кузмин, 1908); И смерть в сраженьях не почетный, А только неизбежный *гость*, – И жизнь – с улыбкой беззаботной Бросает ей за костью кость! (Тиняков, 1914); Дед Гришака крутил тонкой, в морщинах и сухожилиях шеей <...> шевелил зеленой сединой усов. – Жду смертыньку, как дорогого *гостя* (Шолохов, 1928–1940); Мне хочется дожидать до той поры, Когда приходит смерть, как *гость* желанный (Н. Позняков, 1958);

гостья:

Себя лишь мудрый умеряет И смерть, как *гостью*, ожидает, Крутя задумавшись усы (Державин, 1811); Разобьем мы жизнь скорей! Смерть стучится у дверей. <...> *Гостья* милая, иди! (Л. Трефолов, 1879); С милой гостьей: желтой костью Щелкнет *гостья*: *гостья* – смерть

(А. Белый, 1908); И смерть приходит *гостьей* на обед, От детских рук прозрачных кровью пахнет» (Тихонов, 1915–1923); Между нами уже запросто ходила смерть, наша постоянная *гостья* (Туркул, Лукаш, 1937–1948); Ах, если б смерть – лихую *гостью* – Мне так же встретить повезло, Как Архимед, чертивший тростью В минуту гибели – число! (Кедрин, 1941).

Из приведенных вхождений видно, что в контекстах со словами *гость*, *гостья* встречаются как отрицательные коннотации (*незванный гость*), так и положительные (*желанный гость*, *дорогой гость*), связанные с ожиданием смерти как избавления.

9. Группа обозначений смерти с исключительно положительными значениями: *избавительница*, *освободительница*, *смирительница*, *благодетельница*, имеющими общий смысл 'избавление, освобождение от жизненных тягот' (в нашем материале встретились с таким значением только слова женского рода):

И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у неё было счастливое, точно она видела смерть, свою *избавительницу*, и шепталась с ней (Чехов, 1894); Смерть-*избавительница* Закрывала глаза, сиявшие светом надежды, И целовала уста, шептавшие слова привет, И останавливала радостный стук сердца (Амари, 1906); Но, что бы там ни было, как хорошо, что есть она, смерть-*освободительница*! (Ф. Сологуб, 1904); Ближе... совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все цепи, *благодетельницу* смерть... (Аверченко, 1910–1911); *смирительница* Смерть (С. Петров, 1940).

10. Слова, обозначающие отношения между людьми. Группа содержит как слова с положительными коннотациями *друг* / *подруга* и близкие к ним *спутник* и *союзник*, так и слова с отрицательными коннотациями *враг* и *врагиня*. В этой подгруппе обозначений преобладают слова мужского рода, но они могут относиться и к женщинам. Раньше всего в языке художественной литературы в тропах с предметом сравнения *смерть* появляется слово *друг*:

Когда бы жизнью он скучал И смерть к себе как *друга* звал, Тогда бы долго прожил с нами (Карамзин, 1795); К страдальцу Смерть на прах надежд увялых, Как званный *друг*, желанная, идет... (Жуковский, 1819); От уз освобожденный дух Первоначальный образ примет, И с вечных тайн пред ним подымет Завесу Смерть, как старый *друг*, И возвратит ему прозренья (Майков, 1888);

гораздо реже в этой функции употребляется слово *подруга*:

Подруга смерть, не замедляй, Разрушь порочную природу, И мне опять мою свободу для созидания отдай (Ф. Сологуб, 1903),

причем в ряде контекстов слово *подруга* обозначает отношение, связывающее смерть не с лирическим субъектом, а с некоторым другим феноменом:

Так жизнью всюду правят Страх и Боль, С ней рядом смерть, как верная *подруга* (Л. Бартольд, 1953).

Слова *спутник* и *союзник* имеют малую частоту употребления:

И тут же – вечный *спутник* Человека, немая и таинственная Смерть (М. Горький, 1903); Содрогнулся дракон и снова Устремил на пришельца взор, <...> Смерть, надежный его *союзник*, Наплывала издалека (Гумилев, 1918–1921).

Противоположная оценочность присуща антониму слова *друг* – обозначению *враг*, сближающемуся по своей семантике с ранее описанными наименованиями *вор*, *убийца*, *палач* и пр.:

И стал я звать таинственную Смерть, Как закланного, кровного *врага*, На грозный бой, – но Смерть не появлялась (Случевский 1860),

встречается и соотносительный по роду дериват *врагиня*:

Спи, проклятая, спи, когда смерти-*врагине* не спится (В. Блаженный 1973).

11. Большую группу персонифицирующих обозначений смерти составляют термины родства (в абсолютном большинстве женского рода), самый частотный из которых – *невеста*. А. Афанасьев пишет о нем:

В числе других представлений Смерти особенную поэтическую свежестью дышит то, где она является невестою. Этот прекрасный образ объясняется из старинных метафорических выражений, уподоблявших кровавую битву – свадебному пиршеству, а непробудный сон в могиле – опочиву молодых на брачном ложе. Умирая от ран, добрый молодец, по свидетельству русской песни, наказывает передать своим родичам, что женился он на другой жене, что сосватала их сабля острая, положила спать калена стрела [1: 57].

Традиционно смерть – невеста лирического субъекта-мужчины:

<...> отдаю за тебя свою дочь <...> – Нет, Евстафий, мне, видно, одна *невеста* – смерть <...> (Марлинский, 1823); Разобьем мы жизнь скорей! Смерть стучится у дверей. <...> Мы поедем под венец. <...> Свахи наши тут как тут. В церковь божию зовут. <...> Смерть – *невеста* и жена – Назови их имена! (Л. Трефолев, 1879); Любим мы бурю, – шум ее и ужас, Смерть не пугает: нам она *невеста*! (Бутурлин, 1880–1893); Трепещущий, с улыбкою покорной, Он, как жених – *невесты*, смерти ждет... (Мережковский, 1890); Прощая жизни смех злорадный И обольщенья звонких слов, Я ухожу в долину снов, К моей *невесте* беспощадной (Ф. Сологуб, 1896); О Мать-Гвердь! *Невеста*-Смерть! Прейду И я порог, и вспомню, вспоминаю (Вяч. Иванов, 1909); Вся – легкая, вся – сон, смерть – в бальном платье фея! Нагнулась ласково и шутит, что богата *Невеста*-смерть... (Лозина-Лозинский, 1912); Рабы Любви, Вам Смерть – *невеста*, И нет вам места В дневном пределе (Вяч. Иванов, 1915); Иль не стало в нашей стране Сыновьям нашим должного места, Что мы отдали их войне И дали им смерть в *невесты*? (Полонская, 1919).

В очень редких случаях роли меняются местами: девушка, женщина становится невестой смерти. В таких случаях на первый план выходит представление о свадьбе и смерти, а родополовые коннотации стираются:

О, Эдальвина! <...> Горькой ты смерти юна *невеста*! Брачные песни замолкли навеки! (Г. Каменев, 1799)

(подобное явление – размывание значения рода – для терминов родства отмечено М. А. Журиной [4]).

К этому явлению может добавляться отсылка к германской культуре, в которой смерть – мужского рода, например, в стихотворении В. Брюсова со значимым заглавием «Пляски смерти. Немецкая гравюра XVI в»:

[Смерть – монахине] Я ведь тоже в черной рясе: Ты – черница, я – чернец. Что ж! поди, в удалом плясе, Ты со Смертью под венец! (1909–1910) (здесь слово *невеста* не употреблено, но смерть, которая называет себя чернецом, предлагает монахине пойти под венец).

Кроме слова *невеста*, смерть обозначается в метафорах и сравнениях

как *жена*: Смерть – невеста и *жена* (Л. Трефолев, 1879); Люблю октябрь, предснежный месяц, И Смерть, развратную *жену*!.. (Северянин, 1910); Будет час – о, я знаю, знаю: Различая Радость и персть, Как невесту, я жизнь встречаю, Как *жену*, я узнаю смерть (Голенищев-Кутузов, 1924);

как *вдова*: Тайственный ужин разделите вы, Лишь Смерти не кличьте – печальной *вдовы*... (Клюев, 1916–1918),

мать: Мы можем досыта резвиться и играть: За нами смотрит смерть, как любящая *мать*... (Н. Минский. Тучки, 1878); *Мати*, моя Мати, Пречистая Мати! Смерть тихогласная, Тихоокая смерть! (Герцык, 1908), Любви, любви тоску незримую, о Смерть, о *Мать*, благослови (З. Гиппиус, 1911); И смерть, как *мать*, мне поднесет Свой избавительный напиток (М. Мыслинская, 1926); *мама*: Иной зовет скукою, Иной мукою... А *мама*-Смерть – Разлукою, Девочку в сером платьице... (З. Гиппиус, 1913); *матушка*: Смерть седая *матушка* Уж недалеке (Кропивницкий, 1939),

сестра: Да хвалит Господа и Смерть, моя родная, Моя великая, могучая *сестра*! (Мережковский, 1891); Когда придет моя пора, Когда ударит час разлуки И ты – Суровая *Сестра* – Ко мне протянешь властно руки, – Не отступлю, не прокляну, Не содрогнусь перед тобою (Тяньков. Смерти, 1915); Смерть земная – всем *сестра* старшая, Ты ко всем добра, и все смиренно Чрез тебя проходят, будь благословенна! (Волошин, 1919); Так и смерть, прервав восторг и муку, – Старшая суровая *сестра*, – Стиснет нашу стынущую руку, Поведет... (Е. Таубер, 1920–1936); ...в испуганный диком Над его уже застывшим ликом Только смерть, как добрая *сестра* (Ахматова, 1954); Страшна душевная болезнь, а не смерть, недаром же у покойников всегда такие хорошие, умиротворенные лица. Даже у безумцев, вспомнил он с удивлением. Добрая *сестра* – смерть расколдовывает их души, прежде чем унести с собой (Нагибин, 1972–1979).

Родственные отношения, как и дружеские (см. выше), связывают смерть не только с лирическим субъектом, но и с различными другими явлениями, например, смерть и сон характеризуются как близнецы (образ, восходящий к античной культуре), любовь и смерть, война и смерть, жизнь и смерть как сестры:

На одной теснясь подушке, Все миры поймавши в сеть, Жмут тебя две потаскушки, Две *сестрицы*: Жизнь и Смерть! (Агнивец, 1915–1921).

На фоне подавляющего большинства терминов родства, характеризующих смерть как лицо женского пола, в нашем материале встретился

всего один контекст со словом, обозначающим лицо мужского пола – *отец*: «И, как *отец*, Над головою смерть склонилась» (Белоцветов, 1930).

12. К смерти часто применяются обозначения, являющиеся типичными в функции обращения, тоже в основном женского рода: *матушка*, *голубушка*, *красавица*, *мадамочка*, *барышня*, *го-спожя*, *гражданка* с разным стилистическим значением:

Придет, говорят, смерть и поймет тогда человек, как он на свете прожил. И увидит он, что не то он делал, что нужно делать, и возьмет его тогда тоска и возмолится он перед смертушкой: смертушка-*матушка*, отпусти меня на один годок, я один годок поживу и хоть маленько свои дела исправлю (С. Семенов, 1900); И я себе прошел, как какой-нибудь ферт, Скинул джонку и подмигнул с глазом: «Вам сегодня не везло, *мадамочка* Смерть? Адью до следующего раза!» (Сельвинский, 1922); Нет, мы тебе не побегим навстречу, Тебе, *гражданка* Смерть, не в меру будет лезть. Мы двух столетий жили на откосе, Тебя, *гражданка* Смерть, мы видели не раз (Е. Полонская, 1926).

Употребляется и слово *товарищ*, которым можно назвать и мужчину, и женщину. В одном контексте *товарищ смерть* согласуется с глаголами в женском роде (*победила*, *взяла верх*):

Ольга грубо взяла себя за щеки и оттянула кожу к ушам. В таком виде она стала похожа на маму в гробу: в маме без следа исчезла мягкость, округлость лица, а кость победно выпятилась, Ольга даже заплакала над мамой, жалея не просто утрату. Утрату лица. Что ж ты, *товарищ* Смерть, так выпираешь, если уже все равно победила и взяла верх? (Г. Щербакова, 1997),

в другом – вне позиции обращения – согласование происходит по мужскому роду (*был*):

Ведь на празднике со свитой, Лично был *товарищ* Смерть! (М. Садов, 2008).

Итак, рассмотрение основных семантических групп слов – персонификаторов смерти в русской литературе показывает, что в разных группах соотношение слов женского и мужского рода различно. Хотя в целом можно заключить, что персонифицированная *смерть* предстает в литературе в женском образе, что соответствует представлениям древних славян и определяется грамматическим родом самой персонифицируемой сущности, некоторые классы содержат довольно значительное число наименований мужского рода. Это классы, включающие в себя обозначения, связанные с мужскими ролями в обществе, – наименования «воинственных» ролей: *витязь*, *стрелок*, *солдат*; профессий, связанных с охотой и убийством: *ловец*, *мясник*, *палач*; наименование *всадник*, связанное с библейским контекстом. В тех классах, где преобладают обозначения, относящиеся к женскому роду, также встречаются единичные наименования мужского рода, например *мужчина*, *старик*, *отец*. Их употребление маркировано и ощущается как контрастное по отношению к традиционному. Среди обозначений смерти можно выделить пары, образующие

словообразовательные корреляции по роду: *старик – старуха, гость – гостья, друг – подруга, враг – врагиня*.

На протяжении рассмотренного временного периода наблюдается эволюция класса персонификаторов смерти: если в начале XIX века он включал ограниченный круг наименований: *тать, вор, ловец, витязь, стрелок*, то в XX веке он пополняется значительным количеством обозначений различных профессий, занятий и ро-

лей: *кузнец, рабочий, трубач, крупные, землемерша, подрядчица* и др. В поэзии конца XX века образ смерти приобретает все более современные черты.

Исследование категории рода образных обозначений смерти можно продолжить, например, рассмотрев имена собственные как опорные слова компаративных тропов (в нашем материале – это *Одиссей, Гераклит, Цирцея*), а также экзотические имена (типа *папуас* у С. Черного) и другие.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Дальнейшее развитие идей Я. И. Гина можно наблюдать в работах, посвященных поэтической функции рода, в частности при персонификации ([2], [5] и др.).

² НКРЯ – Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения 01.01.2018).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. Т. 3. М.: Индрик, 1994. 840 с.
2. Богатырёва О. Л. Креативный потенциал категории рода в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2008. 23 с.
3. Гин Я. И. Поэтика грамматического рода / Подгот. текста С. М. Лойтер; Вместо предисл. Л. В. Савельева. Петрозаводск, 1992. 168 с.
4. Журинская М. А. Об именах релятивной семантики в системе языка // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1979. № 3. С. 249–260.
5. Зубова Л. В. Категория рода и лингвистический эксперимент в современной поэзии [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.levin.rinet.ru/ABOUT/zubova1.html> (дата обращения 01.03.2018).
6. Матвеева А. С. Олицетворение смерти в англоязычной поэзии // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. Вып. 114. С. 222–231.
7. Толстая С. М. Смерть // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). М.: Международные отношения, 2012. С. 58–71.

Petrova Z. Y., Vinogradov Institute of the Russian Language of RAS (Moscow, Russian Federation)
Fateeva N. A., Vinogradov Institute of the Russian Language of RAS (Moscow, Russian Federation)

THE CATEGORY OF GENDER IN PERSONIFICATION: FIGURATIVE NAMES OF DEATH IN RUSSIAN LITERATURE

The paper develops the ideas contained in the pioneering article by Y. I. Gin “The Poetics of Gender”. Specifically, the match and mismatch of gender and sex of the personifying entity and the personificator are analyzed. In this regard, the cases of death personification in the XIX–XX centuries’ Russian prose and poetry are investigated: semantic groups of death personificators are established. Consideration of the main semantic groups shows that the ratio of the words of feminine and masculine gender varies. While it may be generally concluded that a personified *death* appears in Russian literature as a female character, some groups contain a fairly large number of masculine names. These groups of names include designations associated with masculine roles of the society – “militant” and “combative” roles: *a knight, a gunner, a soldier*; occupations associated with hunting and killing: *a hunter, a butcher, a hangman*; the name *horseman* is associated with the Biblical context. In those classes, where feminine names dominate, there are also some names of masculine gender, e. g. *man, old man, father*. Their use is marked and is felt as a standing contrast to the existing tradition. During the time period in focus the evolution of the class of death personificators is observed. The class is expanded by various names of occupations. The image of death progressively acquires modern features in poetry of the late twentieth century. The material was collected with the use of the Russian National Corpus.

Key words: personification, gender, concept of death, semantic groups, personificator, Russian literature

REFERENCES

1. Afanas'ev A. Poetic views of nature by the Slavs. In 3 vol. Vol. 3. Moscow, Indrik Publ., 1994. 840 p. (In Russ.)
2. Bogatyreva O. L. Creative potential of gender in Russian. Author's abstract of the cand. philol. sci. diss. Moscow, 2008. 23 p. (In Russ.)
3. Gin Ya. I. Poetics of gender, S. M. Loyter (ed.); L. V. Savel'eva (preface). Petrozavodsk, 1992. 168 p. (In Russ.)
4. Zhurinskaya M. A. Names with relative semantics in the language system. *Izvestiya AN SSSR. Ser. lit. i yaz.* 1979. № 3. P. 249–260. (In Russ.)
5. Zubova L. V. *The category of gender and linguistic experiment in modern poetry*. Available at: www.levin.rinet.ru/ABOUT/zubova1.html (accessed 01.03.2018) (In Russ.)
6. Matveeva A. S. Personification of death in English poetry. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena*. 2009. Issue 114. P. 222–231. (In Russ.)
7. Tolstaya S. M. *Smert'*. *Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary*. In 5 vol. Vol. 5. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 2012. P. 58–71. (In Russ.)

Поступила в редакцию 12.03.2018



ЯКОВ ИОСИФОВИЧ ГИН

(29.05.1958 – 18.02.1991)

Филолог, лингвист, исследователь
поэтики грамматической категории:
к 60-летию со дня рождения

«Мы хотим видеть его нашим современником и собеседником», – эти слова принадлежат доктору филологических наук, профессору С. Т. Золян, приславшему из Еревана свой отклик на посланный ему доклад С. М. Лойтер «Поэтика грамматики в работах Я. И. Гина», прозвучавший на международной конференции «Грамматические исследования поэтического текста» в сентябре 2017 года в ПетрГУ. Материалы конференции уже изданы [27].

Когда задумываюсь о том, как к 33 годам, когда закончился земной путь Якова Гина, он стал серьезным, глубоким исследователем, автором многих работ по властно овладевшей, ставшей для него доминантной проблематике, касающейся знаменитой формулы Р. Якобсона «поэтика грамматики» и «грамматика поэзии», неизменно возвращаюсь к его детству. Именно там вижу исток, первоначало, основу и почву его словочувствований, слово- и звукопереживаний. Вспоминаю гениальные строки Б. Пастернака: «О детство! Ковш духовной глубины». Из детства родом рано явившиеся влечения и потребность в восприятии поэтического, некое его постижение. Если раньше я воспринимала это как отдельные факты, то теперь вижу непрерывный процесс духовного развития. «Рожденный быть филологом» назвала свои воспоминания о Я. Гине его одноклассница, затем однокурсница, теперь доктор филологических наук, профессор И. А. Спиридонова [25: 264–271].

Яше два года. Мы снимаем комнату в общей квартире старого деревянного дома. Чтобы ребенок не досаждал хозяевам и не посягал на их пространство, мы на наши скромные доходы приобрели проигрыватель, к которому он не просто пристрастился, слушая голоса детских и не детских писателей и музыку, но проигрыватель стал источником веры в чудо и истинность игры. Чтобы оторвать сына от прослушивания, отец говорил: «Ну, вот прилетела ворона и унесла проигрыватель». Ребенок примирялся с этим, но вскоре начиналось: «Папа, давай попросим ворону от-

дать проигрыватель». – «Давай», – соглашался отец. Яша выходил за дверь, стрелял из детского ружья, и проигрыватель появлялся. И так всякий раз. Как-то во время звучания 2-й симфонии Чайковского раздался тревожный и взволнованный крик: «Плакает!», – так он отреагировал на возникшую мелодию протяжной народной песни.

Любимой книгой с двух примерно до трех лет была «Гусли-самогуды», иллюстрированная Ю. Васнецовым и прекрасно обработанная фольклористом Н. П. Колпаковой:

Как по морю, морю,
По синему морю
Плыли, выплывали
Гусли-самогуды.
Выплывали гусли
На крут бережочек,
На крут бережочек,
На желтый песочек...

Олицетворенные гусли-самогуды действовали на него магически, и он многократно повторял для нас это словосочетание, рассчитывая на полное взаимопонимание. Каждый раз перед сном он приносил мне эту книжечку и требовал «Гусли-самогуды». Знание сюжета и повторение не снижали градус восприятия, и каждый раз он испытывал ту же радость, замороженный музыкой этих прекрасных поэтических строк.

С пяти лет в его жизнь вошла классика. Сначала это был длившийся несколько лет всепоглощающий интерес к античности. Греческая мифология, которую он со временем стал постигать по всем доступным источникам (недолго занималась с ним греческим Т. Г. Мальчукова; в пятом классе он помогал своей кузине, студентке первого курса филфака, готовиться к экзамену по античной литературе), настолько овладела его воображением, что ее персонажи населили многие его поэтические опусы. Один из них – быстрая реакция на потрясение, испытанное во время посещения Петергофа в 9-летнем возрасте, написанное гекзаметром:

Самсон широкоплечий пасть раздирает порождению Тифона и Ехидны.
В раковину трубит Тритон, а с ним рядом сидят Нереиды – морские русалки.
Вот Персей с головою Горгоны Медузы.
В Монплезира саду шутихи – Гермесовы дочки.
А вдали солнечные нити разлились.
Около балтийского прибоя, опершись на трезубец свой,
Стоит властитель Посейдон.
Среди рош – богиня Флора.

Эпилог.

И вот уж розовая полоса плывет над Петергофом.

В средних классах школы началось упоение классической поэзией. И это отражают безжалостные пометы карандашом, а иногда и ручкой на полях книг личной библиотеки. Его друг А. Краснов вспоминает, что чтение пушкинского «Пророка» «стало одним из самых ярких школьных впечатлений». Другие были потрясены тем, как он прочел стихотворение П. Антокольского «Дон Кихот». В старших классах увлекся театром, мечтая стать театральным режиссером. Это отражают наши издания Шекспира и особенно том с чеховскими пьесами, а также отдельный блокнот с пометами и соображениями о каждой роли. Воскресные поездки в ленинградские театры и прежде всего на спектакли Корогодского, который был его кумиром, как-то изменили его пристрастия. Возможно, он трезво оценил свои нетеатральные данные.

В девятом классе произошло знакомство Я. Гина с замечательным литературоведом П. А. Рудневым, влияние которого бесценно. Он покорило его тем, что разговаривал на равных, без снисходительности и ученого превосходства, посвятив в свои научные интересы, давал читать работы по стиховедению, пригласил на свои лекции по русской литературе XIX века, которые Яков воспринял восторженно. Интересна динамика их отношений: от поклонения и обожания к глубокому уважению и дружбе. Этому не мешала разница в возрасте. Они стали близкими, нужными друг другу людьми. В конце 1982 – первой половине 1983 года Яков, живя в Калининe, написал Петру Александровичу более двадцати писем (их переписка опубликована в Ежеквартальнике русской филологии и культуры. СПб., 1998. Т. II. № 4. С. 510–524). «Друг, сынок, соавтор, собрат» – так начинается одно из шуточных посланий П. А. Руднева. «Сынок» (а то и «щенок») – так он называл его часто, любил, помогал, заботился потечески. Они были соавторами: в Известиях Академии наук (Серия литературы и языка. Т. LVI) опубликована их совместная рецензия на книгу И. И. Ковтуновой «Поэтический синтаксис».

Поступив на первый курс филологического факультета Петрозаводского университета, Яков, обладая таким багажом прочитанных текстов, не испытывал необходимости специально читать к экзаменам, а занимался своими делами. С этого времени началась серьезная и насыщенная научная деятельность, обратившая на себя внимание известных ученых (Ю. М. Лотман, Д. С. Лихачев, В. Н. Топоров, И. И. Ковтунова и др.). Его увлекла лингвистика, идеи А. А. Потебни о внутренней форме языка. В лингвистическом кружке профес-

сора З. К. Тарланова он сделал доклад «О теории поэтического языка А. А. Потебни», а затем по предложению научного руководителя написал тезисы для предполагаемого сборника студенческих научных работ (сборник не вышел). Курсовая работа второго курса под названием «Из наблюдений над категорией рода в русской народной сказке» стала первой публикацией в межвузовском научном сборнике. В 1979 и 1980 годах на XXXIV и XXXV студенческих научных конференциях Тартуского университета доклады Я. Гина «О категории рода в русской сказке» и «Категория одушевленности – неодушевленности и олицетворение в русском языке» были удостоены 1-го места и Почетной медали СНО Тартуского университета по русской филологии, которую вручил Ю. М. Лотман.

В 1985 году Я. И. Гином была защищена в Ленинградском университете кандидатская диссертация на тему «Грамматический род как категория поэтического языка», ставшая впоследствии монографией «Поэтика грамматического рода» [21]. Она, как и другие его книги, была подготовлена и издана посмертно (см.: [24], [25], [26]). Поэтика грамматического рода исследовалась на огромном материале фольклорных (сказка, песни, паремии, загадки) и литературных текстов (оригинальных и переводных) XVIII–XX веков. Так изучалась одна из тех ядерных категорий, которые О. Есперсен и Р. Якобсон называли шифтерами. Профессор Л. В. Савельева подчеркивала:

Сложности и многомерности художественного текста соответствовал глубоко разработанный автором комплексный анализ семантико-грамматического, фольклористического и семантико-эстетических аспектов, сама методика проведения которого являла собой научное достижение поэтической филологии [31: 3].

Роль рода в формировании структуры и смысла художественного текста рассматривалась впервые, как впервые специально изучалась в семантико-грамматическом плане корреляция рода и пола у олицетворенных субстантивов (эта проблема стала самостоятельной работой) [14].

Осуществленное Я. И. Гином исследование поэтики грамматического рода русских субстантивов в диссертации и последующих за ней статьях и исследование поэтики других грамматических категорий позволили ему выдвинуть предположение о существовании четырех общих лингвопоэтических норм при персонификации и дифференцировать их функционирование. Первая, самая очевидная, по мнению Гина, норма охватывает существительные мужского и женского

рода: для них при персонификации выбор семы пола определяется граммемой рода персонифицируемого имени. Вторая охватывает все субстантивы и состоит в нарушении общезыковой импликации: олицетворенное существительное, получающее значение пола, имеет тенденцию оставаться морфологически неодушевленным. Третья и четвертая нормы касаются субстантивов среднего рода, которые стали объектом отдельного исследования [17]. Рассмотрение типов лингвопоэтических норм в поэтическом языке подвело Гина к следующему положению: общая лингвопоэтическая норма (ОЛПН) может представлять собой как формальное отклонение от нормы литературного языка (НЛЯ), так и совпадение с ней; индивидуальная же лингвопоэтическая норма (ИЛПН) может представлять собой результат следования общей норме или ее нарушения. Другими словами, поэтический язык подчиняется особым грамматическим нормам, отличным от общезыковых. Если лексическую поэтику Гин рассматривает как поэтику свободы, то грамматическая поэтика – поэтика обязательности [24: 78]. И грамматику он определяет как *язык языка*, «т. е. некий код, на котором мы общаемся с нашим языком и при помощи которого понимаем язык» [25: 84].

Из ядерных категорий, которые формируют диалогичную, коммуникативную структуру поэтического текста, Гин выделяет категории лица местоимений и глаголов, которым посвящает несколько работ [20], [23]. В статье «Поэтика грамматической категории лица в русской лирике» Гин писал:

Проблему поэтики категории лица в поэтической (в первую очередь – лирической) речи можно рассматривать в аспекте внутренней коммуникативной структуры текста (Я, ТЫ, ОН, ОНА – персонажи текста) и в аспекте соотношения внутренней и внешней (Я и ТЫ – автор и читатель) коммуникативных структур [24: 110].

Рассмотрение поэтического текста как исключительно динамичной структуры предшествует или сопутствует разработке понятий – *лингвопоэтический факт* и *лингвопоэтический комментарий* [5]. Лингвопоэтический комментарий в отличие от известных типов комментария, интерпретированных Б. В. Томашевским (историко-текстового, редакционно-издательского, историко-литературного, критического, лингвистического), являясь началом лингвопоэтического исследования, необходим, когда объясняется форма и семантика текста, что могут сделать лишь лингвистика и поэтика вместе, объединив свои усилия. «Яркие образцы» [33] таких исследований лингвопоэтического факта и лингвопоэтического комментария, свидетельствующих о многозначности поэтического текста «как пространства свободы» и обретающих «оригинальное лингвистическое преломление» [28], демонстрируют статьи: «К истолкованию финала плача Ярославны» [7], «Словесная трагедия: Месяц Месяцовой в “Коньке-горбунке” П. П. Ершова» [8], статьи о филумеле [10], [15], «Из “поэзии грамматики” у Мандельштама» [19], «Из комментариев к “Евгению Онегину”»: Агафон

[22], «Днепр – Непра – Лелепр: О поэтике гидронимов в фольклоре и литературе» [18].

Я. И. Гину принадлежит авторство термина «поэтическая филология» (ПФ), в котором он видит «объект гетероморфный и гетерогенный, своеобразное средостение между искусством и наукой» [12].

Уже упомянутый огромный исследовательский материал, состоящий как из литературных, так и фольклорных источников, и «составляет тот словесный континуум» [29], который иллюстрирует и обосновывает теоретические построения Я. И. Гина. А они напрямую ведут к кругу проблем, в котором В. Н. Топоров усмотрел «генезис грамматических категорий как элементов поэтического языка и генезис поэтики, увиденной сквозь призму языка, его грамматических категорий» [32]. И об этом говорят работы последних лет, когда Гин-докторант обдумывал, концептуализировал, обосновывал проблему построения поэтики грамматических категорий в целом, результатом чего стали статья «К вопросу о построении поэтики грамматических категорий» [17] и незавершенная рукопись «О построении поэтики грамматических категорий» [24: 87–92].

Следует сказать, что работы Я. И. Гина не преданы забвению.

Трудно назвать современное исследование по лингвопоэтике, в котором бы не встречалось ссылок на диссертацию и статьи Гина. <...> они требуют талантливых и самостоятельных продолжателей [33].

Его работы сделаны только на русском материале, но они оказывают «стимулирующее воздействие на всех, кто занимается в той или иной форме проблемами поэтики в самом широком смысле этого слова и, в частности, – поэтики исторической, обращенной к материалу иноязычному...», – пишет лингвист, исследователь исландского языка Т. А. Михайлова [30]. Сегодня проблемы поэтики грамматики актуализированы вузовской практикой.

Вернусь к отклику уже упомянутого известного лингвиста С. Золяна:

В будущем году Якову Иосифовичу исполнилось бы 60 лет... Может, правильнее сказать – исполнится 60 лет. Кто бы, как ни он, объяснил бы семантику этого грамматического различия: мы хотим видеть его нашим современником и собеседником.

Представительная конференция, на которой будут обсуждаться вопросы «поэзии грамматики и грамматики поэзии», была бы, может, и возможна, но тем не менее трудно представима без работ Якова Иосифовича и его самого. Так получилось, что тема, кардинальная для поэтики 60-х, в конце семидесятых уступила место семантическому анализу текста. Яков Иосифович, при всем интересе и уважении к его личности и его результатам, оставался в одиночестве. Многим казалось, что он разрабатывает уже почти иссякшее месторождение, дописывая недописанное классиками. Это было связано с общим кризисом грамматики – чисто морфологический подход к грамматике уже был исчерпан, новый – функциональный или когнитивный – еще никак не проявлял себя. Требовалось большое академическое мужество и уверенность в своей правоте, чтобы не только увидеть, но и сделать так, чтобы и другие увидели креативный потенциал грамматики. Ведь он работал в то время, когда в грамматике видели в первую очередь

облигаторные механизмы, навязывающие говорящему уже готовые смысловые схемы. Не случайно, что даже выдающийся филолог Ролан Барт сравнивал язык с... фашистом, имея в виду именно заставляющую говорящего оформлять свою мысль в соответствии с заданными лекалами языка. Сегодня лингвистика и грамматическая теория отказываются от подобных подходов, видя в грамматике не столько инвентарь готовых схем, сколько инструменты для самовыражения. То, что Яков Иосифович описывал как особенности поэтического языка, вскрывает потенциал языковой системы. Его образцовое описание употребления категории рода в русской поэзии может быть прочитано не

только как описание определенных поэтических практик, но и как раскрытие когнитивных аспектов грамматических категорий (здесь легко прочтываются и концепты, и метафоры, и блендинг), равно и как описание взаимодействия («интерфейс») семантики и прагматики.

Безусловно, подобная смена парадигм в грамматике обязательно станет стимулом и для более глубокого изучения грамматических аспектов поэтики. Развивая эти идеи, очень важно помнить о работах Якова Иосифовича Гина. Черед их настал. «Моим стихам, как драгоценным винам...», — и это должно стать истинным юбилеем Якова Иосифовича.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гин Я. И. Из наблюдений над категорией рода в русских народных сказках // *Язык жанров русского фольклора: Межвуз. сб.* Петрозаводск, 1977. С. 114–127.
2. Гин Я. И. Категория одушевленности-неодушевленности и проблема олицетворения // *Тезисы 24 научной конференции студентов.* Таллинн, 1980.
3. Гин Я. И. Словесная травестия // *Литературный процесс и развитие русской культуры XVIII–XX вв.: Уч. материал по теории литературы.* Таллинн, 1982. С. 65–69.
4. Гин Я. И. О функции категории рода в загадках // *Язык жанров русского фольклора: Межвуз. сб.* Петрозаводск, 1983. С. 119–129.
5. Гин Я. И. О понятиях лингвопоэтического факта и лингвопоэтического комментария // *Литературный процесс и развитие культуры XVIII–XX вв.* Таллинн, 1985. С. 110–115.
6. Гин Я. И. Грамматические особенности олицетворения существительного «горе» // *Язык русского фольклора: Межвуз. сб.* Петрозаводск, 1985. С. 105–113.
7. Гин Я. И. К истолкованию финала плача Ярославны // *Исследования «Слова о полку Игореве»* / Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1986. С. 81–86.
8. Гин Я. И. Словесная травестия: Месяц Месяцовой в «Коньке-горбунке» П. П. Ершова // *Фольклорная традиция в русской литературе: Сб. науч. трудов.* Волгоград, 1986. С. 17–23.
9. Гин Я. И. О перспективах изучения поэтики диалога: Коммуникативный статус малых жанров фольклора // *Научно-технический прогресс и развитие науки: Тез. докл.* Петрозаводск, 1987. С. 17–19.
10. Гин Я. И. Опыт лингвопоэтической интерпретации грамматического рода: Пел переделкинский филумела // *Литературный текст: Проблемы и методы изучения: Межвуз. сб.* Калинин, 1987. С. 47–60.
11. Гин Я. И. Заметки о русском проговорительном пространстве // *Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора: Предварительные материалы к симпозиуму.* М., 1988. С. 141–143.
12. Гин Я. И. О «поэтической филологии» // *Литературный процесс и проблемы литературной культуры: Материалы для обсуждения.* Таллинн, 1988. С. 20–22.
13. Гин Я. И. О лирической коммуникации // *Литературный процесс и проблемы литературной культуры: Материалы для обсуждения.* Таллинн, 1988. С. 95–97.
14. Гин Я. И. О корреляции рода и пола при олицетворении // *Проблемы структурной лингвистики. 1985–1987* / Отв. ред. В. П. Григорьев. М., 1989. С. 176–184.
15. Гин Я. И. Судьба Филомелы в русской поэзии // *Русская речь.* 1990. № 4. С. 32–39.
16. Гин Я. И. Лирическая коммуникация как культурный феномен // *Семантические и коммуникативные категории текста: Тез. докл.* Ереван, 1990. С. 46.
17. Гин Я. И. К вопросу о построении поэтики грамматических категорий // *Вопросы языкознания.* М., 1991. № 2. С. 103–110.
18. Гин Я. И. Днепр – Непра – Лелепр: О поэтике гидронима в фольклоре и литературе // *Язык русского фольклора: Сб. науч. статей.* Петрозаводск, 1992. С. 109–116.
19. Гин Я. И. Из «поэзии грамматики» у Мандельштама: Проблема обращенности // *Известия Академии наук. Сер. лит. и яз.* 1992. Т. 51. № 5. С. 52–59.
20. Гин Я. И. Поэтика грамматической категории лица в русской лирике // *Проблемы исторической поэтики: Художественные и научные категории.* Вып. 2. Петрозаводск, 1992. С. 85–96.
21. Гин Я. И. Поэтика грамматического рода / Подгот. текста С. М. Лойтер; Вместо предисл. Л. В. Савельева. Петрозаводск, 1992. 168 с.
22. Гин Я. И. Из комментариев к «Евгению Онегину»: Агафон // *Временник Пушкинской комиссии.* Вып. 25. СПб., 1993. С. 135–143.
23. Гин Я. И. О построении поэтики грамматической категории лица: Фрагмент работы // *Литература и фольклорная традиция: Тез. докл. науч. конф.* Волгоград, 1993. С. 116–118.
24. Гин Я. И. Проблемы поэтики грамматических категорий: Избранные работы / Сост., подгот. текстов С. М. Лойтер. СПб.: Академический проект, 1996. 224 с.
25. Гин Я. И. О поэтике грамматических категорий / Сост., предисл., подгот. текстов, коммент. С. М. Лойтер. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 285 с.
26. Гин Я. И. Поэтика грамматики / Сост., подгот. текста С. М. Лойтер: Электронное издание. Петрозаводск, 2017.
27. Грамматические исследования поэтического текста: материалы междунар. науч. конф. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2017. 176 с.
28. Козюра Е. О. Поэтика грамматики [рец. на: Гин Я. И. О поэтике грамматических категорий] // *Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания.* Вып. 27. Воронеж, 2008. С. 285–287.
29. Левинтон Г. А. Яков Иосифович Гин // *Живая старина.* М., 2008. № 3. С. 40–42.
30. Михайлова Т. А. О поэтике грамматических категорий // *Атлантика. Записки по исторической поэтике.* Вып. III. М., 1997. С. 245–247.
31. Савельева Л. В. Проблемы лингвопоэтики в работах Я. И. Гина // *Проблемы поэтики языка и литературы: Материалы межвуз. науч. конф. памяти Я. И. Гина. 22–24 мая 1996 г.* Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 1996. С. 3–10.
32. Топоров В. Н. О «драматическом» начале и формах его выражения в архаических текстах // *Проблемы поэтики языка и литературы: Материалы межвуз. науч. конф. памяти Я. И. Гина. 22–24 мая 1996 г.* Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 1996. С. 10–15.
33. Хворостьянова Е. В. «Чтобы звучали шаги, как поступки...». Рец.: Гин Я. И. О поэтике грамматических категорий // *Вопросы литературы.* 2008. Сентябрь – октябрь. С. 362–365.

*С. М. Лойтер,
доктор филологических наук, профессор,
Петрозаводский государственный университет*

ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА КЮРШУНОВА

доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии, Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Российская Федерация)
kiam24@mail.ru

Рец. на кн.: Кичикова Н. А., Манджиева Э. Б., Супрун В. И. Топонимический словарь Республики Калмыкия. – Элиста: ЗАОР «НПП «Джангар», 2017. – 272 с.

Представленный научному сообществу словарь, созданный благодаря совместной деятельности авторского коллектива, продолжает ряд ономастических изданий отечественной лексикографии (М. В. Горбаневский, В. М. Воробьев, Е. Э. Иванова, А. С. Кузнецов, А. К. Матвеев, А. В. Мельников, И. И. Муллонен, В. А. Никонов, Е. М. Поспелов, Г. П. Смолицкая, Ю. И. Чайкина). Лексикографическое описание регионального топонимикона не может не вызывать интерес по разным причинам. Первая связана с тем, что территория Калмыкии, как и многие регионы России (в том числе и Карелия), является полиэтническим регионом, с древности заселенным многочисленными этносами. Выявить универсальные и специфические явления, связанные с усвоением, взаимопроникновением разноразличных элементов на уровне топонимии, – важная задача, полезная для многих гуманитарных наук. Другая причина обусловлена тем, что Калмыкия на протяжении веков не только испытывала смену разных народов степной полосы, но и становилась местом их вовлечения в различные исторические события глобального значения, сыгравшие роль и в социально-экономической жизни региона, и в ее культуре. Поэтому актуально представить на топонимическом материале факты далекого прошлого и относительно недавнего славянского происхождения на межэтническом, межкультурном уровнях.

Авторы проделали большую работу по сбору топонимов, обратившись к исследованиям путешественников, чиновников, ученых, описывавших земли Калмыкии, к картографическим данным, материалам, собранным лично во время этнолингвистических экспедиций.

Словарь состоит из Предисловия, основного корпуса словаря, списков литературы и архивных материалов, имен выдающихся людей, упомянутых в словаре, словаря устаревших и локальных слов (скорее всего, это все же не словарь, а список слов, который может быть существенно дополнен), списка переименованных населенных пунктов Республики Калмыкия. Дадим краткий комментарий этих разделов.

Предисловие включает несколько пунктов, к сожалению, не озаглавленных. Первый содержит информацию об истории Калмыкии, от-

ражении ее территории на древних картах, атласах разных лет, различных документальных источниках, содержащих упоминания о Калмыкии, народах, ее населявших, особенностях административного деления от прошлого до начала XXI века. Следующий раздел описывает обусловленность топонимии Калмыкии ее географическим положением, освоением территории кочевыми народами. Далее доказывается необходимость включения в словарную статью языковедческих, историко-географических, этнолингвистических, лингвокультурологических характеристик, а также разных типов топонимических единиц (гидронимов, оронимов, ойконимов и проч.). Заключительный раздел Предисловия посвящен строению словарной статьи. Отмечаются особенности ее зонирования при представлении конкретного материала, введения дополнительных маркеров, имеющих отсылочный и/или вариативный характер.

Основной корпус словаря построен по алфавитному принципу и содержит более 300 словарных статей. Зачин словарной статьи имеет традиционный для такого вида работ характер – жирный шрифт заголовочного слова, далее его грамматические признаки. Однако отсутствует ударение, которое для человека, не связанного с Калмыкией, создает некоторые неудобства в пользовании названием, особенно когда топоним многосложный (АЛЦЫНХУТА, АЧИНЕРЫ, БАРМАНЦАК, БЕМБИШЕВО, БУЛМУКТА, ДЖЕДЖИКИНЫ и т. д.). Следует помнить об этой прикладной значимости издания, возможности его использования СМИ, которые должны опираться на закрепившееся употребление названий в речи местных жителей.

Согласимся с авторами, что словарная статья в топонимическом словаре не может быть построена по единому принципу, слишком разный объем информации связан практически с каждым названием. Однако некоторые заявленные зоны все же можно было внутри статьи обозначить более четко. Важной представляется информация по образованию относительных прилагательных от географических названий и катойконимов.

Однако, как показалось, в ряде случаев объем некоторых словарных статей перегружен экстралингвистической информацией, не отражающей принципы, способы и мотивы номинации объекта. Без сомнения, надо указывать вид объекта, его точные географические координаты, поскольку это константы любого топонимического исследования. Необходимым является и наличие исторической информации, но только той, которая может пролить свет на происхождение и функционирование топонима. Поэтому возникают вопросы: насколько важно сообщать в словарной статье количество кибиток, численность проживающих (вполне хватило бы информации, представленной в Приложении), их перемещение по территории Калмыкии, количество обучающихся в школе, наличие библиотеки, сельского клуба, почтового отделения и под.? Нужна ли эта информация в топонимическом словаре?

В большей степени хотелось бы понять принципы и мотивы номинации, которые отразились в отдельных географических названиях с неславянской основой. Как вписываются мотивы именования топонимов в топонимическую модель. Например, топоним БЕРГИН и апеллатив бергн 'старшая невестка, жена старшего брата, сноха' (с. 53). Желательным бы был список топоформантов и топонимических суффиксов географических названий Калмыкии, имеющих неславянскую основу.

Имеется замечание и к порядку представления материала. Думается, следовало бы учесть

при трансонимизации историческую первичность / вторичность появления названия. Общеизвестно, что гидронимы древнее, чем названия поселений. Например, название поселка БУРГУСТА восходит к названию реки, и, вероятно, в словаре название реки БУРГУСТА должно предшествовать названию поселка (подобным образом поселок и река БОЛЬШОЙ ГОК, ЗЕГИСТА, КЕГУЛЬТА, УЛАН-ЗУХА, ЯЛМТА, ЯШКУЛЬ, поселок и озеро САРПА, ХАНАТА, ЦАГАН-НУР).

Самостоятельную ценность представлял бы Список переименованных населенных пунктов Республики Калмыкия, если бы не дублировал информацию словарных статей.

Несмотря на высказанные замечания, следует дать позитивную оценку большой работе, проделанной составителями словаря. Следует учесть, что это первый опыт сложнейшей лексикографической разработки, которая должна быть продолжена в разных направлениях, тем более что представленный в словаре материал уже может быть источником различных исследований, поскольку дает возможность видеть, а в дальнейшем анализировать традиционные модели номинации географических объектов, то, как человек воспринимал окружающее пространство, его многогранность.

Словарь будет интересен всем, кто занимается топонимическим описанием и лексикографированием топонимов, отмеченных на полиэтнических территориях.

Поступила в редакцию 22.04.2018

**Генеральное Консульство Греции в Санкт-Петербурге
Кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики
Института филологии Петрозаводского государственного университета**

IV Международная конференция

«РОССИЯ И ГРЕЦИЯ: ДИАЛОГИ КУЛЬТУР»

10–12 октября 2018 года, Институт филологии (пр. Ленина, 33)

Цель конференции – обсудить актуальные для современной гуманитарной науки вопросы тысячелетнего взаимодействия культур России и Греции.

Направления работы конференции

- Классическая филология
- Византиевистика
- Неоэллинистика
- Греческая тема в русской литературе и культуре

*Контакты: кафедра классической филологии, литературы и журналистики
тел./ факс: 8 (814-2) 71-96-43, medeya@petrsu.ru*

* * *

**Институт языка, литературы и истории Федерального исследовательского
центра «Карельский научный центр РАН»**

**Кафедра прибалтийско-финской филологии Института филологии
Петрозаводского государственного университета**

Международная научная конференция

**БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ТЕКСТ В ФИННО-УГОРСКОМ ЯЗЫКОВОМ
И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

24–26 октября 2018 года, Россия, Петрозаводск

В ходе конференции планируется обсудить многообразие устных, письменных, печатных, электронных текстов как явления языковой и экстралингвистической действительности. В центр внимания выносятся, с одной стороны, собственно языковая проблематика – лингвистический анализ текста, включающий разные языковые уровни. С другой стороны, текст рассматривается как продукт своей эпохи и определенного этноязыкового социума, репрезентирующий исторические и социокультурные реалии, отражающий ментальность конкретной этнической группы.

Заявки для участия в конференции и тезисы (объемом не более 2 500 знаков) просим присылать по адресу: bubrih2018@mail.ru до 15 июня 2018 года.

*Контакты: Момотова Надежда Михайловна, телефон кафедры
прибалтийско-финской филологии: (814-2) 71-32-08*

CONTENTS

LITERARY STUDIES

Bedina N. N., Panova A. S.

A MYTH ABOUT TWINS IN CONTEMPORARY
BRITISH ANTI-WAR LITERATURE. 7

Strukova T. V.

SEMANTIC, STRUCTURAL AND COMPO-
SITE FEATURES OF THE RIDDLES FROM
THE BOOK “A HUNDRED AND ONE RIDDLE” 12

Golubeva L. V.

SPACE ‘CLOTHING’: SOFT BORDERS – STRICT
RULES 19

Ivanova L. I.

THE FIGURE OF *YÖNITKETTÄ*, THE NIGHT
WEEPER, IN KARELIAN MYTHOLOGY 25

Matashina I. S.

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE IMA-
GE OF FINLAND IN KJELL WESTÖ’S NOVEL
“MIRAGE 38” 32

LINGUISTICS

Bondar V. A.

THE OLD HIGH GERMAN SOURCE OF THE
PRESENT DAY PERFECT: DEVELOPMENT OF
THE SEMANTICS OF THE HABEN + PAST PAR-
TICIPLE CONSTRUCTION 36

Gorokhova N. V.

FRAME ANALYSIS OF THE ENGLISH TERM
“PIPELINE” 45

Dyachkova I. N.

THE EVOLUTION OF MATHEMATICAL MEN-
TALITY AND FORMATION OF NUMERALS AS
PARTS OF SPEECH 49

Matytsina M. S.

THE ANALYSIS OF ARGUMENTATIVE
SCHEMES (TOPOI) IN POLITICAL DISCOURSE ... 55

Shcheglova E. A.

LEXICON OF TRAVEL SKETCHES “FRI-
GATE PALLADA” BY I. A. GONCHAROV AS
A STRUCTURAL ELEMENT OF THE TEXT 60

Griva O. E.

MODAL VERBS VS MODAL COPULA VERBS 67

Chen P.

DIALOGICALITY OF THE TEXTS IN ETHNO-
GRAPHIC WORKS ABOUT CHINA BY
N. YA. BICHURIN. 72

**To the 200th birthday anniversary of the academician
F. I. Buslaev (1818–1897)**

Bobunova M. A.

F. I. BUSLAEV AND FOLKLORE LEXICO-
GRAPHY 77

Nikitin O. V.

“HISTORICAL ANTHOLOGY OF CHURCH
SLAVONIC AND OLD RUSSIAN LANGUA-
GES” BY F. I. BUSLAEV AS A MONUMENT
TO THE PHILOLOGICAL CULTURE OF THE
XIXth CENTURY. 82

Khrolenko A. T.

THE NATIVE WORD IN PHILOLOGICAL
CONCEPTION OF F. I. BUSLAEV 89

Voloshina O. A.

“A SYSTEM OF ETYMOLOGY” BY
F. I. BUSLAEV OR ON THE COMPARISON OF
RUSSIAN WORDS WITH SANSKRIT 94

**To the 60th birthday anniversary of the linguist
Ya. I. Gin (1958–1991)**

Patroeva N. V.

THE IMPORTANCE OF YA. I. GIN’S WORKS
FOR THE STUDY OF POETIC SYNTAX 100

Petrova Z. Y., Fateeva N. A.

THE CATEGORY OF GENDER IN PERSONIFI-
CATION: FIGURATIVE NAMES OF DEATH IN
RUSSIAN LITERATURE 104

Memory

Loyter S. M.

In memory of Ya. I. Gin 111

Reviews

Kyurshunova I. A.

The book review: Kichikova N. A., Mandzhieva E. B.,
Suprun V. I. A toponymical dictionary of the Republic
of Kalmykia. 115

Scientific information 117